

ТАЙНЫЕ ТРОПЫ

№ 2 (4)



А.Билісто 22

© - УКРАИНА

АЗБУКА

Вера Павлова

Андрей Бильжо

Дмитрий Коломенский

Семён Крайтман

Феликс Чечик

Глаша Кошенбек

Алексей Макушинский

Владимир Горбачёв

Ефим Курганов

Михаил Король

Яна Мацота

Глеб Океанов

Маргарита Пономарёва

Николай Морозов

публикация:

Игорь Лощилев

Сергей Фоменко

Борис Минаев

Леонид Жуховицкий

и Юрий Щекочихин

глазами

Надежды Ажгихиной

2023



ТАЙНЫЕ ТРОПЫ

Журнал литературы и искусств русскоязычного мира

№ 2 (4)

Журнал ТТ (Тайные тропы)
ISSN 2958-499X

Живописный, графический образ
номера определили работы
Андрея Бильжо

Учредитель и издатель
Барух-Александр Плохотенко

Главный редактор
Барух-Александр Плохотенко

Редакция
Владимир Горбачёв
Борис Борухов

Контакты
secrettropes@gmail.com

Никакая часть данного издания не может
быть воспроизведена без разрешения
редакции

Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов

Вниманию уважаемых авторов!
ТТ принимают к публикации только
прежде не издававшиеся произведения,
присланные, переданные самими авторами
непосредственно в редакцию

Редакция не рецензирует присланные
материалы и в переписку по их поводу
не вступает

© ТТ. Все права защищены

Вера Павлова
Андрей Бильжо
Дмитрий Коломенский
Семён Крайтман
Феликс Чечик
Глаша Кошенбек
Алексей Макушинский
Владимир Горбачёв
Ефим Курганов
Михаил Король
Яна Мацота
Глеб Океанов
Маргарита Пономарёва
Николай Морозов
публикация:
Игорь Лощилов
Сергей Фоменко
Борис Минаев
Леонид Жуховицкий
и Юрий Щекочихин
глазами
Надежды Ажгихиной

2023

Закрывать второй фронт¹

10 апреля 2023 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении драматурга Светланы Петрийчук и поэта, режиссёра Жени Беркович. Они объявлены подозреваемыми в оправдании терроризма, ст. 205 УК РФ. Согласно версии СК, это оправдание выразилось в создании спектакля «Финист Ясный Сокол», поставленного три года назад и два года назад получившего две награды на фестивале «Золотая маска». В качестве меры пресечения суд избрал для обеих представительниц российской культуры содержание под стражей, поместив их в СИЗО.

6 сентября Хамовнический суд Москвы продлил арест ещё на два месяца. Насмешка над законом, издевательства над судебным правом и двумя художниками, возможно, по словам Аллы Боссарт, из самых ярких и талантливых в нынешнем театре, продолжают.

– Царь! Ты много войска маешь,
Но ни черта в стихах не понимаешь,
Черства твоя порода и глуха...
Опричина – жестокая затея,
Кровопролитье – до-о-о-лгая затея,
Опричник зря кровавый бой затеял
Со мной на понимание стиха.

Юнна Мориц

Так часто бывает: пока событие не произошло, оно кажется немыслимым, невозможным. Отдать создателей спектакля под суд? Людей, поставивших своей целью художественное осмысление феномена женского ухода в радикальный ислам, обвинить в прославлении этого самого радикального ислама? Разве это не абсурд?! Не выдумка – причём дурная, безвкусная выдумка?

Оказалось, нет.

В эти майские дни (ах, цветочки, ах, международная солидарность трудящихся!) абсурд стал реальностью. Людей в России собираются судить (и пусть не де-юре, но де-факто уже осудили, заключив в следственный изолятор) за создание художественного произведения.

Художественное ОСМЫСЛЕНИЕ явления ПРИРАВНЕНО к его ОПРАВДАНИЮ!

А ведь нас учили, что любое художественное произведение (хотя бы *стихи* главы Следственного комитета г-на А. Бастрыкина) – явление многозначное, наполненное разными смыслами и точками зрения.

Власть российская перешла некую черту – одну из многих запретных черт, форсированных с февраля прошлого года.

Начав судить творцов за создание художественных произведений, власть открыла для себя новое поле для репрессий. Почему бы теперь не судить людей не за поставленные спектакли, изданные книги, а за произведения, ещё только написанные, скрытые в ящике стола? Почему не судить за произведение, ещё даже не созданное, а лишь задуманное? Почему, наконец, не судить за мысль? Ведь уже и термин соответствующий есть – мыслепреступление. Правда, он ещё не внесён в Уголовный Кодекс, но ведь это дело наживное: раз два – и внесли.

Вороватая, лживая, агрессивная власть, правящая в данное время Россией, открыла второй фронт террора. Прежде она преследовала в основном оппозицию, людей, несогласных с этой властью. Теперь она ОТКРЫЛА ФРОНТ БОРЬБЫ С РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРОЙ.

Что же, в этом есть определённая логика. Подлинная культура несовместима с несвободой, ложью, насилием. Шедевры поэзии, литературы, музыки, живописи могут создаваться под гнётом такой власти – но всегда они создаются вопреки ей. Написанные «в стол» романы, стоящие у стен мастерских картины создаются не впустую – они накапливают ресурс новой, свободной мысли, которая будет обязательно востребована. И поэтому эта лживая и вороватая власть инстинктивно чувствует в культуре врага – и старается его уничтожить.

Мы, создатели журнала «Тайные тропы», выражаем свою солидарность с Женей Беркович и Светланой Петрийчук, с актёрами Лией Ахеджаковой, Дмитрием Назаровым, Артуром Смольяниновым, Максимом Галкиным, музыкантами Юрием Шевчуком, Андреем Макаревичем, со всеми деятелями культуры, которых преследуют за их убеждения, их работу, их гражданскую позицию.

Мы требуем освободить арестованных драматурга и поэта, режиссёра и прекратить открытое против них липовое уголовное дело. Культура должна быть свободной!

Редакция журнала «Тайные тропы»:
Барух-Александр Плохотенко, главный редактор
Владимир Горбачев

12 мая 2023 ■

¹ Впервые опубликовано на ФБ-странице Б.-А. Плохотенко 12 мая 2023 года.

Оглавление

Закреть второй фронт	2
Оглавление	4
Стихи	7
Вера ПАВЛОВА	
Зыбкие колыбели выскоблены войною. <i>Стихи апреля-мая 2023 года</i>	9
Андрей БИЛЬЖО	
Не поэзия	13
Дмитрий КОЛОМЕНСКИЙ	
От жакаранды до жакаранды	21
Семён КРАЙТМАН	
Читая бессмертную книгу	31
Феликс ЧЕЧИК. Биография как топливо стихов	
Тишина обесточила тьму	42
Глаша КОШЕНБЕК	
Так много слов, а всё их мало	49
потаённые смыслы	59
Алексей МАКУШИНСКИЙ	
Буква М. <i>Фрагменты из книги фрагментов</i>	61
роман	89
Владимир ГОРБАЧЁВ	
Погружение. <i>Окончание. Начало в № 2–3. Части 2–3</i>	91
историко-детективный роман	161
Ефим КУРГАНОВ	
Шпион Его Величества, или 1812 год (<i>Историко-полицейская сага в 4-х томах</i>).	
Том 2-й. Эпизод 2-й	163
рассказ	
культурологическая эссеистика	215
Михаил КОРОЛЬ	
Тигр в пустыне (<i>Враньё Бегемота</i>)	217
Главы из новой книги «Полигимния в Иерусалиме»	221
Гоголь в Иерусалиме	223
Флобер в Иерусалиме	231

конкурс рассказа «Колодцы и горизонты. Поиск человечества в себе или себя в человечестве?» <i>Итоги</i>	239
«Горячий снег» давно написан, или Банальности общенародного сознания	
Яна МАЦОТА	
Моё Море	243
Рыцарь и Радостная Дама	250
Глеб ОКЕАНОВ	
Колодец	258
Маргарита ПОНОМАРЁВА	
Я тебя никуда не отпущу	261
конкурс эссе « Возвеличить, проклясть, понять. Образ народа в русской литературе от Пушкина до Пелевина». <i>Итоги</i>	264
Да здравствуют конкурсы!	265
пьеса	267
Игорь ЛОЩИЛОВ	
Николай МОРОЗОВ	
Игорь ЛОЩИЛОВ. Забытая пародия на футуристов	272
Николай МОРОЗОВ. ХАОС. <i>Миниатюра</i>	274
провинциально-философские записки	277
Сергей ФОМЕНКО	
Дорога в страну амазонок. <i>Самарская археология в литературных отблесках</i>	279
очерки дней минувших	293
Борис МИНАЕВ	
Разговор на «Пушкинской»	295
memoria	
чтобы помнили	307
Надежда АЖГИХИНА	
Леонид ЖУХОВИЦКИЙ	
Надежда АЖГИХИНА. Последний шестидесятник. <i>Памяти Леонида Жуховицкого</i>	310
Юрий ЩЕКОЧИХИН	
Надежда АЖГИХИНА. «Американский брат» Джон. «Семейная» история Юрия Щекочихина, иллюстрированная впервые публикуемыми фотографиями Владимира Богданова	321
изобразительное искусство	329
Андрей Бильжо: «Азбука-2022»	330

Мир

СТИХИ



М

**Вера
ПАВЛОВА**

📍 Нью-Йорк, США



Фото: Lisa Pavlova

Родилась и выросла в Москве. Окончила академию музыки им. Гнесиных по специальности «история музыки». Опубликовала в России 24 книги стихов. Переведена на 28 иностранных языков. Двадцать пятая книга поэтессы, «Линия соприкосновения», только что вышла в издательстве «Freedom Letters». Её презентация в тель-авивском магазине «Бабель» 17 сентября.

Лауреат премии имени Аполлона Григорьева (2000).

Зыбкие колыбели выскоблены войною

Стихи апреля-мая 2023 года

♦ ♦ ♦

Совесь баюкаю. Спит.
Плачет во сне.
Старческий конъюнктивит?
Сны о войне?
Смерти горошина под
сотней перин?
Стыд. Огнедышащий год.
Пепел седин.

♦ ♦ ♦

Держись за свечу,
ликуй, печальница!
Стараюсь. Хочу.
Не получается.
Ослепла от слёз
беды попутчица.
Ну как там Христос?
Воскрес. Отмучился.

♦ ♦ ♦

Это не тема – тьма.
Это не мы немь,
это война сама
все отменила темы.
Живы. Сейчас умрут.
Не вразумить ракету.
Чем поживиться тут
литературоведу?

♦ ♦ ♦

Алло, алло! Плохая слышимость,
пробились только две строки:
«Моя московская недвижимость –
могилы, тени, старики».
Квартира ищет покупателя.
Смеркается в стране теней.
На что, на что я слёзы тратила!
Сейчас они в сто раз нужней.

♦ ♦ ♦

Муза, побойся богов!
Что ты тут вытворяешь?
Селфи на фоне крестов,
чёрных мешков, пожарищ,
пустых колясок, калек,
руин, госпитальных коек...
Увы мне! Слаб человек,
графоман, слёзоголик.

♦ ♦ ♦

Дача. Сад. О старине
большеглазая беседа.
Вот бы умереть во сне.
В гамаке. После обеда.
Умыкнуть в залетье сласть
ягод. Подмигнуть иконе.
Спелым яблоком упасть
в чьи-то мягкие ладони.

♦ ♦ ♦

бешенство правды-матки
бедную музу муча
я вывожу в тетрадке
буковки после Бучи
в столбик считаю слоги
и начисляю пени
в Зуме даю уроки
пенья после Ирпеня

♦ ♦ ♦

Сгорели стихота.
Остыла зола.
Любовь мешковата.
Надежда мала.
Мечты кособоки.
Убоги дела.
Простите, итоги,
я вас подвела.

♦ ♦ ♦

Съезжайте направо с моста.
Держитесь левее.
Нанизывайте города
на нитку хайвея.
Кто рвенье мотора пресёк –
олень, аллигатор?
Не врач. Не судья. Не пророк.
Поэт – навигатор.

♦ ♦ ♦

Заходи. Дыши.
Празднуй каждый вдох.
В храме ни души,
только ты и Бог.
Многолюден рай.
Светел божий дом.
Тишину вдыхай.
Выдыхай псалом.

♦ ♦ ♦

Как там Христос? – Воскрес.
Даже в России? – Всюду.
Я здесь была. Я здесь.
Я здесь ещё побуду.
Буду лежать в траве,
буду шуршать листопадом
вечность. А то и две.
Если ты будешь рядом.

♦ ♦ ♦

Не ученик Орфея,
сонных теней диджей, –
солнечная батарея
в сезон муссонных дождей.
Силы почти иссякли.
Слушаю, слушаю, слу-,
как барабанят капли
по письменному столу.

♦ ♦ ♦

Всё затихает вдруг.
Тон задаёт гобой.
Начисто вымыт звук
в раковине ушной.
С мачты кричат «Земля!»
Видишь отца, беглец?
В начале было ля –
четыреста сорок герц.

♦ ♦ ♦

Молитва – средство от бессонницы.
Синодик: тысяча имён.
Препоручаю Богородице
тех, кто войною обречён
не спать, тревожиться, ворочаться,
в потёмках окликать родных.
О как обняться с ними хочется!
Утешить, убаюкать их.

♦ ♦ ♦

Четверть. От силы треть.
Прячу под шалью шею.
Я не умею стареть.
Я умирать не умею.
Муза, Парнас в огне,
мутен ток Иппокрены.
Я первый раз на войне.
Как успехи? Плачевны.

♦ ♦ ♦

зыбкие колыбели
вымоленные дети
выкупаны в купели
выкуплены у смерти
выкормлены пломбиром
вышкolenы странною
выпестованы миром
выскоблены войною

♦ ♦ ♦

На перекрёстке языков-веков
читает (слёз умелые запинки)
восьмидесятилетняя Денёв
«Надію» юной Леси Украинки.
О ты, планирующий на кресте
под куполом, землёй и небом между,
возьми свободу-волю-liberté,
верни надію-espoir-надежду!

♦ ♦ ♦

Если я когда-нибудь умру
(оцени, мой ангел, это «если»),
то не на пиру, не на миру –
дома. Не в постели – в мягком кресле
у окна. Над книгой. Над любой.
За окном – садовая дорожка.
Почитай через плечо. Закрой.
Вот закладка, вот суперобложка.

♦ ♦ ♦

Разговор только начат,
и – затор, и – барьер:
отвечающий плачет,
плачет интервьюер.
Насмерть. Вдребезги. В клочья.
Что? Забыла вопрос.
Многого... многоочье,
многострочие слёз. ■

М

Андрей БИЛЬЖО

📍 Москва, Россия –
Венеция, Италия

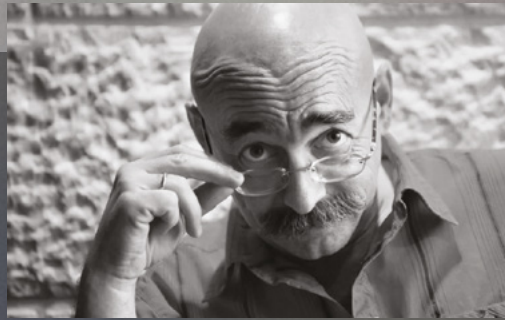


Фото: из личного архива автора

Родился 26 июня 1953 года в Москве, в коммунальной квартире. Через три с лишним месяца после смерти Сталина, расстрелявшего двух его дедов, в семье инженера, прошедшего всю войну на танке Т-34, и школьной учительницы, мать которой пережила сталинские лагеря. По маме еврей, по папе русский. По первой профессии врач-психиатр, которым остаётся до сих пор. Художник в широком смысле. Автор персонажа «Петрович», одноимённых ресторанов и мультсериала. Работал на том ТВ и том радио. Автор десятков книг со словами и картинками. Выставок и премий много. Жил между Москвой и Венецией. До войны больше в Москве. После начала войны остался в Венеции.

Не поэзия

◇ ◇ ◇

дверь в комнату была не заперта

как сыр голландский
тёплый жёлтый свет
кусочком тонким из проёма
манил дверного

я вошёл

нет не решительно

я колебался
и медленно дверь отворив
вошёл

под абажуром
розовым как птица
фламинго
за столом овальным
сидела мама

лет ей было тридцать
а может тридцать пять

и папа
на два года старше
он был её

сидели бабушки мои
Зельда Израилевна
и Антонина Игнатьевна

и тётя моя сидела
Тата

а Дездемона
моя такса
внимания не обратила никакого
на вновь пришедшего

я понял что меня
никто не видит
и не ждёт здесь

тарелки не было
приборы тоже
на стол не положили для меня

я прямо из салатниц съел

салата оливье
две ложки

салат из свеклы с чесноком
салат мимоза
по три ложки

кусочек студня или холодца
его все называют по-разному
но с хреном
неважно как его зовут

я выпил водки
рюмок пять Столичной

и с наслаждением слушал разговор

все говорили об Андрюше

как надо одевать Андрюшу
и чем надо кормить Андрюшу
как надо развлекать Андрюшу
чему надо учить Андрюшу
ну и т. д.
ну и т. п.

папа смеялся

мама тоже

а бабушки мои молчали

одна что-то строчила на машинке
она была портниха
а другая

что-то классическое пела
себе под нос

она была в АЛЖИРе восемь лет

я съел кусок наполеона
и розового пирога

я почесал за ухом таксу
я сунул нос свой в её ухо
и запах его резкий
втянул в себя

мне нравился всегда он
этот запах

я всех поцеловал

когда я выходил мама сказала
до этого меня не замечая
Андрюша дорогой не торопись

не торопись Андрюша

и осторожен будь
а то ты как всегда

и замолчала

когда одна моя нога
стояла за порогом
папа сказал

ты не спеши сынок
и поступай как знаешь

ты правильно всё делаешь
и тётя
кивнула головой

и бабушки заулыбались

надо спешить
жить чувствовать любить
сказали они хором

не торопясь

из света жёлтого
я вышел в темноту

я вышел в темноту
я вышел в темноту
и медленно не торопясь побрёл

от некогда родного дома
чтобы потом туда вернуться
не торопясь

♦ ♦ ♦

в том феврале безжалостно холодном
жестоком даже
я бы так сказал

я потерял себя

и вот везде я
теперь ищу себя

безрезультатно

я ящики стола все перерыл

там много было всякой мелкой дряни

я на пол высыпал её
но никаких
следов моих
там не было

там не было меня

там были скрепки ластики и кнопки
копейки центы перья что остались
которыми писал я а потом
я ими рисовал и очень много
огрызков было там карандашей

я лазил под диван
на антресоль
я мячик теннисный нашёл своей собаки
таксы моей по кличке Дездемона
который она грызла и прогрызла

прожившей без остатка жизнь свою
на мне

и старый чемодан
с которым я впервые за границу

в Болгарию приехал
но и там
я не нашёл себя

я в лес ходил
который рядом с домом

я оказался в сумрачном лесу
я звал кричал
но только птицы
пугались и срывались с веток там

там не было меня

я заглянуть успел в свой школьный класс

такой был
он ещё смешил всех
корчил рожи
не помните

нет нет не помним может
ошиблись вы
и он не в этой школе учился

они похожи школы

я много фотографий посмотрел
но там нигде я не нашёл себя

не помним мы такого
нет не помним

в психиатрической больнице я прошёл
по отделениям
я заходил в палаты

вы доктора не видели такого
он здесь работал
он здесь вас лечил

больные лишь плечами пожимали
не помним нет
вы новый пациент
вам надо сделать галоперидол
ведь вы
сошли с ума

таких здесь нет

таких здесь быть не может

и здесь я не нашёл себя

я в поисках себя метался
по городу
не находя себя

я кинулся в редакцию но там
редакции уже не оказалось
там просто было некого спросить

в Останкино меня не пропустили

нет здесь таких быть просто не могло

мешаете
в сторонку отойдите

и там я не нашёл себя

я спрашивал прохожих может быть
вы видели такого
вот такого

нет нет мне отвечали может вы
ошиблись просто
так бывает часто

и вот себя я до сих пор ищу

мне говорят не помним мы такого
а кто он
что он
мало ли таких
зачем он нужен вам
просто забудьте

в последнюю неделю февраля
я потерял себя

вот фоторобот
его составил я и если вы
вдруг встретите такого-то скажите
что я его жду дома

пусть вернётся

мне плохо без него

скучаю я

♦ ♦ ♦

темнело.

у окна стоял я,
на подоконник опершись.

луна была ещё бледна.
бельмом ещё была она
на серо-голубом зрачке
смотрящего на землю сверху.

смотрящего и на меня,
на рюмку, что поставил я
с красным вином на подоконник.

небо чернело,
словно тушь пролили на бумаги лист,
и небо впитывало тушь,
как промокашка, очень жадно

и превращалась в белый шар
луна из плоского блина.

в дверь постучали.

я сначала
внимания не обратил на стук.

к звонку привыкли мы,
как крысы,
бегущие, когда звонок

звенит,
пить воду или есть,
то, что сварил им физиолог

я дверь открыл неосторожно,
забыв спросить «кто там?»,
а там,
ну, то есть на пороге, там
стоял, цилиндр сняв и с тростью,
Пушкин,
уставший, полысевший,
каким он перед смертью был.

не тот бессмысленный красавчик
с модельной внешностью, который
лицом стал места, самолёты
летят откуда во все страны,
но только не берут его.

я пригласил его пройти
в гостиную, и выпить тоже
я предложил ему вина,
но он остался на пороге

«Нет, нет, я на минуту и
спасибо, у меня к вам просьба.
я выбрал вас лишь потому,
что не поэт вы.

А вокруг
одни поэты.

Я прошу вас,
пожалуйста, всем передайте,
чтоб отъ*****сь от меня.

устал я, право,
я устал
быть «вашим всё»

я столько лет
терпел, молчал.

И вот ещё...

про памятники мне
из гипса ль, бронзы ...

ломают пусть,
если хотят

я же сказал
давным-давно,
ЧТО я воздвиг.

Пусть почитают.

И наконец,

не обижайтесь,

в защите тех, кто за меня
грудью встаёт,
я не нуждаюсь».

И он исчез.

Я – НЕ ПОЭТ
но если я
пообещал,
то просьбу эту
я выполню.

Хоть кровь из носа.

♦ ♦ ♦

За спектакль
За комментарий
За слово

За рисунок
За интонацию
За настроение

За улыбку

За взгляд
За новость

За текст
За лайк
За стихотворение

За фейк
За унижение

За оскорбление	За мирный атом
За вдох	За инородное тело
За выдох	За вторжение
За дыхание	За сопротивление
За прогулку	За будущее
За прошлое	За прошение и прощение
За купание	За произношение
В неподобающем месте	Вы ответите
Без разрешения	Мы ответим
За то что читал	По всей строгости
Запрещённое	И по правилам
За то что смотрел	Необъявленного
Не покорно а смело	Военного положения
За рождение	И психиатрического отделения
За своё поколение	

♦ ♦ ♦

ни слова о войне	про этих
ни слова	а эти разве наши?
а где она идёт?	какие?
их много	ни слова о войне
ты о какой войне сейчас	ни слова
об этой?	а сколько тех убили?
так это ж не война	а этих?
да что ты?	а счёт какой?
ни слова о войне	прости я перепутал
ни слова	так мы о чём с тобой
там разве убивают?	ах ты об этом
не знаю	мне что-то тема эта
и наших убивают?	поднадоела
и наших	ни слова о войне
ты про каких сейчас?	ни слова
про этих?	

♦ ♦ ♦

они смешны бы были	он не благую весть несёт
но страшны	а смерть
они на клоунов похожи	в их азбуке одна лишь буква зет
только злых	перечеркнувшая собой весь алфавит
их на резинках красные носы	зерно для них не хлеб
от крови красные	а хлеб не плоть
и на щеках слеза не настоящая	разменная монета
как и улыбка	как и Бог
грим	который с ними
их голубь мира	только руки
это дрон ланцет	его в наручниках
	и за спиной ■



Дмитрий КОЛОМЕНСКИЙ

📍 Санкт-Петербург, Россия
– Хайфа, Израиль

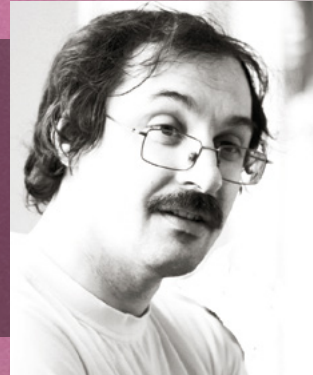


Фото: из личного архива автора

Родился в Гатчине в 1972-м. Окончил факультет филологии РГПУ имени А. И. Герцена. Работает абы где абы кем. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Автор четырёх поэтических книг и какого-то количества публикаций в журналах, альманахах, интернете и не интернете.

К тому, что пишет не в рифму, серьёзно не относится, однако уже опубликовал во 2-м номере «Тайных троп». К тому, что пишет в рифму, отношения ещё не определил.

Последние полтора года обитает в Хайфе.

От жакаранды до жакаранды

♦ ♦ ♦

Сиреневым огнём пылает жакаранда,
Сиреневая тень на улице-лице.
Вот так же, – пронеслось, – кипит сирень в Отрадном,
В Калуте и Торжке, в Твери, в Череповце.

На новые дуга выводит пастырь скот свой:
Не обернись! гляди на то, что впереди!
Но вспышкой промелькнёт нечаянное сходство,
И страшным колотьём замечется в груди.

Чем явственней деталь, тем злее и короче
Безжалостный, тупой удар наверняка.
И чёрный день стоит, как ответ белой ночи,
Подшитой изнутри к отверстию зрачка.

♦ ♦ ♦

На родине жутко, вне родины странно.
Шипит и визжит интернет.
Листаешь буклет «Подходящие страны»,
Но стран этих в принципе нет.

Служители культа вербуют в солдаты,
Ворьё заливает про честь,
И в пабликах, где обретался когда-то,
Ни строчки уже не прочесть.

Там каждая с каждым воюет отважно,
Там спорить ни с кем не моги,
Враги говорят, как враги, но – что важно –
Друзья говорят, как враги.

Врут суперагенты, палят инсургенты,
Брюнета шпыняет блондин.
И вдруг понимаешь в какой-то момент ты,
Что выход, по сути, один.

Один только выход – не Прага, не Ницца,
Которыми блогеры рьят.
И ты говоришь: «Я – страна!» – и границей
По кругу обносишь себя.

И в полном согласье с текущей эпохой
К себе призывает бойца.
Он знает единственно «на*уй» и «по*уй»
И будет стоять до конца.

Ты на три замка запираешь границу,
Велишь пограничнику: «Бди!» –
Уходишь и пробуешь уединиться,
Но киснет осадок в груди.

Так люд исподлобья глазеет на плаху,
Гадая: кому суждена?
А вдоль по периметру – «по*уй!» и «на*уй!»
Стоит, не сдаётся страна!

Друзья негодуют, враги кипятятся,
Но всё это мелочь, петит.
Господь покарает его, святотатца!
Отчизна ему не простит!

До дыр испророчась, до дна изглаголясь,
Вы видите, что впереди?
Давай, часовой, не отлынивай! Голос!
Ты знаешь, куда им идти.

«Вот так, – рассуждаешь, – и жил бы веками...».
Но чувствуешь дни напролёт:
Осадок в груди собирается в камень
И давит, и жить не даёт.

И вот в день такой-то, в такую-то дату,
Не видя иного пути,
Выходишь во двор, объявляешь солдату:
«Свободен, служивый. Иди!» –

И, не дожидаясь иного момента,
Какого-то знака судьбы,
Ты сматываешь пограничную ленту,
Потом выдираешь столбы.

И мир расстилается перед тобою.
В нём жуть, в нём сгущается мрак,

В нём враг разминается в тире стрельбою,
Друг пишет, что ты ему враг.

И всё повторяется снова и снова:
И кровь, и урчанье зверья.
За каждое неосторожное слово
Тебе навалиют друзья.

Сто раз подотрутся, сто раз отрекутся,
Сто раз разведут дребедень.
В их памяти, вдруг оказавшейся куцей,
Торчит лишь сегодняшний день:

Какая-то строчка, какая-то точка,
Нюанс, запятая, тире.
Убогое время, как урка с заточкой,
Засело у нас на дворе.

Убогое время. Истерика духа.
Разжиженный мозг бытия.
И ты, улыбаясь от уха до уха,
Прошепчешь: «Смелее, друзья!

Сегодня позволено всё вам – такая
Погода, такой коленкор.
Строчите посты за постом, высекая
То гнев, то утрюмый укор,

Истычьте перстом, войте сиплою выпью,
Мутите родной водоём.
Когда всё закончится, может быть, выпьем,
А выпив, по новой нальём».

♦ ♦ ♦

Мякишев умер, добился-таки своего.
Нам никогда не узнать, что прибрало его:
Небо ли, пекло. А может, мечом серафима
Надвое рассечена его дура-душа.
Стоит ли так горячо обсуждать, кореша,
То, что за мнимостью фактов неустановимо?

В зелень бутылки, как в горн пионерский, трубя,
Вряд ли он спился – он со свету сжил сам себя,
Сам прописал себе в рифму сценарий распада.
Слишком подонок, чтоб стать гениальным творцом,
Слишком поэт, чтобы стать навсегда подлецом.
Дева его не помянет в тоске. И не надо.

Гаер, апаш, опалённый стихийным огнём,
Сколько всего оказалось намешано в нём –
Силы, таланта, замашек барачного быдла.
Сколько личин прикипело к нему одному.
И «Имяреку, тебе...» не напишут ему
Вслед собутыльники – что, безусловно, обидно.

Злое дитя девяностых, он жил как хотел
В диком замесе глаголов и девичьих тел.
Князь кабаков, истязатель, распутник вчерашний.
Но, что особенно ценно в текущие дни,
Не доносил, не кричал прокурору «распни!»,
Не продавался за место у царской парашаи.

Мякишев умер. Во тьму его с хохотом сдул
Ветер помойных времён, шестиглазый колдун,
Запах остался, то благоуханный, то рвотный.
Некому ныне скрипеть, рифмовать, бередить.
Девы теперь безбоязненно могут входить
В самые стрёмные питерские подворотни.

♦ ♦ ♦

В Белом море расплавлено олово,
В Чёрном море дымится свинец.
Не бери в деревянную голову,
Успокойся уже наконец.

Не имеет значенья ни качество
Этих вод, ни палитра, ни дно.
Всё, что умерло, отмерло начисто,
И воскреснуть ему не дано.

Бесполезно искусство, гримёр, твоё,
Утешенье надорванных душ,
Ибо мёртвым останется мёртвое,
Несмотря на румяна и тушь.

Лишь одно только море досталось нам.
Не испить, не избыть никогда.
Там вода солона столь безжалостно,
Что как будто уже не вода.

Там весь берег в нетающем инее,
Там по водам гуляет с косой
Призрак Бога, и в солнечном имени
Различается явственно соль.

♦ ♦ ♦

Асе Анистратенко

Оттремит когда-нибудь, отвоеет,
Отпадёт никчёмною ботвою,
Выгноится из-под кожи дней,
Выветрится из глазного донца
Это время. Мы вернёмся в дом свой
Или на руины, что верней.

Мы вернёмся? Полно, не вернёмся!
Время нас всегда обжулит – в нём всё
Дело, в нём причина наших бед.
Мелочи у века напакалив,
Просигналишь мирозданию: «Алеф» –
И в ответ тебе раздастся: «Бет».

Не объедешь на кривой кобыле,
Не сплетёшь из небыли и были
Нового счастливого пути,
Не пройдёшь кварталами другими:
Скажешь: «Бет» – в ответ услышишь: «Гимель» –
Как там ни петлай и ни крути.

Мы вернёмся в торжество разрухи,
Где гуляет ветер однорукий,
Где бессонны утренние сны,
Где с глазами цвета ржавой стали
Бывшие друзья торчат крестами.
Кладбище эпохи предвойны?

Мы вернёмся в чёрное подобье
Дома – в склеп, где смотрят исподлобья
Окна, где на три засова дверь
На ночь запирается. А мы-то
Помним, как она была открыта
Всякому, кто весел и не зверь?

Мы вернёмся к мёртвым стенам рая,
Где чадит, горит, не прогорая,
Прошлого, где свищет пустота
В щели, где ни зги, ни домочадца?
Шпаликов велел не возвращаться
В прежние счастливые места.

Эти не поймут и те не примут:
Из бывшего механизма вынут
Стержень, без которого никак.
Но пока тепло в ладонях держим –
Мы друг другу и земля, и стержень,
Зрение, слух, биенье родника.

Мы друг другу голос и опора
В чёрт его дери какую пору,
В бог его пойми какой стране.
Мы с тобой одно. Не оттого ли
Острой смесью радости и боли
Стих твой отзывается во мне?

Востоим вне прений и вне премий
До поры, когда хихикнет время,
Наспех свой учебник пролистав.
До последней строчки, точки, кромки,
До мгновения, когда негромко
Скажешь: «Шин» – в ответ услышишь: «Тав».

Памяти Вячеслава Бесценного

Вот, говорят, Бесценный умер, догрёб до рая.
Мне-то казалось, такие люди не умирают,
Время бьётся о них, расшибая прозрачный лоб,
Тянет сухие руки, плюёт – но мимо, мимо.
Жизнь в этих людях так страстно, так жаростно неутомима,
Что отрицает любую смерть, не влезает в гроб.

Но говорят, что умер. Обманываться на кой нам?
То-то в раю в последнее время не слишком спокойно:
То сумасшедший закат, как огненная река,
То проливная гроза, то месяц хрустально-хрупкий.
Это Бесценный свирепствует, зыркает, курит трубку.
То-то над нами такие странные облака!

Танька рыдает, Дашка молчит, печалится Лёша.
Да, этот мир просел, стал скучней, примитивней, плоше.
Мир обесценен – сквозная дыра у него посреди
Блёклого живота. Но когда мы сойдём со сцены,
Нас непременно встретит весёлый старик Бесценный
С чёрной трубкой в зубах, с красной бабочкой на груди.

♦ ♦ ♦

Шёл родитель номер раз
Мимо лип и клёнов,
Простодушный, как карась
В озере зелёном.

А за ним, дыша едва
От весенней сини,
Шла родитель номер два
Поступью гусыни.

Чуть вразвалку, словно мим,
Мило, неуклюже.
И подмигивали им
Мартовские лужи,

Светом прыскала река
В солнечные миги,
И струилась жизнь – легка,
Словно в детской книге.

Спал родитель номер шесть –
Глазки, точно щёлки.

Чуть подрагивала шерсть
У него на холке.

И, безлиственный совсем
(но пройдёт и это),
Рос родитель номер семь,
Ожидая лета.

Сколько предков номерных!
Никуда не деть их.
И резвились возле них
Номерные дети:

Сорок восемь, двадцать пять,
Девятнадцать, тридцать.
Это, братцы, жизнь; ей вспять
Не поворотиться.

Это драма, фарс-гиньоль,
Путевые вехи.
И родитель номер ноль
Улыбался сверху.

♦ ♦ ♦

– Он засветло проплыл по медленной реке.
– А вы?

– А мы тогда вон там, на буторке,
Мы пили чай.

– Вы – чай?

– Ну, догонялись водкой.

Суббота ж, все дела, и завтра выходной.
Так вот, он плыл. Не плыл, он как бы был волной.
– Он был на лодке?

– Нет, он, типа, сам был лодкой.

Он на воде лежал, как летом на траве,
Он не глядел вперёд, он вверх глядел, и две
Руки, как два весла, порой вздымались сбоку.
– А что над ним?

– Над ним? Обычный небосвод.

– И что он видел там?

– Да кто ж его поймёт?

– И всё же?

– Облака, след птицы, пятки Бога.
Вокруг него паслась глубокая вода.

Мы крикнули ему: «Чувак, давай сюда!
У нас тут чай, еда и кое-что получше.
На небе правды нет, хоть год в него глазей.
Но если ищешь ты участия друзей,
Причаливай скорей, и здесь его получишь».
– А он?

– Махнул рукой. Мол, как-нибудь потом.
Его несло туда, где ниже, за хребтом,
Широким языком река впадает в море.
Там изумрудна тишь, там окончанье рек,
Там обездвижен ток, и там безлюден брег
И вылизан волной, как будто бы намолен.
Но праздник наш угас, веселье улеглось.
Всего один толчок – и рушится колосс.
Какой-то эпизод – и плюс уходит в минус,
Немеют языки, скучнеют голоса,
На всё ложится хмарь, унылая роса.
Иссяк сердечный жар, исчезла Божья милость.
И вот мы разошлись во тьму по одному,
Но стопочку одну оставили ему.
– Ну почему?

– Да так, должно быть, суеверье.
Представь: вот он придёт, раздвинет мрак ночной
И будет до утра под чёрною луной
Стоять, как блудный сын пред запертою дверью.
– Ну ладно, это всё?

– По большей части да.
Но, знаешь, поутру я вновь пошёл туда:
Хотелось погасить хоть капельку пассива.
– И что там?

– Ничего. Покой и пустота,
И странные следы, и стопочка пуста,
И в небе, в трёх местах, начертано «спасибо!».

♦ ♦ ♦

Мы потеряли рай, мы думали, рай – это
Когда весь год плывёт над головою лето,
И море спит у ног – великая вода,
И не грозит зима костлявою клюкою.
Мы знали: наяву не сбудется такое,
И значит это рай, поскольку – никогда.

А что теперь? Теперь, уныло озирая
Разбросанные там и сям приметы рая,
Мы знаем, что из них не сложишь слово «рай».

Мы потеряли рай – он вымаран, разрушен,
И ветер бытия пронизывает душу,
И тонкий писк тщеты перерастает в грай.

Мы потеряли рай как образ во плоти, мы
Подвешены на нить безмирной паутины,
Но оглянись вокруг: вот лист, вот облака,
Вот отблеск фонаря, вот проблеск катафота,
Вот птица, вот лицо на чёрно-белом фото,
Вот поле, вот цветок, вот голос, вот река.

Второе послание к жакаранде

Прощай, любовь моя!
До будущего года!
Когда вернусь в края,
Откуда нет исхода,

Когда сомнусь, сотрусь,
Сложусь в две скромных даты
И стану прах и грусть
Для дышащих, тогда ты,

Как смертный вздох земной,
Как свет, как паранойя,
Сиреневой волной
Сомкнёшься надо мною. ■



Семён КРАЙТМАН

📍 Герцлия, Израиль



Одессит по рождению (1965). Инженер по профессии. Израильянин по месту жительства (с 1990-го). Поэт-«питомец» ЖЖ (с 2006-го, момента появления ЖЖ). Автор «Литературной учёбы», «Нового Берега», «Новой Юности», «Иерусалимского журнала», «Интерпозиции», «Крещатика», «Дружбы народов», сборников «...снова о готике», «Про сто так».

Лауреат премии им. Юрия Штерна (2015).

Читая бессмертную книгу

◇ ◇ ◇

...и был тогда мне молчаливый труд
дремучей жизни слышен.
и тогда я
сквозь тёмный пробирался изумруд,
сквозь минерал и ветер,
узнавая
его за дрожью сомкнутых ресниц.
и первых птиц испуганные души
черты приобретали наших лиц.
и рыбы, выходящие на сушу,
под чешуёй таили алфавит.
и я, который был собой забыт,
в таком железе, о какое зёрна
алмазных звёзд стираются в муку,
я помнил букву, Имя и строку,
так помнит стрекоза полёт к цветку,
так пахарь помнит запах чернозёма.

◇ ◇ ◇

беременная сука в закуток
двора идёт...
сосед куда-то катит,
«утюжа» мир.
пружинные кровати
скрипят под исполняющими долг.
смеркается.
летит щенячий снег.
за гаражами девочка в пальтишке
показывает «глупости» мальчишкам,
и длится век.
как долго длится век!
фонарь блестит.

ранет уже подмёрз.
 собака прикрывает лапой нос.
 сосед скрипит по снегу «утюгами».
 мой друг Петров, надыбав «Беломор»,
 «фуфло» надев, спускается во двор,
 крича «пошла ты!»
 дворничихе-маме.
 потом я слышу крик: «пора домой!»
 потом, чтоб запах табака долой,
 жую ранет, вдыхаю тёмный воздух.
 потом, не в силах взгляд мой превозмочь
 по небу шарящий,
 во двор заходит ночь
 и навзничь запрокидывает звёзды.

♦ ♦ ♦

подходят дождевые облака.
 мягка листва становится.
 рука,
 осуществляя форму плавника,
 к ним тянется
 и бьётся, и трепещет.
 ей невтерпёж (как «замуж-невтерпёж»)
 воды коснуться.
 и на эту дрожь
 её
 из облаков выходит дождь.
 и льёт, и зарифмовывает вещи.
 и я сжимаю капли в плавнике,
 как Прошка Громов на Угрюм-реке
 сжимал в руке, пришедшей налегке
 к нему в бреду, во сне, Синильги груди.
 и слушаю пластинки старой шорх:
 «...и вечер был, и утро. день шестой».
 и Он сказал, что это хорошо.
 и после буркнул: «лучшего не будет».
 так я плыву, раздувши, как шары,
 живые жабры, средь густой икры
 дождя,
 среди прозрачных и сырых
 пробоев в воздухе... так я себя немею.
 что знаю я? что по ночам темно.
 что есть любовь. что слово суждено.
 что к Рыбам лучше белое вино,
 а красное к Стрельцу и к Водолею...

♦ ♦ ♦

всё кистью беличьей,
 всё масляным мазком,
 всё чутким ко всему прикосновеньем,
 всё тишиной, всё удивлённым зреньем,
 всё розы распутившимся цветком,
 всё создано.
 пой, голубица, пой.
 пой, матушка,
 гурчи мне «баю-баю»,
 страницы пожелтевшие листая,
 зачем-то оперённую рукой.

♦ ♦ ♦

высоковольтной готики столбы.
 путливы облака.
 теплы оливы.
 и рыбы, в глубине морской руды
 ползущие
 слепы и справедливы.
 всему назначив рифмой апельсин,
 что было сил потянешься к тетради,
 и первой строчкой пишешь: «Бога ради,
 ты сам-то понял, что наголосил?»
 и воды эти, и вот эта твердь,
 и эта смерть, идущая по кругу,
 и люди, что боятся подобреть,
 обнять, прижать, поцеловать друг друга.
 и так напишешь, выглянешь в окно,
 а там темно, там голуби на крыше...
 там женщина с глазами, как в кино,
 «люблю тебя» кому-то в губы дышит.

♦ ♦ ♦

...теперь июль.
 жара со всех сторон.
 в убежищах остекленевших крон
 едва заметен хрупкий, тонкий ветер.
 и листья в них, предчувствуя пожар,
 друг к другу прижимаются дрожа,
 как щуплые испуганные дети.
 мы на горе.
 с горы нас манит вид
 на Скифополь,

осколки стен и плит
на главной улице,
где всё ещё гуляют
народы многие,
пыль липкую топча.
на рынке виноград и алыча.
– а синенькие ваши не горчат?
– я шо, их целовала?
– ну, не знаю...
в машину сядем.
радио першит.
за окнами сосна, орех, самшит,
усталая земля, суглинок, в коем
хранится запах вечного труда.
из новостей Веласкес, как всегда,
Рахманинов,
и Амос из Фекои.

♦ ♦ ♦

мы же бессмертны, пока читаем бессмертную книгу.
пусть бессмертие наше длится не дольше мига –
времени узнавания буквы, огня, металла
или кристалла, в котором запаяно слово.
олово осени в этом краю медово.
так размышлял я у ворот Венецианского Арсенала,
вспоминая строки из «Ада»,
звуки из Амадея...
повторяя на гойской мове: «Domini Dei».
у стены кемарила кошка.
вода сияла.
от ворот налево – харчевня,
за нею лавка
головных уборов.
«увы, не по Сеньке шапка».
(это сказала мне продавщица – грудастая дама)
типа, не лезь в калашный, а топай, топай...
местечковый глупец,
слагающий тропы-шмопы
в пределах Дана.
там, где с холмов сползает ветер змееголовый,
чешуёю царапая царство медуз и мидий,
в воду течёт,
произносит неслышное слово:
«о, Суламифь,
неужель я тобой не видим».

♦ ♦ ♦

в день «вышиванки» я надел талит,
и начался всемирный день талита.
со мною вместе праздновали это
событие
цари:
царь Леонид,
Микенский царь,
проконсулы из Рима,
посланцы севера – и Хлодвиг, и Пипин.
кто ел, кто пил, кто танцевал, кто пел.
шарахали шутихи.
было мило.
все ждали смерть, как перемену блюд,
и к вечеру, накушавшись от пуза,
разъехались, сказав, что очень поздно,
что сыты все, и Гитлеру капут.
гостям отвесив поясной поклон,
я вытер стол и начал мыть посуду.
шипели звёзды в темноте, как сода
в воде шипит.
дымил Самбатион.

♦ ♦ ♦

давай, теперь о дереве ситтим.
всю ночь над ним горланил попугай.
дома уснули,
но фонарь светил
в глаза домов, в глазницы их,
читай:
в затянутые дикой чернотой
зрачки остекленевшие,
о чём
в ночи свистела птица, и на кой,
сводя с ума палеозойских пчёл,
белели, блея, хрупкие цветы -
испутанные девочки ветвей,
оттаивая свет от темноты,
и попугай, который соловей,
но только южный,
укрывал крылом
дрожание их венценосных ног?
ужель, чтоб Бог, курящий за углом
чинарик смятый,
написать их мог?



среди всполохов и игл огней придонных
так ясно виден взгляд Кассиопеи
и Лебеда крыло.
чернеют волны
качающие узкую трирему.
о чём, мой свет, мы говорим с тобою?
о чём, мой мрак, мы стискиваем зубы?
о чём, моё дыхание, мы помним?
вот ворон, поводя брусничным глазом,
над мельницей фламандскою кружится,
кричит: «троянцы одолели греков!»
вот Лазарь вход в пещеру задвигает
и вешает табличку «не тревожить».
вот каменная баба Виллендорфа
стоит в бикини.
вот по небу бродят
луна бездомная, предположение слова
и реквием – создатель Амадея.



«отпусти меня, государь мой, северный ветер»,
– говорит раби Шмуэль, выходит из непригожего дома,
садится в повозку, поправляет у ног котомку.
впереди у него Чернигов, Казатин, Витебск.
травы у него впереди, перелески, вздохи
чернозёма полного гумусом, кровью, прямою речью.
скрипят у повозки колёса,
над повозкою пустельга летает,
раби Шмуэль шамкает песню «Полюшко-поле».
за спиной у него жена,
сыновья: рабби Берл и рабби Иуда,
дочери в гимназических платьях,
все машут ему руками.
«отпусти, – говорит он, – меня, государыня-осень».
запускает в котомку руку,
вынимает из мокрой котомки буквы.
буквы шевелятся у него в ладони,
он ладонь к гнойным глазам своим приближает.
вот уже позабыты чернозём, перелески, травы...
над морем гарцуют звёзды, трудно ехать по дну морскому.
осьминог ему помогает, архелон, кистепёрая рыба.
он выходит на берег по другую сторону моря,

оставляет повозку, поднимается в гору, садится у камня.
из открытой котомки, шурша, выползают буквы.
раби Шмуэль вздыхает, говорит: «отпусти меня, старче».
солнце восходит.
высыхает морская вода на пейзах,
в соль превращается.
старче его отпускает.



«...беременность расширяет женщину, чтобы в той
происходила беременность».
так в простой
форме, похожей на форму круга,
раби Лурия объясняет ученикам
бесконечность Создателя.
пеликан
в этот момент загребает над ними к югу
зимовать.
Галилея в дожде.
езде
низкие облака – тёмная, как пишут поэты, вата.
после дождя деревья выглядят виновато,
как человек в мокрой одежде.
издалека
доносится гром.
(поэт бы сказал: «литавры»),
улучки города скрючены, словно пальцы старого старика,
болеющего подагрой.
рабби Лурия смотрит на жернова облаков.
его отвлекает ропот учеников:
«значит Бог – это женщина?!»
«да, – отвечает, – особенно поздней осенью»,
и потом, про себя: «идиоты».
потом встаёт,
тихо вздыхает, поворачивается и идёт
чаю попить к другу, рабби Иосифу.



я помню ту больничную кровать
и стайку птиц, присевших «на дорожку».
«сынок, ты знаешь, где меня искать», –
сказал отец и вылетел в окошко.
а ночью мне приснился Розенкранц.

он был шиповником и веки мне царапал -
 качающийся розовый паяц
 с нестриженной, сухой, когтистой лапой.
 и я проснулся.
 вынул ноги, встал
 и зеркалу при жёлтом освещении
 шепнул: «теперь,
 отравленная сталь,
 ступай по назначенью...»
 назначение
 светлело за окном сквозь листопад.
 в соседнем доме женщина кончала
 так громко,
 что кораблик у причала,
 стуча в причал, рвал якорный канат.

♦ ♦ ♦

родившимся на юге в двух шагах
 от моря, где не по две, а кагалом
 всем набегают волны...
 в городах,
 где нет зимы,
 где смерть не ночевала,
 где вечно поднимают паруса
 и угощают девушек пломбиром,
 и воздух жжёт античная оса,
 и если там бывает зло и сыро,
 то это только память о тепле,
 о корабле идущем на Тортуту,
 о ветреном, солёном и упругом,
 как стих, сопротивлении земле.
 Евгений не поднимет здесь кулак,
 а коль поднимет, вызовет усмешку.
 здесь, затянув свой пояс, Зодиак,
 мир разделяя на орла и решку,
 его подкинув, выберет орла,
 и выпадет орёл,
 орёл и воля,
 и запах моря, и закон весла:
 «Бог есть усилие, преодоление боли».
 и я из вас,
 я тоже был рождён
 средь рыжих абрикосовых плантаций,
 чтоб, глаз не пряча, на волну взбираться
 и вместе с ней смеяться над дождём.

♦ ♦ ♦

Господь хранит промокшую листву,
 акаций зимних жёлтое дыханье,
 дождь и прикосновение к родству
 всего со всем.
 у воздуха и камня
 один состав,
 и рифмовать легко...
 ну, например:
 «ожог и молоко»,
 «гранат – река»,
 «шум – шёлк»,
 «земля – копыто».
 о, дерево начала января –
 реторта лишь, в какой бог янтаря
 дрожит, прижавшись к богу малахита. ■



Феликс ЧЕЧИК

📍 Нетанья, Израиль



Фото: Давид Кислик

Биография как топливо стихов

Место рождения — Пинск, Белоруссия, ныне — Беларусь. Но по причине того, что уже тридцать семь лет, как покинул берега Пины-Припяти, остановимся на первом.

Не поверяя гармонию алгеброй (в которой ничего не смыслю, начиная со школьных времён и с пресловутых «бассейновых задач»), важно отметить, что полесские четверть века — очень важный для моего сердца звук. Советско-пинское детство, пришедшее на 60-70-е годы прошлого века, мало чем отличалось от детства моих провинциальных ровесников на территории СССР: одно-, двухэтажный роддом, детсад (в моём случае — всего месяц-полтора, точно не помню — из-за того, что бабушка была на пенсии и не работала), школа, двор, спортивные кружки...

Тогда — в мои 5-6 лет — бабушка казалась очень старым человеком. Но сделав нехитрый арифметический подсчёт (с этим я справился), я с удивлением обнаружил, что мы с ней сейчас погодки. Проказничая и шалая, доводил её до сердечных приступов. А потом капал для неё в гранёный стакан валокордин. Верхом бестактности и глупости было моё обращение к бабушке: «Научи готовить твои вкусные котлеты — ты умрёшь, кто же мне их будет делать?» Но тогда оно мне таковым не казалось.

Часто и подолгу я любил слушать её рассказы об эвакуации в 1941-м в каракалпакский город Турткуль: на руках четверо детей мал-мала меньше, одна, без мужа (умер незадолго до войны). Врезались в память два эпизода. Амударья вышла из берегов, и бабушка, стиравшая в ней бельё, чудом не утонула. И второй: голодая и не в силах прокормить четверых детей, бабушка тайно купила ишачье мясо. Ночью приготовив из него пирожки, под видом говяжьих продала на базаре. Улетели моментально! Но это же Средняя Азия, мусульманская страна, где мясо домашнего ишака строго-настрога запрещено употреблять в еду — как она рисковала! Но обошлось...

Подростком, решив стать прозаиком или драматургом (точно не помню, но не поэтом — определённо), я, вооружившись «амбарной книгой», на протяжении нескольких недель ходил к бабушке в больницу, где она в очередной раз лежала в сердечном отделении, и тщательно записывал её жизнь, мучая и требуя всё новых и новых рассказов с подробностями и деталями. И бабушка, вздыхая и вытирая слёзы, вспоминала, с трудом говоря по-русски и переходя на идиш. Эпос или драма были начаты, но брошены в самом же начале. Спустя годы — уже после смерти бабушки — я долго искал эти записи, но так и не нашёл.

Что ещё? Конечно, родители, старшая сестра, друзья, юношеские влюблённости, первые стихи, «слесарка» на судоремонтном заводе, литературное объединение «Орбита» при районной газете, служба в СА (советской армии — для непосвящённых), женитьба на удивительной девушке, которая уже на протяжении многих лет по совместительству — Муза, рождение детей, перестроенная Москва, учёба в Литературном институте, собратья по «перу и стакану», репатриация в Израиль... Так или иначе — всё это есть в моих стихах. Являются ли факты биографии автора необходимым и достаточным топливом для них — вопрос, может быть, для кого-то и спорный — для меня это очевидно. Я убеждён, что это сообщающиеся сосуды (бассейны).

Лауреат «Русской премии» (2011) и международной премии им. И. Ф. Анненского (2020).

Тишина обесточила тьму

♦ ♦ ♦

Две прекрасные Ирины, –
два поэта: Е. и П. –
Новый год и мандарины
одиночеством в толпе.
Без которых время – морок,
без которых жизнь – тоска.
Но отсутствие которых
не заметила Москва.
Потому что ей до жиру,
а стихи до фонаря,
коммунальную квартиру
расселившая зазря.
Белокаменной до фени
две Ирины: П. и Е. –
и любовь, и вдохновенье
снова падают в цене.
Две прекрасные Ирины:
вдохновенье и любовь –
укоризной окарины
не воспользовались вновь.
Но поют назло разлуке,
но поют назло войне,
как протягивают руки
обездоленному мне.
И звучит, врачую душу,
будто слово рыбаей,
птицей вырвавшись наружу,
позднепушкинский хорей.

♦ ♦ ♦

Облаками черешен, цветущих, как сон, –
был я взвешен и всё-таки был невесом,
но февральская муха, полночно жужжа,
сердце резала без ножа.
Дай уснуть – не жужжи, дай вернуться назад,
где растёт – чисто ртуть, отцветающий сад.
Я – комар в янтаре, я – в июле пчела,
улетевшая во вчера.
Насекомым всегда, насекомым везде –
наступила страда не ходить по воде;
и ходить не могу, и летать не хочу
я, завидуя только грачу.
Баттерфляем ли, брассом? Любви марш-броском
возвратился Саврасов, хоть сам насеком,
и, ликуя, на ветке поёт,
как сорвавший джекпот.
Никому не судья и ответчик всему –
подпеваю и я, невзирая на тьму, –
вдалеке от надежды и мук
под жужжание белых мух.

♦ ♦ ♦

Выживших во тьме – со света
не сживают соловьи.
Человек с рождения это
сумма горя и любви.
Человек до смерти – снова,
а на самом деле – вновь
ставит прошлое на слово
и не ставит на любовь.
Он уверен, что зачтётся!
Не зачтётся. Не беда!
В чёрный плащ Георга Отса
завернулся навсегда.
Жизнь проходит мимо. Мнимо
и бессмысленно вокруг:

дымным порохом без дыма,
вспыхнув, испарился друг.
И любимая, которой
не было дороже на
свете – помощью нескорой
и тоской окружена.
Человек не ждёт ответа
коротая дни свои...
Выживших во тьме – со света
не сживают соловьи.
Нет его счастливей, если
он – ни свет и ни заря –
просыпается от песни
заводного снегиря.

♦ ♦ ♦

С головой под одеялом
отоспишься там,
где большое видит в малом
вешний Мандельштам.
Где родное видит в странном
вечный Даниил,

как насмешка над тираном
из последних сил.
И рыдает чайка в голос,
затихая вновь,
как младенец, как Михоэлс,
как моя любовь.

♦ ♦ ♦

Безмолвны эти. Вышли те
и не вернулись.
Аукаемся в темноте
осенних улиц.

И, тиражируя свои
печали-тоски,
мы умираем от любви,
как в соснах доски.

♦ ♦ ♦

Я – Штирлиц, «Вихрь», Вайс и Клосс, –
не видя собственного носа –
любовь пускаю под откос
и поездом лечу с откоса.
Не доверяю никому
и жду подвоха и обмана,
когда Россия на кону
стоит, покачиваясь пьяно.
В сто тысяч раз она милей
ближневосточного расчёта,
замёрзшая среди полей
и не сорвавшая джекпота.

Сорвавшая чеку, держа
её в зубах – чем не полмира?
пока затмением паранджа
и колдуну верна Людмила.
Но – рано или поздно – он
лишится бороды, как денег,
и Гэри Олдмен выйдет вон
и шутовской колпак наденет.
И будет воля впереди
и птица-тройка вдоль сабвея
под музыку Тариверди-
евангелие от Матфея.

♦ ♦ ♦

Невнятные строчки роились –
какие? – сказать не берусь,
как счастья ленд-лизковский «Willis»,
как боли беспмятный Bruce.

Мои – потому что невнятные,
мои – потому что темны,
а значит уже виноваты,
не ведая чувства вины.

Полночные – молча кружили, –
кружили – не день и не два,
и были они не чужими,
хоть были чужими слова.

Кружили они и смотрели
с полночных небес на меня:
безмолвнее, чем параллели
и прочь бесконечность гоня.

Они не зерно, а полова
пшеницы, не вставшей с колен,
как «виллисы» 42-го
и как заболевший Макклеин.

Достали! Замолкните! Ну-ка, –
не видите, что ли – я сплю!
И, словно любимого внука, –
проклятых с ладони кормлю.

♦ ♦ ♦

В. и Т. Сотниковым

Нафантазировал минор
в мажоре – Шуберт Пётр
Ильич, как если бы минёр
на минном – слёзы? пот?
В Рейнландии в полупальто
шурши листвою в тиши.
Четыре левые, зато
два сердца, две души.
Врачуют Вагнер, Лист, Модест,
Канчели – вверх и вниз.

Бог умер, а свинья не ест
и лыбится, как чиз.
И снова музыка везде,
как масло разлита.
Один гуляет по воде,
другой летит с моста.
А третий – лишний, как всегда,
один и до конца.
И Рейна чёрная вода,
и зеркало лица.

♦ ♦ ♦

След от чашки чая на столе
не успеет испариться: тихо
и безлюдно станет на земле,
и не возвратится Эвридика.

А Господь, конечно, ни при чём!
Всех любя – травинку и букашку,
вымывает, склонившись над ручьём,
вдребезги разбившуюся чашку.

♦ ♦ ♦

Дом, где жил Ходасевич в Берлине, я не посетил.
Не был в городе Йере, где умер Георгий Иванов.
Надо мною, как аист над Пинском, кружит осетин,
курит план ГОЭЛРО и безумие «илов» и «анов».

Жизнь прошла – не поверишь – и вышла практически вся.
Красный Крест, могоновид и месяц, как ножик и коржик.
И накрыла меня европейская ночь Ходаса,
а сбежать не могу, как бежал из кадетского Жоржик.

Фермопилы? Ага. Полумрак лиловатый? Ага.
Богадельня. Чердак. И бескрайнее поле России.
И не тают уже целый век голубые снега.
И под мирное небо они навсегда закосили.

На смерть Цветкова

Тишина обесточила тьму –
 чистой радости мелос.
 Пусть на небе поётся ему,
 как пилося или пелось
 на Святой, – ну а где же ещё
 петь на ріднай поэту,
 где целует тоска горячо
 и сживает со свету?
 Мы ему подпоём, будто ночь,
 заикаясь и вторя,

так поёт закарпатская дочь
 Средиземного моря.
 Мы ему подпоём, чтоб ему
 было не одиноко, –
 не про иволгу и Колыму –
 про московские окна.
 Этой песне не будет конца,
 как могилы и гроба.
 Левантийское время скворца.
 Белый саван сугроба.

♦ ♦ ♦

Выпив «буратино» или «старки», –
 чередуя это, – вновь и вновь
 я разглядываю, словно марки:
 время, расставания, любовь.
 В памяти, как если бы в альбоме,
 не спеша разглядываю я:
 аист в Пинске и Бетховен в Бонне,
 помазок отцовский для бритья.
 Выцвело, состарилось, поблекло,
 в старом сердце – раз и навсегда:
 танцплощадка, «Незнакомка» Блока,
 Припяти весенняя вода.

Что ещё? Осеннего тумана
 над рекой – парное молоко,
 больно умирающая мама,
 на небо ушедшая легко.
 Кто ещё? Их тьмы, и тьмы, и тьмы?
 Раз, два, три, четыре – и обчёлся.
 И, не расстающиеся мы –
 навсегда, как Наденька и Ося.
 В небе бесконечно-голубом –
 точкой удаляющейся – птица...
 Виртуальный памяти альбом
 в подсознании любви пылится.

♦ ♦ ♦

И я обращаюсь к отцу,
 что смотрит на землю из рая,
 наощупь читая мацу
 посредством любви, а не Брайля.

И я обращаюсь к нему.
 А он, как осенняя птица,
 опять улетает во тьму,
 не чая домой возвратиться.

♦ ♦ ♦

Когда я вырасту и стану
 намного больше, чем деревья, –
 я полюблю ночную стаю
 и разлюблю дневное время.

И с ней летая легкокрыло,
 я буду счастлив, наконец-то,
 как будто птица из акрила,
 вернувшаяся в хлопок детства.

♦ ♦ ♦

Люди встречаются, люди влюбляются, женятся.
 Мне повезло в этом так, что — просто беда!
 Эта единственная, неповторимая женщина
 любит меня, ненавидя, как берег вода.

Как алкаши стеклотару, как море пехота
 или как дворники всех пешеходов Москвы.
 Как депрессивная Нарва и рифма «охота»
 Галича, и небеса океан синевы.

Так и живём: то серёжкой ольховой, то липовой,
 то есть, кленовой. Да, кто же их всех разберёт!
 Ветер июльский — то громко смеялся, то всхлипывал,
 то затихал, как любимая, наоборот.

♦ ♦ ♦

С. З.

Перепополняется сердце виной
 и безнадегой душа, —
 это, как в теннис играть со стеной,
 смэшами стену круша.

это страна и Победы и нар,
 вдруг примирившая их.

Это — сначала смешно, а потом
 неврастенический плач:
 в пух превратился железобетон,
 в прах превращается мяч.

Это — страна? Это — я, это — ты,
 мы, а не кто-то другой...
 Наш пятисетовик до темноты
 выбелен вьюгой-вьюгой.

Это дешёвых сравнений кошмар,
 дурка метафор ночных;

Так и живём, будто корку жуём,
 мякиш отдав старику,
 вооружившись сапожным ножом,
 как повелось на веку.

Памяти друга

Фокус-покус: верёвка и мыло,
 мост над Пиной, ночная вода.
 Сделай так, чтобы снова приплыло
 то, что сплыло уже навсегда.

чтобы благоухали сирени
 в бесконечности тёмных аллей.

Сделай так, чтобы вешние воды
 не замёрзли зиме вопреки
 и, чтоб взявшие самоотводы,
 поумнели чуть-чуть дураки.

Чтобы время меня не забыло
 и светила надежды звезда...
 Фокус-покус: верёвка и мыло,
 мост над Пиной, ночная вода.

Чтобы злые чуть-чуть подобтели,
 чтобы на сердце стало светлей,

И душа над единственным телом,
 словно аист кружит в октябре.
 Хорошо, что забыл и не сделал,
 я соскучился по тебе. ■

М

Глаша
КОШЕНБЕК

📍 Москва, Россия



Фото: из личного архива

Родилась и живу в Москве, окончила школу, институт и много, долго, бесконечно работала на работе. Чтобы не чокнуться, стала писать стихи.

Важным в стихосложении считаю не убивать своих героев, не мучить их. К сожалению, получается не всегда.

После февраля думала, что стихи вряд ли будут, но что-то пишется.

Так много слов, а всё их мало

◇ ◇ ◇

так много слов а всё их мало
в эфирах пляшут конь и лось
так хорошо же воровалось
так исключительно жилось

такие слуги и прислуга
едят с руки и бьют с ноги
найдут шестой и пятый угол
а кто не спрятался – беги

такие замки и просторы
такие бабки и чины
такие душегубы воры
и все приучены ручны

такое чувство превосходства
ну как вам это описать
и одобряемое скотство
прикормленные небеса

так по-домашнему и мило
как любят жабы и ужи
такие планы по распилу
на территориях чужих

и чемоданчик для помёта
и чёрный шёпот за плечом
такое всё
вы не поймёте
о чём нам говорить
о чём



дорогую родину окружили тучи
дорогая родина чуточку плоха
ждёт вас дожидается кучкой и поштучно
дёшево обходится ваша требуха

дорого всё дорого дорогие граждане
яхты очень дороги дорог автопарк
по такому поводу ясно всем и каждому
что без вашей крови нам не прожить никак

вижу разлетаетесь в сторону отходите
вижу вас кто прячется и иду искать
я найду
я родина
вы же лишь расходники
странно что не хочется вам повоевать

за дворцы с колоннами! за места нагретые!
за маразм! за жуликов! подлость и враньё!
дружными колоннами только ради этого
на поля сражения марш уже вперёд



так гнусно всё и хочется забыться
полоть пойти
где сныть моя где эта э... мокрица?
их нет почти

где милые привычные вражины?
где сцука хвоц?
тревожно мне
надеюсь что вы живы
где ж ваша мощь?

где ты пырей? в каких садах жиреешь
где лебеда?
вас нет и я конечно не жалею
ну иногда

ну да противоречия бывали
в конце концов
но мы друг друга всё же уважали
да знали блин в лицо!

теперь неведомая гадость в клумбе
мерзей вдвойне
уходит всё привычное что любим
и даже не

ползёт и оплетает и не рвётся
какой-то мох
так ирис был лишён воды и солнца
и ирис сдох

зачем сюда припёрлись вы? откуда?
какого пса?
люцерна хмелевидная паскуда
в дрянных усах

вот тот змеится этот жжёт как угли
и их не счесть
такие рожи
всех их надо гутлить
хотя зачем



это было бы смешно
если не было бы страшно
всё уходит всё ушло
в день вчерашний
год вчерашний
век вчерашний снова тут
что посеяно то жнут
ветер камень зуб дракона
приближаются поют
чёрных сотников колонны
в окна в окна ставь иконы
а за ними прёт толпа
сколько лиц знакомых там
где-то крики стали выть
мы такие же как вы
мы вполне благонадёжны
вот в окне Угодник Божий
выйдем к вам сейчас мы тоже
где пальто и где перчатки
был кастет такой свинчатка
ладно хватит ладно брось

просто трость дай просто трость
только что тут? только что тут
были бравые соседи
а сейчас мясник наш съеден
половина мясника
части от зеленщика
нет домов – холмы деревья
скрип часов часы не дремлют
запах дикий мокрый древний
что бежит ко мне навстречу?
я кричу бежать мне нечем
я ползу лишённый речи
я лишь вышел из парадной
запах дикий запах смрадный
он огромный
снова вой
где я? где городской?
слизь моя ты голубая
я не знаю что я знаю
это зелень у реки
это папоротники

◇ ◇ ◇

но ничего не поменяется
с чего бы собственно меняться-то
ну лица новые появятся
моложе может лет на двадцать

убийцы будут пить и хвастаться
перед родней детьми и внуками
и с ними не боясь запачкаться
легко здороваются за руку

всё заболтается заплещется
привычным уголовным варевом
открестятся забьются в трещины
и выйдут с праведными харями

пройдут недели за неделями
и все примерят что-то белое
а что там делали не делали
а зоопарка просто не было

хабалки никуда не денутся
им незнакомо поражение
и жизнь обычная затеплится
своим необщим выражением

икона наконец рассыпется
а те, не одеревеневшие,
взлетят немыслимыми птицами
и всё сожгут к херам, конечно

◇ ◇ ◇

ем яблочную слойку
за окнами снега
ни снегирей ни соек
лишь вьюга и пурга

не слышу злые речи
не слышу бред и вой
гляжу в окно на вечер
слоёный темнотой

весна весна-свиноота
да где ж ты нету слов
упал сутроб на что-то
ем яблочную сво

не слушаю хабалок
на рыла не смотрю
я слойку ем из яблок
я даже не курю

тьфу сволочь слойку ем я
из яблок слойку ем
не собираю земли
ни капельки совсем

ем яблочную слойку
мороз ветрище жуть
ем яблочную слойку
наверное нажрусь

◇ ◇ ◇

по-прежнему обильны в поле росы
мужает сныть и борщевик и хвощ
какая прелесть форма для доносов
какая в ней традиция и мощь

какая гадость заливная рыба
какая сладость в лёгкости уесть
какие люди – камни гвозди глыбы
какие зубы когти яд и шерсть

как раньше – без сомненья без запинки
как штирлиц завещал и обучил
отжать места и швейную машинку
и оперу на ней строчить строчить

сиди гляди хлебай столовской ложкой
иронизируй и блести умом –
ничтожное в сравнении с бомбёжкой
и стыдное и стадное дерьмо

как гадостно как пошло и как поздно
не жаль души сиреневую цветъ
и хочется уйти смотреть на воздух
а может никуда и не смотреть

а в небе си нет сером цвета гальки
лишь облаков невыносимый пух
и самолёт летит
и паровоз летит
возможно без детальки
а может и без двух

◇ ◇ ◇

коза не видит глубины
пчела не верит в перспективу
стыда не знают валуны
от вещей снов не гнутся ивы

но только дрозд листы читает
а дрозд смешлив как все дрозды

досуг неведом муравью
жизнь мотылька полна досуга
комар плюёт на госуслуги
у листьев клёна нет айкью

летит паук на паутинке
куда неведомо куда
и мир-едок и мир-еда
замрут вдруг словно на картинке

а может есть он путь звезды
давно забытой вычисляет

звезда над ними восстаёт
огромным жарким диким зверем
и птицы травы и деревья
не ждут но чувствуют её
товарищ, верь

◇ ◇ ◇

поехали мария
поехали скорей
пока закат седлает
разгневанных коней

пока слова на воле
свободные ещё
и на бумажном поле
и на экранном поле
на белом чистом поле
их век ещё течет

пока твердеет воздух
и выпцветает свет
пока ещё не поздно
почти почти для всех

так долго не продлится
слышны и скрип и стук

и жизнь бумажный листик
и ластик где-то тут

за темнотой из камня
другая темнота
там что-то кружит плавно
движением кота

там горечь земляная
понятная чуть-чуть
но больше я не знаю

и знаешь не хочу

а может вру не ври я
что было бы со мной
поехали мария
поехали домой

там по примеру мидий
закроем створки штор
так может и увидим
что будет будет что

◇ ◇ ◇

муравей бежит со скоростью сто километров в час
кто хочет меня поправить тому лучше сейчас же и замолчать

муравей летит со скоростью тысяча километров в минуту
кто хочет оспорить и это тому лучше покинуть каюту

нашу палубу наш летучий фрегат
мы мчимся со скоростью света практически везде и всегда

а когда устаём всегда наступает тьма
но мы набираемся сил некоторые – ума

выходят на палубу под тучи летучих рыб
в воде резвятся кальмары и лобстеры – не оторваться от их игры

огни святого эльма дрожат но светят в глаза
этому святому явно было что миру сказать

волны растут в волнах миллионы мелких существ
любой муравей растоптал бы их всех за один присест

волны грохочут и сами топят свои миры
миры уходят в глубины как изгнанные арендаторы

где атлантида лемурия где справедливость в конце концов?
только кальмары и лобстеры ну и семейства угрей и тунцов

а вот и кракен поднимается лет на двести или на сто
потому что может – как завещал жан руссо или жак ив кусто

из далека долго во всё это впадает песенная река
но муравью всё ещё не хочется петь пока

ему хочется прыгнуть подальше от всех этих щучих морд
и он смотрит вокруг и внимательно смотрит за борт

так что муравей прыгает вверх и приземляется между сияющей Вегою
и Большим Ковшом
никто не хочет оспорить астрономические выкладки?
и правильно и хорошо

◇ ◇ ◇

а иванов пошёл в кино
а сидоров в окно
кому что определено
то определено

а чашкин верит в дикий бред
а львов козёл и вор
а пчёлкин кляузничает
и чувствует восторг

а палкин пил а ёлкин врал
а пенкин спёр мак бук
а семиврагин просто спал
и видел всех в гробу

а тушкин это голова
а слойкин подлый весь
а зорькин любит убивать
хоть выбор в общем есть

как быть и кто же виноват
что всё вокруг гнильё
пусть это будет буква а
пойдём побьем её

ну да конечно ерунда
лекарство от обид
эй сидоров лети назад
и сидоров летит

◇ ◇ ◇

бычок ли ищешь подлинней
пьёшь молоко ли из пакета
а что сказал тебе бы Карл Линней
об этом?

читаешь на ночь всякий вздор
ешь чипсы гадостного цвета
подумай, поступил бы так Нильс Бор?
а Фет бы?

боишься гадства, сам молчишь
и письменно молчишь и устно –
вздыхнут и кибальчиш и Ци Бай Ши
им грустно

горюешь – жизнь скучна/пуста
а что там с хламом на балконе?

Пруст не зашёл бы! и Доре Гюстав
не понял

вокруг темно просветов нет
но ты изображаешь радость
Фет...

нет
после чипсов вышел Фет
уйдёт и
Андерсен

не кисни, а полы помой!
коробки выкинь из-под пиццы –
Ломброзо покачает головой
скривится

решишь – будь храбрым как цветок
ну или переклей обои
и мы украсим этот мир легко
собой

◇ ◇ ◇

это солнце это звёзды
это ветер это воздух
это птицы насекомые
это звери неразлучные
есть слова у них весомые
только жалко что беззвучные
солнце всходит солнце трудится
и закатами скрывается
это светом называется
ещё как-то называется
словом из такого прошлого
где хранят слова хорошие
слова нет забылось слово
там оно где живы снова
все любимые живые

только раны ножевые
только чёрное всё в белом
только красное на белом

только ужас ежедневный
бесконечный без
видит пресвятая дева
лилия небес
пакость что отныне радость
мерзость что теперь за доблесть
не скрываясь смерть несётся
жрёт при всех и не нажрётся

и тогда уходят звери
и тогда уходят птицы
где-то скрипнет половица
и лаврентий палыч берия
появляется садится
вот я вам и пригодился
и смеётся заливается
солнце входит к сумасшедшим
как-то это называется
но не временем прошедшим

◇ ◇ ◇

вот муравей упал лежит
под неподъёмною травинкой
и ножка у него дрожит
и стан дрожит давно негибкий

природа смотрит сквозь него
слезами истекают росы
паук из чрева своего
извлёк верёвку крепче троса

и птица мелкая орёт
и приближается прыжками
и ёжик лет примерно трёх
бредёт неверными шажками

картофель закатил глаза
храня прискорбнейшие тайны
и пролетает стрекоза
и улетает
улетает

колышет флорой луг и лес
над муравьём в легчайшем весе
и только шкурный интерес
и никакого интереса

а он глядит за окоём
и вопрошает мирозданье
в чьи руки мы передаём
воздвигнутое нами здание?

◇ ◇ ◇

первый раз проснулись – вроде затрясся дом
а второй проспали не слышали ничего
это странно – речи не было о таком
но понятно понятно никто не знает всего

ночью сад красив печален и очень тих
половина жёлтой луны как полужакрытый глаз
вообще-то странно что тут это а не у них
вроде речь не шла
но там знают лучше нас

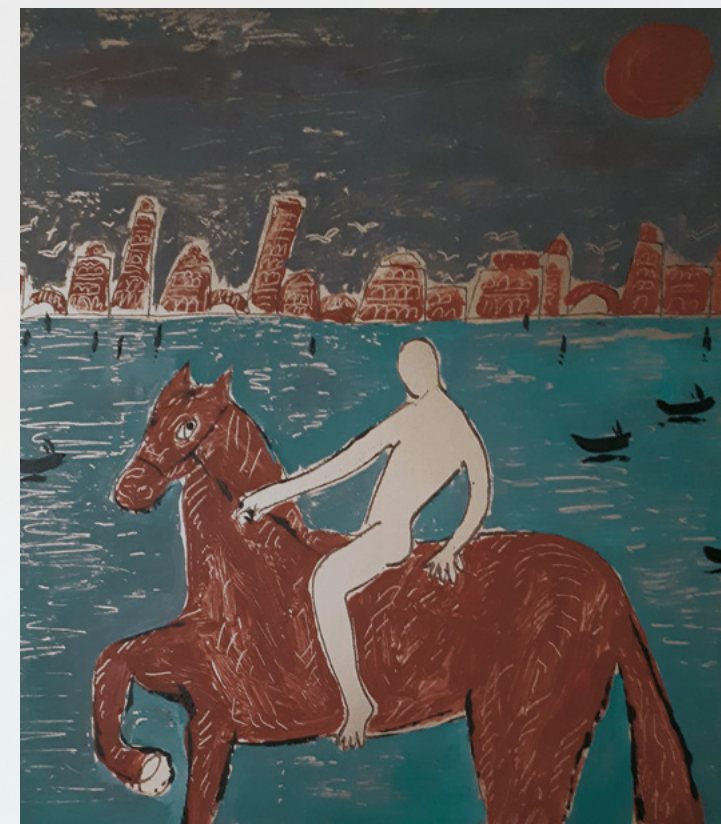
это в первый раз мы вышли проспали второй
мы же мирные люди хотя нет так нельзя говорить
с нами бог – так можно он с нами привычный свой
загляну в машину - на месте своём старик

значит надо так надо знают лучше там – как и что
надо сад полить а то груши уже с гнильцой
и потом ведь опять-таки вроде бы обошлось
да и пол помыть и ещё подмести крыльцо

ладно жизнь течёт вот и яблоки день ото дня
в жопу яблоки к чёрту гроздь рябин
так не может быть чтобы в меня в меня
так не может быть это просто не может блин ■

Мфм

потаённые смыслы





Алексей МАКУШИНСКИЙ

📍 Висбаден, Германия



Фото: Елена Волленвебер

Родился в 1960-м в Москве. В Германии с 1992-го.

Поэт, прозаик, историк литературы, доцент кафедры славистики университета Майнца.

Автор романов «Макс», «Город в долине», «Пароход в Аргентину», «Остановленный мир», «Один человек», книг стихов «Свет за деревьями», «Море, сегодня», книги эссе «У пирамиды», книги «Предмесья мысли».

Новый роман «Димитрий» выходит в издательстве Freedom Letters. Большой фрагмент из него и интервью с автором опубликованы в журнале «Знамя» (№ 8, 2023).

Лауреат премии «Глобус» журнала «Знамя» и Библиотеки иностранной литературы. Участник шорт-листа премии им. А. Пятигорского. Дважды финалист премии «Большая книга». Лауреат первого приза «Русской премии» (2015).

Буква М

Фрагменты из книги фрагментов

М

Давным-давно, среди ночи проснувшись, я подумал, как много важных слов моей жизни начинается на букву «м»: *море, мост, мир, миг, маска и музыка*, – и сколько имён, сколько названий: *Макс, Марк, Москва, Мюнхен, Монтевидео*. Монтевидео я приписал для красоты; читатель меня простит. Я начал составлять список этих слов; потом, несколько лет, к каждому из них понемногу подключались – сами собою – разные *мысли* (тоже на «м», тоже на «М»); иногда по несколько *мыслей* к одному слову (на «м»). Разумеется, есть и другие восхитительные буквы в алфавите: например, буква «т» (*тишина, трагедия, трескучий мороз*), или буква «у» (*упадок, ужин, урод, урожай, Уругвай*); но ведь, говорят, *мастерство* (на «м», опять-таки) – это самоограничение, *мудрость* (на «м») – тоже самоограничение. Ни на то, ни на другое не претендую, но буквой «м» пока ограничусь – а там будет видно.

Мысль

Мысль начинается вдруг. Мысль вдруг тебя настигает. Это вдруг случается снова и снова, не утрачивая, с годами, своей неожиданности. В какой-то точке бесконечно быстро бегущего, бесконечно медленно текущего времени – вдруг. Из этих вдруг, этих точек, складывается наша мысль, моя мысль, моя очень личная мысль. Сказать, что из них складывается моя жизнь? Смотря, что называть так. Иногда я думаю, что эти мгновения мысли выпадают из жизни, отрицают её, отрывают меня от неё. Мысль не есть функция жизни. Мысль есть против-жизнь, анти-жизнь, преодоление жизни. А иногда я думаю, наоборот, что это-то и есть жизнь, только это и более ничего. Только эти краткие, всегда краткие, эти хрупкие, всегда хрупкие, мгновения ясности, совпадения с собою – только они и есть жизнь, всё прочее – видимость, кажимость, иллюзия, навязчивый сон.

Мыслитель, мечтатель

От природы я, конечно, мечтатель, а всю жизнь хочу быть мыслителем. Получается плохо.

Мандельштам

Было время, когда я видел его во сне. Он являлся мне в разных образах и обликах, под разными масками, но я всегда знал, что это он, Мандельштам, самый лучший, самый любимый. Однажды он был ветром, кажется – Аквилон. И мгновенный ритм – только случай, неожиданный Аквилон. Так часто повторял я эти строки, что Аквилон стал мне сниться. Мне было примерно столько же лет отроду, сколько было ему, когда он написал это. Лет девятнадцать, и даже, наверное, ещё меньше – семнадцать. Никогда не надеялся я написать что-то подобное, что-то сравнимое. Как можно писать стихи, если есть этот Аквилон, эта игрушечная чаща, это ненужное я? Я потому, может быть, и бросил писать стихи в молодости, что не надеялся сравняться с Аквилон. Ужасно страдал от этого. В другой раз он мне явился каким-то китайским драконом, совсем не страшным, скорее добродушным, вместе с облаками кружившимся над осенней, золотой и багряной землёю, словно выбирая место, поляну или прогалину, где бы ему захотелось побыть и помедлить. Я думаю, Мандельштаму бы это понравилось. Он был уже старый. Старик застенчивый, как мальчик. Дракон, а всё-таки человек. С развевающейся по ветру, седой, узкой бородакою, как у Лао-цзы, у Конфуция. А ведь он умер всего-то сорокасемилетним. Вот это – теперь я думаю – всего труднее себе представить. Проще представить себе добродушного дракона, кружащегося над золотой землёй, багряной листвой.

Мгновения ясности

Каждая новая ясность отменяет все предыдущие.

Мораль

Религия вообще не нужна, нужна общечеловеческая мораль, объявил недавно – кто? – Далай-лама. За долгую жизнь он пришёл к выводу, что религия вообще не нужна, а нужна общечеловеческая мораль. Как это замечательно – из уст Далай-ламы.

Майорка

Ещё одна церковь, ещё одна ратуша. Ещё одна площадь перед ратушей, перед церковью. Всё это уже было. Зато каждый камень и каждая ракушка, подобранные на берегу моря, приближают к пониманию чего-то важнее.

Мёртвые глаза

Проститутка с мёртвыми глазами, в Париже. Красивая, но в глазах всё убито. Такая красивая, что дыхание перехватывает. А глаза всё-таки мёртвые, страшные.

Манн и Набоков

Набоков, как известно, терпеть не мог Томаса Манна, а Томас Манн, скорее всего, даже и не слышал о Набокове. Между тем в их судьбах так много общего, что невольно начинаешь думать о какой-то *превышающей человека* иронии... Посудите сами, как говаривали когда-то. Томас Манн, кстати, знал это русское выражение. Рассказывая о своём несостоявшемся – из-за Первой мировой войны – путешествии в Россию, воображает он, как бы это было здорово, как бы он там ел пироги, закусывал водку (Schnaps) солёными грибами (eingemachte Pilze) и пил чай с потомками Гоголя – он называет почему-то Леонида Андреева, Сологуба и Кузмина, – и как бы они говорили ему: «Помилосердствуйте, батенька!» (Erbarmen Sie sich, Väterchen!) или «Посудите сами, Фома Генрихович!» (Urteilen Sie doch selbst, Foma Genrichowitsch!). Смешно и мило, что скажешь. Всё-таки, когда иностранцы пишут о России, кич где-то рядом, развесистая клюква растёт за углом. Так и видишь Сологуба, говорящего Томасу Манну «батенька» под дружный хохот Кузмина и Андреева.

И тем не менее – посудите сами, помилосердствуйте. Первая книга принесла успех и Фоме Генриховичу, и Владимиру Владимировичу, но это были ещё не совсем *их* книги: не совсем Набоков, не окончательный Томас Манн. Набоков, когда впоследствии дарил свои сочинения кому-нибудь, рисовал на фронтисписе бабочку, и только на фронтисписе «Машеньки» – куколку. «Будденброки», в Германии едва ли не самый популярный роман Томаса Манна, тоже ещё куколка, ещё из девятнадцатого века – уже Томас Манн, но ещё немного Теодор Фонтане, немного Эдуард фон Кейзерлинг (замечательный, кстати, писатель, в России почти неизвестный, да и в Германии слишком недооценённый). «Будденброки» потому-то, может быть, и пользуются такой популярностью, что они ещё чуть-чуть похожи – только похожи – на ту «просто прозу», которую так любит «обычный читатель». Однако и со второй книги оба автора ещё не совсем начинают. Вторая книга у обоих – почти провальная (признаем уж правду). Кто читает, кто перечитывает теперь «Королевское высочество», «Король, дама, валет»? Обратим, уж кстати, внимание на созвучие заголовков. Читать это ещё возможно, перечитывать уже, пожалуй, нет. По-настоящему и всерьёз и Томас Манн, и Набоков начинают позже, после первой, замечательной, ещё не совсем их собственной, и второй книги, явно написанной, чтобы как-то заполнить паузу между этой первой – и всеми прочими, уже несомненно томас-манновскими, безусловно набоковскими.

Оба жили в Германии, потом бежали от нацизма в Америку, потом из Америки вернулись в Европу, причём оба в Швейцарию: Томас Манн – в собственную виллу (он вообще любил строить виллы) на Цюрихском озере, Набоков – в дворцовообразный (потому и называвшийся Montreux Palace) отель на Жевском. У Набокова в детстве и юности была, конечно, Россия (его потерянный рай), но рисунок их взрослой жизни почти совпадает. Набоков родился миллионером, Томас Манн женился на дочке миллионера. Оба не были евреями, но имели жён-евреек, с поразительно созвучными именами – Катя и Вера: два хорей (хочется сказать: две хорейки). Обе жёны-хорейки, похожие даже внешне, особенно в юности, были решительные, умные, острые на язык дамы,

водили машину, возили на машине мужей (в автомобильном смысле несостоятельных). Обе занимались их литературными и другими делами, отвечали за их связи с внешним миром, оберегали их от этого внешнего мира, отвечали на телефонные звонки, спроваживали не угодных им посетителей. Катя родила своему мужу целых шесть (несчастных) детей, Вера одного Дмитрия (не знаю уж, да и неважно, насколько несчастного). Во всяком случае, и там, и там был добропорядочный, долгий, «на всю жизнь» брак, прикрывавший их тайны и бездны, их скелеты в шкафу, впрочем, скорее гипотетические, платонические. Набоков, судя по всему, не спал с «нимфетками», сочинил, однако, «Лолиту». Томас Манн бесконечно влюблялся в «полячков» (по презрительному выражению Бунина) и не-полячков, в каких-то молоденьких официантов, даже приглашал их погостить у него дома, но дальше писания «Смерти в Венеции» дело всё-таки, тоже – судя по всему, не шло. (И это тоже их популярнейшие – и, на мой вкус, противнейшие сочинения... нет, не подумайте, у меня нет вообще никаких предрасудков, и уж в очереди на роль моралиста я стою последним, а книги всё равно какие-то противные, ничего не могу поделать).

Оба – и Набоков, и Томас Манн – в своей среде, в своей литературе – фигуры центральные, на которые равняются, которым завидуют (бедного Газданова до сих пор сравнивают с Набоковым – самого Набокова не сравнивают ни с кем; бедный Роберт Музиль даже имени соперника не мог слышать, сразу приходил в бешенство, а тот писал о Музилье и для Музиля благородные, бесполезные, равнодушно-рекомендательные письма – ему-то что, Томасу Манну? от него не убудет, – приводившие ядовитого австрияка в ещё большее бешенство). Им всё удалось, короче. У них даже «кризисов» и провалов вроде бы не было. Как начали писать, так и писали книгу за книгой. Про некоторые из этих книг думаешь, что, может быть, лучше было бы для их авторов, если бы время, потраченное на эти книги, они потратили на небольшой «кризис», карманную катастрофу. Катастрофы и кризисы иногда, не всегда, идут на пользу писательству... Оба, боюсь, прокляли бы меня на всю литературную вечность за это сравнение их друг с другом.

Между прочим

Между прочим, Бунин, в своё время вдохновившийся заглавием «Смерть в Венеции» на сочинение «Господина из Сан-Франциско» – именно заглавием, не самой новеллой: саму новеллу он прочитал, по его словам, уже после и нашёл её «очень неприятной», – встретился с Томасом Манном уже в эмиграции, в Париже, в 1926-м, когда тот, Томас Манн, приезжал на несколько дней в прекрасную Лютецию в порядке примирения бывших заклятых врагов, так недавно переставших травить друг друга газом.

По горячим следам написанный и тут же опубликованный отчёт Томаса Манна об этой поездке – он так и называется «Парижский отчёт», *Pariser Rechenschaft* – по-русски, кажется, не издавался и уж войти в знаменитый десяти томник 1960 года у него точно никаких шансов не было: слишком много там говорится о Мережковском, о Шмелёве и о Шестове. Увы, это худший Томас Манн, сочащийся самовлюбленностью. Его отчёт выглядит как светская хроника, как мексиканский сериал. Сплошные приёмы, фраки, гостиные, графини, графы, знамени-

сти, торжественные обеды, речи, встречи, аплодисменты, устрицы, шампанское, завтрак в одном кафе, самом модном и дорогом, обед в другом ресторане, модней и дороже уж некуда. Все лестные отзывы о нём самом, Томасе Манне, переданы в мельчайших подробностях, до последней запятой, с фальшиво-скромными оговорками – или даже без оговорок. Вообще, писатель как представитель (*Repräsentant*: излюбленное словечко Т. М.), неважно уж, что именно он представляет – свою страну, свою эпоху, свою (не могу обойтись без кавычек) «культуру», свой (ещё ужасней) «народ», – писатель во фраке, писатель в мундире, ни на минуту, ни на минуточку, даже, поди, в уборной, не забывающий о своей высокой миссии, своём служении чему-то-там, – не просто так себе писака, а то, что по-немецки называется *Großschriftsteller*, обладатель огромного письменного стола и собственной виллы, – писатель как общественная институция, каждый чих и наморк которой становится всемирно-историческим событием, – всё это у нас, циников, скептиков, анархистов и бунтарей, вызывает только смех, смех, смех.

Всё равно это написано замечательно: даже худший Томас Манн писал замечательно. Бывают, правда, непроизвольно комические моменты, например, когда он приходит в гости к Шестову (решив, по-видимому, отдохнуть хоть пару часов от устриц и ливрейных лакеев), где его встретили «почти буквально с распростёртыми объятиями», по-русски, *à la russe*, очень сердечно. И самого хозяина немедленно объявляет он «исключительно русским» (*außerordentlich russisch*). Шестов, значит, то бишь, как мы понимаем, Лев Исаакович Шварцман, – *außerordentlich russisch*? Ну, ладно, пусть будет так. И почему же он *außerordentlich russisch*? Потому что он бородатый, широкий, *bärtig und breit* (Шестов – широкий? что-то, судя по портретам, не верится), а также потому что он восторженный (*enthusiastisch*), ласковый (*zutunlich*), душевный (*herzensgut*) и вообще (добавляет Т. М., видимо, чувствуя, что переборщил и потому начиная к р и в л я т ь с я) «человечный» («*mähnschlich*»). И вся атмосфера была исключительно русская: щедрая, детская, великолепно-добродушная, не без лёгкого привкуса дикости. Крепкий чай, папиросы. В общем всё, как надо, с развесистой клюквой в кадке. К сожалению, из присутствующих он называет только Бунина, хотя в двух комнатах было полно людей, так что мы до сих пор не знаем, кто были эти широкие (опять широкие) русские (*breite Russen*), бородатые или длиноволосые (какая всё же экзотика для немецкого *Großschriftsteller'a*), среди которых он провел пару часов, беседуя о судьбах Европы, России, свободы; и Наталья Баранова-Шестова, дочь философа, в своей биографии отца упоминающая эту встречу, не знает, кто там ещё присутствовал; мы знаем только, что Томас Манн сидел рядом с Буниным, о котором он отзывается с равнодушным восхищением и который, судя по всему, был с ним не слишком вежлив, отчего и показался неразговорчивым, погружённым в себя, уставшим от дежурных похвал «Господину из Сан-Франциско», желавшим, чтобы хвалили «Митину любовь» (что, похоже, и было исполнено).

Соль анекдота не в этом. И вот такой человек, пишет Т. М., носитель несравненной эпической традиции и культуры своей страны, теперь там, в своей стране, считается контрреволюционером, врагом пролетариата, политическим преступником – и вынужден бежать оттуда, и хорошо ещё, что сумел

убежать. «Здесь я чувствую симпатию, солидарность – что-то вроде возможного товарищества (Eine Art von Eventualkameradschaft: Томас Манн тоже писал на языке своего собственного изобретения). У нас в Германии дело ещё не дошло до того, чтобы писатель, подобный Бунину, был вынужден отряхнуть с ног своих прах отечества и питаться хлебом Запада (так и сказано: das Brot des Westens). Но я нисколько не сомневаюсь, что при соответствующих обстоятельствах разделю его судьбу». А я нисколько не сомневаюсь, что «соответствующие обстоятельства» в контексте 1926 года означают пролетарскую революцию в Германии, вкус которой он имел возможность почувствовать восьмью годами ранее, тем более что жил в Мюнхене, столице «Красной Баварии». Но какова всё же сила предвидения... Пройдёт ещё восемь лет, и Томасу Манну в самом деле, как всем известно, придётся разделить судьбу своих «исключительно русских» собеседников 1926 года, с поправкой на цвет безумия, решившего стать коричневым. Впрочем, и в эмиграцию он уедет в мундире Großschriftsteller'a; не снимет его, похоже, до последнего вздоха в Швейцарии.

Мизантропия

Во мне нет к людям ненависти – зимой. Она появляется только летом, когда окна открыты. Летом я ненавижу людей – источник шума. Прав, прав был Шопенгауэр (вообще – душка), утверждавший, что терпимость к шуму обратно пропорциональна уровню интеллекта. Поскольку же уровень интеллекта у большинства людей не высок, то вот они всё говорят, голосят, кричат, вопят, ещё и музыку, гады, *врубают*, на моё безутешное горе.

Магазин Мёртвых Мыслей

Добро пожаловать в наш Магазин Мёртвых Мыслей. Вот, не желаете ли взглянуть, платоновские идеи, они же эйдосы, ходовой товар, отдаём за полцены. Платиновское Единое, оно же соловьёвское Всеединство, ну тут придётся поторговаться. Вещь уж больно тяжёлая, на одну упаковку уйдёт состояние. А не желаете ли Провидение? Отличная штука, ручной работы, с инкрустациями, остатками позолоты? Нет, не нравится? Так, может, Царство Божие? Совсем недорого, не прогадаете. Подумайте, мы вас не торопим. Что ж, нет, значит, нет. Проходите дальше, осторожно – порог. Не ударьтесь о притолоку. Прогресс, История, Нация, Революция, прошу, всё для вас! Может быть, Равенство? Или желаете Братство? Общность Жён? Простите, но Общность Жён – в соседнем здании. Как выйдете, сразу налево. Кланяйтесь бандерше, Madame Utopie. Всего доброго, сударь, заходите снова, всегда будем вам рады.

Меланхолия

Меланхолия как естественное моё состояние. Несчастье как естественное моё – не только моё – состояние. Непрерывность и неизбежность несчастья как единственного соприродного мне – не только мне – ощущения жизни. Мы думаем – странно даже – смешно, в сущности, – что несчастье – это временно и как бы ненормально, что надо сделать то-то и то-то, изменить то и это – и даже если счастье не наступит, то хотя бы несчастье закончится. А казалось бы, опыт всей жиз-

ни должен был бы убедить нас в прямо противоположном. Человек несчастен вообще и в принципе, человек как таковой, с самого рождения до самой смерти. Счастье – исключение, несчастье – правило. Это понимал уже Будда, в европейской философии это лучше всех – острее всех – осознал, наверное, Шопенгауэр (за что мы его и любим; не только за это; но в том числе и за это). Откуда оно, это основополагающее несчастье человеческого существования? Вот вопрос, который мы задаём себе вновь и вновь; под утро, на исходе бессонной ночи задаём тем более, тем больнее. Оно – от раздвоенности, от зазора между собой и собою? То есть оно – от сознания? Сознание уже само по себе – «несчастное сознание»? Или есть какие-то другие истоки несчастья? Иногда кажется, что даже – без сознания, даже – бессознательное, телесное, природное в нас – страдает. «Вся тварь стенает доселе». Страдание в глазах животных, в глазах собак. «Древо жизни подрублено под корень», как писала Рахиль Беспалова Бенжамену Фондану (а я цитировал в «Предмесьях мысли»; и если вы этих драгоценных имён не знаете, если и «Предмесья мысли» не читали, то я ничем вам помочь не могу). То есть дело не в яблоке. До всякого грехопадения рай был не рай, «старые книги ошибаются». В Эдемском саду тоже была тощища – иначе зачем было яблоко есть? Это возможно, если бог – злой. Бог был злой, рай был узилищем (стена, запреты, колючая проволока; того не делай, туда не ходи). Поедание яблока было великим актом освобождения, но счастливым оно не сделало никого. Несчастье раздвоенности, несчастье сознания присовокупилось к исконному несчастью цельности, несчастью бытия как такового. Всё равно назад пути нет. К простому и тёмному страданию бытия возвратиться уже не получится. А пути вообще нет. Пути нет, выхода нет, спасения ждать неоткуда. Вот мысли, приходящие в голову атеисту на исходе ночи бессоннейшей, беспросветной.

Монтень

В 1572 году Монтень начинает писать свои «Опыты», а Иван Грозный отмечает опричнину. Первые две книги «Опытов» опубликованы в 1580 году, Иван Грозный умирает в 1584-м. Царевича Димитрия убили в Угличе в 1591-м, Монтень умер в 1592-м. Современники.

Молчание

Слова возникают из молчания. Нужно домолчаться до слов. Слова и фразы чего-то хотят, куда-то идут, бывает, что и ведут. Молчание бесцельно, свободно. Оно никуда не ведёт, никуда не идёт. Оно сразу всё уже здесь... Всегда восхищало меня одно маленькое, вроде бы не очень приметное стихотворение Рильке:

Schweigen. Wer inniger schwieg,
rührt an die Wurzeln der Rede.
Einmal wird ihm dann jede
erwachsene Silbe zum Sieg:

über das, was im Schweigen nicht schweigt,
über das höhnische Böse;
daß es sich spurlos löse,
ward ihm das Wort gezeigt.

Стихи переводу не поддаются. Молчание. Тот, кто молчит в самом деле, от всей души и всем сердцем, тот прикасается к корням речи... Для прикоснувшегося к корням речи каждый слог когда-нибудь будет — победой. Победой — над чем же? Победой над тем, что в молчании не молчит, над насмешливым злом... Чтобы это зло исчезло без следа, и было ему — молчащему, домолчавшемуся — показано, ему дано — слово.

Я хорошо знаю это молчание, я, можно сказать, с ним дружу. Это молчание мистиков, молчание исихастов, «громоподобное молчание Будды». Надо так молчать, так глубоко, безоглядно и беззаветно, всем нутром и всей своей сутью, чтобы возникающие из молчания слова могли стать победой — над чем же, ещё раз? То, что в молчании не молчит, то и в речи не говорит. Это и есть зло, насмешливое или не очень насмешливое. Не темнота — и не свет, не пустота — и не полнота, не отсутствие — но всё же и не присутствие. То, что как будто есть, и то, чего как бы нет... Это и есть «мир» — или «мэон», мир неподлинности (Uneigentlichkeit, которую Гейдеггер справедливо провозгласил первичной по отношению к возможной подлинности, Eigentlichkeit), мир всемства (das Man), мир болтовни (Gerede), мир отчуждения, отчуждённый от себя мир, заросший сорняками случайных слов, не-слов, недо-слов, несущихся из всех радио- и телеточек, из всяческого фейсбука и всевозможного твиттера. Но что значит «победа»? Wer spricht von Siegen? Überstehn ist alles, заканчивает тот же Рильке один из двух своих «Реквиемов»: в отличие от маленького стихотворения, приведённого в начале, строчки как раз вполне себе знаменитые. В переводе Пастернака: «Не до побед. Всё дело в одоление»; перевод очень вольный (мягко скажем): речь идёт не о победе — но и не о каком-то «одоление» (в чём, собственно, разница?), но о том, чтобы — выстоять (überstehen). Вообще, победа (Sieg) — слово не из рильковского лексикона. «Он ждёт, чтоб высшее начало его всё чаще побеждало, чтобы расти ему в ответ», как, на сей раз — необыкновенно удачно — удачно? потрясающе! — перевёл Пастернак другое стихотворение, из «Книги образов» (sein Wachstum ist: der Tiefbesiegte von immer Größerem zu sein). Наше скромное восьмистишие говорит всё-таки о победе, причём о победе будущей. Einmal, когда-нибудь... Это скорее обещание чего-то несбыточно-го: почти, если угодно, эсхатология (столь милая сердцу Бердяева). В контексте мира победить мир невозможно. Насмешливое «мэоническое» зло в этом мире без следа не исчезнет. Но есть — *horribile dictu* — другой мир, не тот *задний мир*, *Hinterwelt* — мир невидимого по ту сторону зримого, мир платоновских эйдосов или христианских ангелов, святых, мадонн, великомучеников и прочих мощей, — о котором после Ницше говорить всерьёз невозможно (хотя, разумеется, говорят и ещё как говорят), но мир самих слов, вышедших, выросших (erwachsene Silbe, буквально: выросший слог) из молчания. В контексте мира это никакая не победа, конечно: мир всегда продолжается во всём своём безумии, в своём отчуждении, своей псевдобытийности; никакие слова не преображают его. Не преображают, но разрывают. Слова разрывают мир. Мысль разрывает мир. Само молчание разрывает мир. Мир этого не видит, не чувствует. Мир себя мнит сплошным. Но он не сплошной, он весь в прорехах, весь в дырках.

Миф

Когда все мифы отброшены, все веры потеряны, остаётся вера в судьбу. В какую-то судьбу верят все; принимают свою судьбу; спорят со своей судьбой. Но я и эту веру утратил. Нет никакой судьбы. Есть случайные стечения бессмысленных обстоятельств. Поэтому я свободен. И поэтому я не пытаюсь сделать картинку из своей жизни, сгладить углы, спрятать противоречия, внушить кому бы то ни было — тем более: себе самому, — что всё в моей жизни соответствовало какому-то — если не высшему, то хоть моему собственному — замыслу, что всё было *так*, было правильно. Нет, в ней почти всё было не *так*, почти всё неправильно. Жизнь — это пасьянс, который никогда не сойдётся; крестословица, в которой всегда остаются пустые клетки. Я свободен; я признаю свои поражения; я не боюсь говорить об одиночестве, об отчаянии, о неудачах, о несбытании надежд. В этом моя гордость, моя доблесть.

Метро

В Париже мокрый снег, пронзительный холод. В длинном коридоре метро, на окраинной станции, клошары, молча, распуская вокруг себя свой собственный страшный запах, затхлый запах бездомности, резкими, сильными, но всё равно неловкими вздёргами красных рук, срывают со стен рекламные афиши, огромные плотные листы, лежащие в итоге по всему коридору, так что приходится или на них наступать, или через них перепрыгивать. Зачем они это делают? Чтобы ими потом укрыться? А кажется, что просто так, из желания что-нибудь порвать, порушить, из отвращения к миру, из ярости, ненависти.

Монстры

Каких монстров носите вы в душе? — Мои монстры, сударь, вас не касаются. У меня свои монстры, у вас свои. Мои монстры страшнее будут ваших-то монстриков.

Медуза Горгона

В Турции, в конце 90-х. Банальный отпуск где-то в Анталии; но невозможно ведь лежать целыми днями на пляже. Начинаешь искать развлечений; возникает тема экскурсий, каких-то, прости, Господи, «джип-сафари». Для всего этого потребно туристическое бюро. В туристическом бюро плотно сидел молодой турок, бурно уса́тый, каким турку и полагается быть, весёлый, с осмысленно смеющимися глазами, с золотым толстым перстнем на волосатом пальце. Сперва всё получилось у него (пресловутое «джип-сафари»), потом не получилось, автобус (на котором мы должны были ехать в Сиде) так за нами и не пришёл. — Но мы ведь всё равно друзья? — спросил он, когда на другой день мы зашли в его застеклённый закуток. — Конечно, мы всё равно друзья. Мы и вправду с ним подружились; заходили к нему просто так: поболтать, попить крепчайшего чёрного чая из обжигающих пальцы стеклянных стаканчиков с осиною талией. Вам обязательно нужно поехать... вот не могу теперь вспомнить, куда он предлагал нам поехать, но что-то было там, связанное с Медузой Горгоной,

какой-то грот, какой-то утёс. Вы знаете Медузу Горгону? Мы знали Медузу Горгону. Он всё-таки решил уточнить. Говорят, на кого она посмотрит, тот сразу превращается в камень... Мы кивали: конечно, мол, как же? Он взял долгую паузу, потом объявил внушительно и с достоинством: *но я не верю*.

Мифы, снова

На кого посмотрит Медуза Горгона, тот сразу же превращается в камень. Но я не верю, торжественно объявил турок. И я не верю. Не верю, и никогда не мог поверить ни во что из этого: ни в Медузу Горгону, ни в Святую Троицу, ни в воскресение из мёртвых, ни в подвиги Геракла, ни в Леду, ни в лебедя. И я не только не верю во всё это, но я совершенно не верю тем, кто верит. Они врут, а не верят. Потому что нельзя в это верить. Они врут себе. А лож пахнет дурно. А вот вы или чувствуете или не чувствуете, заходя в церковь, этот запах лжи, запах ладана и обмана, и если вы не чувствуете его, то ничем вам уже не поможешь.

Мореплаватель

Просто выбросить за борт религию, мифологию, богов, судьбу и все эти сказки. Наконец, ты капитан своего корабля. Можешь плыть, куда хочешь. Если потонешь, то потому что сам виноват. Или потому что – буря, в которой никто не виноват. Буря просто буря, она никем не послана и ничего не *значит*. Наконец, ты свободен.

Малком Перселл Маклин

Конвейер и контейнер – два изобретения, преобразившие мир. Первый конвейер был пущен в 1913 году, первый рейс контейнерного корабля датируется 26 апреля 1956 года. 1956 год, переломный год XX века. XX съезд КПСС, тайная речь Хрущёва, венгерское восстание, изобретение контейнера. В 60-е контейнеры завоевали море и мир. 60-е годы вообще, может быть, изменили нашу жизнь сильнее, чем какое-либо другое десятилетие. В Гамбурге когда-то, во время экскурсии по гавани – особая и особенная вселенная, исполненная той индустриальной поэзии, которая, почему не признаться, волнует моё сердце едва ли не сильнее клейких листиков, прозрачных листочков, даже чёрных веточек на ветру, – я был поражён, узнав, что контейнер появился так поздно. Его придумал американец по имени Малком Перселл Маклин (Malcom Purcell McLean, 1913–2001), простой хозяин перевозчицкой фирмы, которому надоело смотреть, как грузчики тащат в трюм и из трюма ящики и тюки, каждый сам по себе. Это правда грустно и глупо выглядит в старых фильмах. Как многие великие мысли, его идея отличалась исключительной простотой. Имеем корабль, имеем грузовик. Грузовик привозит в гавань – неважно что именно, – вопрос: как перенести это неважно-что-именно с грузовика на корабль? Ответ: а не надо, чёрт возьми, таскать по отдельности каждый мешок с зерном или ящик с фарфором, а надо поставить подъёмный кран и перенести весь кузов грузовика целиком, на него поставить кузов другого грузовика, и другого грузовика, и ещё другого, и ещё, и ещё – вы, что же, в детстве в кубики не играли? – сразу дело пойдёт бы-

стрей, пойдёт веселей, главное – дешевле выйдет. В 1956 году, прочитал я в интернете, загрузка на корабль вручную одной тонны чего бы то ни было обходилась в 5,86 доллара, с приходом Маклина стала стоить 16 центов (в 36 раз дешевле). Грузчики разорились, глобализация началась. Наверняка это стало возможным благодаря техническим новшествам: машины сильнее, краны мощнее. Но главное всё же – мысль. Не важно, что мы перевозим; отвлечёмся от конкретного груза; сведём любой груз к абстрактным, одинаковым прямоугольным параллелепипедам, которые можно поднять с земли и опустить на корабль – или наоборот – в любом приспособленном для этого порту мира. Это так же просто и поразительно, как чемодан на колёсиках. Смотришь, опять-таки, старые filmy и только диву даёшься, как можно было таскать эти огромные чемоданы, оттягивавшие тебе руку до земли, ломавшие спину, искривлявшие позвоночник, – вместо того, чтобы прикрепить к ним колёсики и, радостно посвистывая, везти за собою? А я ведь сам таскал эти чёртовы чемоданы; хорошо помню их; ещё в первую границу в 1988 году ездил с таким чемоданом. На фотографиях Малкома Маклина, которые мне удалось найти, это классический американский предприниматель 60-х годов, плотный дяденька с отчётливо-двойным подбородком, в шляпе, в широком тёмном пальто, удовлетворённо улыбающийся на фоне своих контейнерных кранов. Впрочем, Уоллес Стивенс, всю жизнь проработавший в большой страховой фирме, выглядит, без всяких контейнеров, не очень иначе.

Мир

Мир – это место, где мы себя теряем.

Мир

То, что я делаю, не имеет к «миру» ни малейшего отношения.

Мелодии

Знаменитые строки Китса в «Оде к греческой вазе»:

Heard melodies are sweet, but those unheard
Are sweeter.

Услышанные (или слышимые) мелодии сладки,
но неслышанные (неслышимые, неслышные, не могущие быть
услышанными) – слаще.

Мелодии нарисованных свирелей на греческой вазе слаще (нежнее, прекраснее) любой музыки, доступной нашим смертным ушам. Я нашёл несколько русских вариантов этих строк, предложенных известными или не известными мне переводчиками. Наверняка есть ещё переводы, но ограничусь вот этими.

«Звучащей песне слух бывает рад,
Но духу нужен строй немых созвучий» (А. Парин).

«Напевы, слуху внятные, нежны –
Но те, неслышные, ещё нежней» (Г. Кружков).

«Нам сладостен услышанный напев,
Но слаще тот, что недоступен слуху» (И. Лихачев).

«Пропетые мелодии нежны,
А непропетые — ещё нежнее» (О. Чухонцев; о ужас!).

«Звучания ласкают смертный слух,
Но музыка немая мне милей» (О. Микушевич).

«Напев звучащий услаждает ухо,
Но сладостней неслышимая трель» (О. Потапова).

«Рождённые мелодии волшебны,
Волшебней те, что не коснулись слуха» (Ян Пробштейн).

«Напевы слушать сладко; а мечтать
О них милей; но пойте вновь, свирели» (В. Комаровский).

Всё это более или менее приемлемо, кроме чудовищного «пропетые – непропетые» Чухонцева, бессмыслицы Парина и милой отсебятины Комаровского. Ближе всего к оригиналу, отчётливей и точнее всех, наверное, Григорий Кружков. Но дело, конечно, не в переводах, а в том, что я больше не согласен с самой этой мыслью, не пленён и не очарован ею, как очарован был в молодости. Неслышимое, невидимое, недостижимое, идеальное, всего-лишь-возможное, воображаемое, только-здуманное, не осуществлённое, неосуществимое, невоплотимое... всё это больше не убеждает меня. Да и нет никаких таких идеальных мелодий. Мелодии, никем не услышанные, конечно, возможны; возможны среди них и прекраснейшие, как возможны «неведомые шедевры», великие книги, затерянные в пыльных библиотеках или ждущие своего часа у букинистов (как ждал своего часа потрясающий роман Леонида Цыпкина «Лето в Бадене» – один из лучших романов последних десятилетий, – случайно найденный Сюзан Зонтаг на лондонском книжном развале); но речь явно идёт не о них (вот почему противопоставление «пропетых» и «непропетых» мелодий не только фонетически отвратительно, но и совершенно не передаёт смысл сказанного Китсом); речь идёт о тех звуках, которых услышать нельзя вообще – по крайней мере, здесь, в земной жизни, чувственным ухом и слухом. Китс прямо и говорит это в следующих строках, предлагая мягким свирелям (soft pipes) играть не чувственному уху (the sensual ear), но дудеть для самого духа (pipe to the spirit) беззвучные напевы (или просто: песенки; ditties of no tone).

В эти беззвучные песенки не верю я ни на грош – разумеется, потому что перестал верить – нет, никогда и не верил, но перестал верить в возможность поверить – в то, что Ницше так язвительно называл «задним миром», Hinterwelt, в невидимый мир позади нашего мира – здешнего, зримого, звучного. Здесь, в мире звучном и зримом, слышимые мелодии не просто слаще неслышимых, но никаких неслышимых мелодий вообще нет; в лучшем случае это только возможность, зародыш замысла, первый намёк на будущие звуки, грядущие песни. Сказанное всегда интересней несказанного, тем более – несказанного. Несказан-

ное – фикция, а сказанное – сказано. Иногда навсегда сказано. Даже у Блока с его мутным преклонением перед несказанным есть навсегда сказанные строки. Их не очень много, но они есть. Ночь, улица... все их помнят. Только их и помнят, только они и живы.

Неправда, что замысел больше, глубже, интересней, «богаче» своего осуществления. Так думал и Шелли; кто из романтиков так не думал? «Когда Поэт начинает сочинять, вдохновение находится уже на ущербе, и величайшие создания поэзии, известные миру, являются, вероятно, лишь слабой тенью первоначального замысла Поэта». Ну да, мы знаем, «только отблеск, только тени от незримого очами» и так далее и так далее. В сущности, это всё та же – старая, древняя, «вечная», на мой взгляд и вкус: невыносимая более – платоновская мифологема: «идея вещи» совершеннее, чем «сама вещь»; сама вещь – лишь искажённое её отражение. Ничего подобного. Идея – это *всего лишь* идея; замысел – *всего лишь* замысел, *только* набросок; бледная, бесплотная схема. Возможность, зародыш. Зародыш – комочек плоти. Интересен, извините меня, не зародыш; интересен взрослый, мыслящий, состоявшийся, *сказавший себя* человек. Замысел не просто обретает реальность при своём воплощении, но в нём открывается неожиданное, непредвиденное, непредсказанное, непредсказуемое. Сколько всего начинаешь понимать и видеть, когда действительно пишешь книгу. Не задумываешь, но действительно её пишешь. Она оказывается умнее тебя самого. Вот это и есть «чудо», если воспользоваться словечком из лексикона поклонников несказанного. «Чудо» это именно то, что в замысле не присутствовало, что появилось – и проявилось – в процессе самого писания. Наша будто бы неспособность высказать «самое главное» – романтическая выдумка. Нет, наша способность высказать гораздо – несоизмеримо – больше того, что мы предполагали высказать, собирались сказать, – вот это и есть «самое главное», в этом – и только в этом всё дело.

Мысль молодости

Так в тексте, так в жизни. Удачная или прекрасная жизнь (une belle vie) – это молодая мысль (или мысль молодости: une pensée de la jeunesse), осуществлённая в зрелости (réalisée dans l'âge mûr), говорил Альфред де Виньи (не знаю, где именно; вычитал это в дневниках Андре Жида, утверждавшего, что делает эту фразу своей собственной – cette phrase, je la fais mienne, – так она ему нравилась, ему соответствовала). Вспоминаешь маркиза Поэ: «Скажите принцу, чтоб и зрелым мужем былым мечтам он оставался верен» (в русском переводе; у Шиллера сложнее и тоньше: Sagen Sie ihm, daß er für die Träume seiner Jugend soll Achtung tragen, wenn er Mann sein wird; то есть речь идёт даже не о верности, но об уважении, почтении – Achtung – к мечтам молодости). Эти строки Шиллера любил цитировать Томас Манн. Да кто только не говорил этого? Шопенгауэр к тридцати годам закончил первый том «Мира...»; потом только дописывал. Его главные мысли, собственно – одна главная мысль, как он сам утверждает, для высказывания которой ему понадобились два тома, в четырёх частях каждый, – эта главная мысль пришла к нему двадцати-с-чем-то-летнему. А «Фауст», а «Вильгельм Мейстер» с их прообразами, «Пра-Фаустом» и «Театраль-

ным призванием»? А Маргерит Юрсенар, в ранней молодости задумавшая и роман об Адриане, и роман об алхимике? Примеров множество, только начни вспоминать... Не сравниваю себя ни с кем из только что названных, а всё же и мои важнейшие мысли, лучшие замыслы пришли ко мне в юности; того более: лет в двадцать я нашёл что-то вроде «главной темы» своей жизни – или наоборот, «жизнь нашла свою тему», как я писал в «Максе», – тему, для изложения которой, впрочем – в сплетении и взаимодействии с другими темами, иными мотивами – мне тоже понадобились все мои сочинения, уже написанные и даже ещё не написанные. Всё это так... И всё же это не так, не совсем так. В жизни, как и в тексте, есть неожиданное, непредсказуемое. Это самое в ней удивительное. Есть поздние или относительно поздние тексты, не восходящие ни к каким юношеским мыслям и замыслам. Допускаю, что Набокова ещё в молодости мучили и блазили нимфетки – это видно и по «Камере обскура», и по невероятному стихотворению «Лилит», – всё-таки нужен был опыт американской жизни, американских дорог и мотелей, американской подростковой пошлости, чтобы написать «Лолиту». И одиноким изгнанным королём – Solus rex'ом – он тоже, судя по всему, начал чувствовать себя очень рано, но, опять же, нужен был опыт Америки, американских колледжей, кампусов – и опыт комментирования «Евгения Онегина», чтобы написать «Бледный огонь». И да, есть прообраз «Фауста», прообраз «Годов учения», но «Избирательное сродство» задумано Гёте в ту пору его жизни, когда «годы учения», вместе с «годами странствий», давным-давно канули в прошлое. И так далее, примеры можно множить и множить...

Монастырь

В монастыре всё расписано по часам и минутам; любое действие имеет название. Парадоксальным образом это сближает монастырь с его противоположностью – с борделем. В борделе тоже любое действие – и клиента, и дамы – имеет своё название и, как правило, заранее определённую цену. Крайности всегда сходятся. Предпочитаю бордель.

Мир

Мир – текст, который мы читаем. Или мир – текст, который мы пишем. Принципиальная разница. Революция сознания. Я пишу, а не читаю текст мира. Уже написанного текста не существует. Он создаётся впервые. Это я его создаю.

Мир

Мир телефонов с диском и пишущих машинок. Мой мир, которого больше нет.

Мода

Модный философ? Модными бывают портнихи.

Мысль

Ничто так не вредит мысли, как глубокомыслие.

Мокрый асфальт

И в мокром асфальте поэт
Захочет, так счастье находит.

Всякий раз, как смотрю на мокрые мостовые, вспоминаю эти строки Анненского, совершенно волшебные – и как будто прорывающиеся после долгих, довольно невнятных, скажем честно, скорее не запоминающихся стихов. Они всё тянутся, тянутся, эти смутные стихи, – и вот вдруг взрываются финальными строчками, написанными – почти уверен – прежде всего остального. Да, и в мокром асфальте. Или в сухом, или в пыльном. Счастье можно найти в чём угодно, несчастье тоже. Дерево у дороги – и вот ты уже утешен. Или вот снимешь с полки этот синий том Анненского из так называемой «Библиотеки поэта» (Ленинград, 1959 год) – и, если захочешь, найдёшь в нём своё счастье, в нём самом, ещё даже не открывая его. У него на обложке, в верхнем левом углу, есть маленькая складка, под острым углом к краю; полоска, бороздка, крошечный книжный брак. Мне было лет шестнадцать, я думаю; я читал стихи не просто так, но – впервые; впервые открывая для себя всё это (и Анненского, и Ахматову, и Мандельштама); ближайшая подруга моей мамы, «тётя» (смешно и страшно звучит теперь это «тётя», спустя целую жизнь, целую вечность; но в шестнадцать лет я именно так называл её, как называл и в шесть, и в одиннадцать) – «тётя Инна» давала мне, втайне от мужа, скучнейшего, зануднейшего старого профессора, скупого рыцаря библиомании, разные, всё же не самые ценные (не подшивки «Весов» и не разрозненные номера «Аполлона») книги из его драгоценного собрания, к которым ей, кажется, и прикасаться было запрещено. Однако, она прикасалась. Для неё это была отдушина. У меня есть, среди немногих библиографических редкостей, которые вообще у меня сохранились, Пастернак 1933 года («Издательство писателей в Ленинграде», с портретом набычившегося автора работы Яр-Кравченко и с ещё не приглаженными ранними текстами – от приглажки, впрочем, лучше не ставшими). Там две надписи на форзаце; первая, фиолетовыми чернилами, отчётливым и очень личным почерком моей мамы: «Инка, мне хочется сделать тебе приятное. Наташа. 15/I-45». И вторая, шариковой ручкой, почерком вечно ученическим, смешно школьным для университетской дамы, которой была в ту пору дарительница: «Алёша! А мне хочется сделать приятное тебе! т. Инна. 8.III.1977». Сколько, опять-таки, жизней и вечностей прошло между этими датами. И война закончилась, и усатый упырь подох, и оттепель обвалилась...

Издание же Анненского было дано на время, втайне от мужа, в том же, наверное, 1977 году, – но я так им увлёкся, что попробовал раздобыть свой собственный экземпляр. А это, как некоторые помнят, было тогда непросто. По счастью, существовал институт «чернокнижников», или «книжных жуков», мелких жуликов, круживших с книгами по Москве, способных, разумеется, купить, продать и перепродать, делая свой «навар», что угодно. Другой экземпляр Анненского появился. Никакой складочки на нём не было. Я его и отдал «тёте Инне», наде-

ясь, что ни она, ни, главное, её муж не заметят подмены. Я полюбил уже тот первый, со складочкой. Он и сохранился у меня, после всех потерь, всех переездов. Тогда ещё верил я в тайные знаки. С тех пор разуверился.

Монгольфьер

Монгольфьер моего отчаяния, готовый опять взлететь.

Молчание

Неправда, что внутреннее молчание достигается отсутствием мыслей. Ясная мысль тоже создаёт молчание вокруг себя, внутренний покой, тишину в душе.

Мудрость

28 декабря 1965 года Эмиль Чоран записывает в своём дневнике (а дневники, или тетради, Cahiers, Чорана – это, на мой взгляд, едва ли не самое у него интересное, вообще одна из, на мой взгляд, интереснейших книг, какие есть на земле, на французском; с ними связана отдельная детективная история, которую расскажу в другой раз); так вот, запись такая: «Я провёл всё последнее время за чтением книг по дзену, до пресыщения. Теперь, после соблазна, опять отвлечение к мудрости: я снова падаю в себя самого. Очень кстати. Мудрость – это не мой путь». Конечно, к чёрту мудрость, хочется крикнуть. Le dégoût de la sagesse... как мне это знакомо. Мудрец? Упаси Боже. Бунтарь: вот кто мне нравится. Человек бунтующий, l'homme révolté. Между прочим, Камю и Чоран не полюбили друг друга, не сошлись ни характером, ни мыслями, ни той внутренней интонацией, которая только и позволяет двум, даже очень разным людям, поладить друг с другом. Чоран очень смешно рассказывает об их единственной встрече в одном позднем интервью. Камю, прочитавший первую французскую книгу Чорана «Трактат о разложении основ» (как обычно переводят на русский Précis de décomposition), будто бы сказал ему, со снисходительным высокомерием: ну вот, теперь вам надо вступить в циркуляцию идей (перевожу буквально: maintenant, il faut que vous entriez dans la circulation des idées). Что за циркуляция идей такая? Распространение идей? Обмен мнениями? Чоран, в том позднем интервью, чуть матом не ругается, рассказывая об этом. Он мне смеет говорить, что я должен вступить в циркуляцию идей. Он, Камю, – мне, Чорану. Он был невежда, этот Камю, он прочёл четыре книги, у него не было философской культуры, вообще никакой, у него были знания школьного учителя. И он смеет говорить мне – как ученику, – что я должен вступить в circulation des idées. Много раз, возмущённо жестикулируя, повторяет он, Чоран, это странное выражение – circulation des idées. Видно, запала ему в душу эта circulation des idées. Всё-таки, скажу честно, при всем моём интересе к Чорану, я Камю на него не сменял бы, пусть хоть сама circulation des idées провалится в тартарары.

Место действия

Что ни говорите, а есть роковая неправильность в книгах, действие которых происходит не в Париже. Ну как это так: книга – а действие не в Париже? Недоразумение какое-то...

Мои будущие книги

Для читателя, если он у меня вообще есть, я – автор такой-то и такой-то книги, может быть – таких-то книг и таких-то, если он знаком не с одной, а с двумя, допустим, или с тремя. Но для себя самого я – в гораздо большей степени – автор книг ещё не написанных, уже начатых, но ещё не доведённых до конца, или только задуманных, или даже ещё не задуманных, ещё не ведомых мне самому. Опять же эти ещё не написанные книги в гораздо большей степени – мои, чем уже завершённые, уже от меня отделившиеся. Прав был Новалис, говоривший, что законченное произведение отступает от своего создателя на расстояние пространственно неизмеримое и что художник принадлежит своему произведению, а не произведение – художнику. Да, у моих законченных книг должен быть какой-то автор, какое-то имя должно стоять на обложке. Считается, что это – я, но это уже не я, не совсем я, только отчасти – и не от самой важной для меня части – я. Я – это моё прошлое, читатель его знает или может знать, благодаря моим книгам. Но в не меньшей, если не в большей, мере я – это моё будущее, мои замыслы, моя жизнь как замысел, как «проект». Этого будущего читатель не знает и не может знать, его только я один знаю, один вижу, да и то не очень отчётливо. Следовательно, читая меня, читатель читает, в сущности, не меня, а кого-то другого, лишённого того важнейшего, что делает меня – мной. Когда я умру, это, конечно, изменится.

Мораль эпохи

Не право на наслаждение, но обязанность наслаждаться. «Для того и живём, чтобы срывать цветы удовольствия». Обязанность быть счастливым, наслаждаться каждым мгновением жизни. Счастье записано в программу. Поэтому все так несчастны. Депрессия – основное понятие нашего ничтожного времени. Человек вообще так устроен (см. «Записки из подполья»). Пошлёт к чёрту любой хрустальный дворец, лишь бы по своей глупой воле пожить. Если эпоха от него требует, и он сам от себя требует, быть – каким? – счастливым, то он будет – каким? – несчастным. Несчастливым бесприсветно, непоправимо, именно что в каждое мгновение, даже мгновеньице своей жалкой жизни, которым якобы надлежит ему наслаждаться. Он бы и рад наслаждаться, да никак у него не выходит. Ещё смеют, сволочи, ссылаться на дзен-буддистское *здесь-и-сейчас*. Пессимизм буддизма забыт, словно его и не было. Четыре Благородные Истины, из которых первая гласит, что жизнь – это страдание, или, как переводят некоторые, неудовлетворённое беспокойство (дукха), не забыты, а просто неведомы некому. Какое ещё беспокойство? Ах, неудовлетворённое. Всё глупости, ну-ка немедленно успокойтесь, удовлетворитесь тем, что имеете, прямо сейчас, сосредоточьтесь на дыхательных упражнениях, делайте йогу, примите свою жизнь такой, какая она у вас есть, помните, что жизнь всегда прекрасна, во всех своих проявлениях, что солнце светит, а если не светит, то и дождь стодит, главное – запишитесь на наш семинар медитации для менеджеров, наш курс правильного питания, в нашу школу расслабления, внимания и цветной фотографии, – и вы не только будете счастливы, но вы ещё и зарабатывать будете по тысячи баксов в неде-

лю (или в день, всё равно), и купите себе виллу на Лазурном берегу, и доживёте до ста двадцати лет, в окружении тибетских монахов, голливудских знаменитостей и долголягих любовниц. Буддизм, иными словами, сделался частью Wellness-веры, успешнейшей из трав и вер современного мира. Но ничего не помогает, конечно; помогают только антидепрессанты, да и они помогают так себе, через пень-колоду, без настоящего огонька, без энтузиазма, не то что соцсоревнование между лагпунктами. При лагпунктах антидепрессанты не требовались. Но и наслаждаться каждым мгновением жизни в окрестностях Магадана никто никого, конечно, не призывал.

Муму

М. рассказывал мне, в глухое советское время, что побывал на конгрессе логопедов, где в буфете не продавалось ничего, кроме конфет под завлекательным названием «Муму». На конгрессе логопедов! И никто не чувствовал юмора. Ладно, буфетчица. Даже коллеги, которым он пытался напомнить, что и у героя бессмертной повести были проблемы с речью, смотрели на него совершенно непонимающими глазами, чистыми, как тот пруд (или это был не пруд? лень проверять), в котором дюжий Герасим утопил несчастную собачонку. А конфеты «Муму» в России делают до сих пор. Литературная страна, что тут скажешь.

Мантра

Если мантра, то – *ом мани падме хум*. Она помогает, это правда. В минуту жизни трудную просто повторяешь про себя – не молитву – кому молиться? – но эту древнюю формулу, которая тем замечательна, что ничего – по крайней мере, для тебя – не значит, но всё-таки помогает, всё-таки действует. *Ом мани падме хум...* Эти слова восходят к бодхисатве Аволакитешваре, «бодхисатве милосердия»; в книге одного индийского, не буддистского, жившего, впрочем, в Америке, учителя медитации, переводчика (с комментариями, как оно и положено) разных сакральных текстов («Бхагавад-гита» стоит у меня на полке в его версии, переведённой с английского на немецкий) и вообще замечательного человека – слово «гуру» произносить всё же не хочется: слишком уж хорошо я помню позднее советское время, когда у каждой маникюрщицы в Москве был свой «гуру», чёрт бы их всех побрал, – так вот, в книге этого автора, называемого по-русски Экнатх Ишваран, по-английски и, соответственно, по-немецки Eknath Easwaran, – книге, которую я читал очень часто и очень внимательно в начале моей германской жизни, то есть теперь уже более тридцати лет тому назад, – есть чудный образ, показывающий, как «работает» (любая, не только эта; но мне только эта нравится) мантра. «По улице слона водили». Конечно, наш мастер медитации о Крылове не слыхивал, а рассказывает он что-то похожее. В Индии, он рассказывает, по большим праздникам водят по улицам большого, разукрашенного слона; все радуются; музыканты в барабаны бьют, в дудки дудят, на цимбалах играют. Одна беда: лотки с фруктами, бананами, кокосовыми орехами, всевозможными сладостями то и дело встречаются слону на его славном пути, а слон не меньше нас с вами любит всё это, как легко догадаться. И как же ему, слону, не ухватить своим хоботом то гроздь бананов, то связку сушёных фруктов,

то ещё что-нибудь, возбуждающее его, слона, немаленький аппетит? Попробуй ему помешай. Потому погонщик даёт ему (просит его, по утверждению автора) нести в хоботе бамбуковую палку. Слон не понимает, зачем её нужно нести, но делает это из (как утверждает, опять-таки, автор) любви к своему погонщику (тут лёгкие сомнения закрадываются в наши скептические сердца). Во всяком случае слон торжественно проносит в хоботе палку, и торговцы не терпят убытка. Наше сознание подобно слоновьему хоботу, оно тоже кидается туда и сюда, от впечатлений к воспоминаниям, от надежд к сожалениям, от слов к картинкам и от картинок к словам. Редко-редко мы при этом что-то действительно думаем. Как правило, мы пребываем в том смутно-рассеянном состоянии, в котором (добавлю я от себя) наша жизнь, собственно, и проходит (не замеченная нами самими). Мантра, пишет Ишваран, как раз и служит для нашего сознания такой бамбуковой палкой, не позволяющей ему кидаться туда и сюда, за первым же всплывшим в нём воспоминанием, или желанием, или обрывком воображаемого диалога, незавершенного спора, или бананом, или кокосом.

Всё это замечательно (*ом мани падме хум*). Это замечательно, как техника для ума (или упражнение для души). Но *мистика всеединства*, стоящая за всем этим, совершенно для меня неприемлема; о ней в другой раз.

Мировоззрение

В юности две подружки – М. и Г. – мне рассказывали, как ещё школьницами писали бесконечную книгу под патетическим названием «Мировоззрение» (с одним «з»). Сами, помню, смеялись – такие, мол, дуры были – «Мировоззрение»! Я тоже с ними смеялся. А это был рассказ пророческий, для меня. Так ведь всю жизнь и пишешь одну большую книгу «Мировоззрение». С одним «з» или с двумя «з» – в сущности уже всё равно.

Маска

Вот стихи, написанные году, наверное, в 2001-м, причём написанные – хорошо это помню – во время какого-то, прости Господи, совещания в Регенсбургском университете по поводу какого-то, прости Господи, проекта, под который, объединившись, разные баварские университеты надеялись получить, и в конце концов получили, какие-то деньги, позволившие дать нескольким бездельникам, вроде меня самого, хотя бы временную, хотя бы «на полставки» работу. Рабочие места в университетах наперечёт; иногда кажется, что их и вовсе не существует. Поэтому университеты начинают выдумывать исследовательские программы, будто бы очень важные для страны, Европы и всего просвещённого человечества. И вот сидишь на совещании, понимаешь, что тебя интересуют во всём этом только деньги, но стараешься сделать серьёзное лицо, умный вид. Этот умный вид на себя натягиваешь как маску. Регенсбургский университет – бетонный, безнадежно-тоскливый; бывают, впрочем, ещё более тоскливые, например – Майнцский, но о нём я тогда и не слыхивал, даже и подумать не мог, какую роль ему суждено сыграть в моей жизни. Помню дождь за окном, рваное и хмурое небо над беспросветными стенами. В окно я, разумеется, и смотрел, стараясь себя не выдать, сохранить умный вид. Маска, если долго носить её, прирастает

к лицу. Я вдруг вообразил себе, как она действительно прирастает к лицу, вообразил себе какого-то, что ли, актёра, собравшегося играть в спектакле, где все – в масках, вообразил себе – себя в роли этого актёра, примиряющего маску в гримёрной. Почему я сделал из этих стихов сонет, я не помню. Может быть, просто от отчаяния и со злости. Никто уже не пишет сонетов, ну так вот я напишу, – и пропадите вы пропадом с вашими программами и проектами.

В тот вечер, одеваясь для спектакля,
он думал о вакансиях, о том,
что скоро осень... И одевшись, как для
спектакля одевался он, с лицом

ещё открытым, в брызжах, в голубом
плаще, помедлил, проверяя, так ли
оделся он, у зеркала. Потом,
надевши маску... Нет! Как вдруг иссякли

все силы, как всё рухнуло, как в крик
кричал и бился он, её срывая...
И как не верил после, что другая

была когда-то жизнь и что он сам
когда-то был. И счёт терял годам.
Под маскою давно уже старик.

Разумеется, я никогда не печатал эти стихи. Года через два, страшно жарким летом 2003-го, мне вдруг удалось написать несколько стихотворений в для меня самой неожиданной манере – отчётливо ритмизированным верлибром, – с отчётливым ощущением наконец-то обрётённого *своего голоса*, – так что уж и речи не было о возврате к этим отброшенным в прошлое опытам; лет ещё примерно через семь стихи меня снова оставили, но *свой голос* плавно переместился в прозу. Понемногу начало покидать меня и это ужасное чувство, что я проживаю чью-то чужую жизнь, под уже несдираемой маской. Я всё-таки содрал её; нельзя сказать, что и вовсе отбросил, разорвал, растоптал, как мне бы хотелось, но к лицу она больше не прилипает. А это чувство и вправду ужасное, одно из самых уничительных чувств на свете; в сущности, чувство предательства себя самого, своего жизненного «проекта». Мы все идём на компромиссы, к нашему собственному несчастью; мало кто ухитряется, как Чоран, прожить жизнь в парижской мансарде, не проработав ни одного дня нигде, никогда, ни разу не сходяв ни на какую идиотскую службу, не потеряв ни единого часа ни на каком кретиническом собрании, совещании.

Метафоры времени

Эпиграфом к «Остановленному миру» я поставил слова Догена Дзендзи (одного из важнейших персонажей японского дзен-буддизма, 1200–1253): «Время течёт из настоящего в прошлое». Как же я их понимаю, спросила меня в одном интервью одна замечательная собеседница. А как я их понимаю? Я, может быть,

вообще никак их не понимаю. Они влекут меня, может быть, самой загадочностью своей. «Время течёт из настоящего в прошлое». Это метафора, разумеется. Мы же не знаем, как мыслить время, поэтому мыслим его привычными для нас пространственными метафорами (у Бергсона сказаны на сей счёт важнейшие вещи). Пространство у нас перед глазами, а время – где оно? как к нему подступиться? Наша излюбленная метафора – река. «Река времён в своём стремлении...» и так далее и так далее. Нам кажется, что река течёт в будущее, а события нашей жизни остаются на берегу, давние – далеко, недавние – близко, что, уносимые течением, мы уплываем прочь от них, уплываем и уплываем. То, что с нами было год назад, скрылось уже за излучиной, то, что было вчера, можно ещё увидеть, если на плаву оглянуться. А если перевернуть метафору? События нашей жизни – это не что-то на берегу, мимо чего мы проплываем, как проплывали бы мимо кустов, мостков, стирающих бельё баб, но события нашей жизни – это и есть сама река. Ведь эти события случаются с нами, не с кем-нибудь. Бог с ними, с берегами, не в них вообще дело. Река времени течёт в другую сторону. То, что было год назад, уплыло от нас дальше в прошлое, чем то, что было вчера. Мы как бы и не движемся, мы пребываем в настоящем, хотя и неуловимом, *сейчас*, мгновение за мгновением уплывающем от нас в прошлое. Мы не плывём, мы держимся на воде. Мы ложимся, может быть, на спину, видим небо, видим облака, видим ветви ветел, нависшие над водою. А время, протекая сквозь нас, превращаясь из настоящего в прошлое, – проходит, уходит, относит и события, с нами случившиеся, и наши поступки, и наши мысли, и наши чувства от нас самих всё дальше, дальше и дальше... Первый взгляд нам привычнее, как будто естественнее. Второй – интереснее, парадоксальнее и если не ближе к истине (и то, и другое, повторяю, – метафоры), то, по крайней мере, скорее позволяет нам понять, что наша жизнь и вправду – наша, не что-то внешнее, что происходит на берегу, куда мы барахтаемся в воде, но что это и есть – мы сами.

Маркс

В конце жизни Маркс сбрил свою бороду. Сбрил и умер. Ясное дело – вся сила была у него в бороде.

Мгновение

Цитата из пьесы театра *Но* в дневниках Филиппа Жакоте: *À cette asile d'un instant n'attachez pas votre coeur*. Не привязывайтесь сердцем к этому временному пристанищу. Но хочется прочесть не буквально. Не привязывайтесь сердцем к этому убежищу мгновения. *Asile d'un instant*: минутное, мгновенное, очень временное, очень краткое прибежище, или пристанище, какой-то дом, где-то в горах, какая-нибудь горная хижина. Но можно всё-таки прочесть не буквально. *Убежище мгновения*... Не привязывайтесь сердцем к преходящему, говорит нам весь буддизм, весь Восток, да и не только Восток, не только буддизм. Это убежище – иллюзорно; это мгновение – гаснет, тает, умирает у нас на глазах. Не держитесь за него, отпустите его. А почему, собственно? Да, всё проходит, *преходит*, исчезает, скоро исчезнет, вот этот свет, эти пятна солнца в аллее, где я сижу сейчас, в Венсенском лесу, эта пыль, голоса за деревьями, спортивная тётка в марсиан-

ском костюме, смолисто-чёрная ворона, прыгающая в сторону мусорной урны. Всё проходит; разве это причина для не-любви? Трёх из тех, кого я больше всего любил и люблю на земле, уже нет; ну и что с того? Привязывайтесь к преходящему! Вы будете страдать, но вы будете живым, а не мёртвым. А в буддизме, особенно в дзене, но, наверное, и не только в дзене, непрерывно, из текста в текст, из одного комментария к одному коану в другой комментарий к другому, предлагается – прямо сейчас – умереть, чтобы – прямо сейчас – быть свободным. Вот и Мейстер Экхарт, которого не зря же вновь и снова сравнивают с восточными мистиками, говорит, что мы должны так жить, словно мы уже умерли, чтобы ни любовь, ни страдание (weder Lieb noch Leid) нас не затрагивали. Любая религия, в конце концов, есть религия смерти, религия мертвецов... Я не даю этой мысли укрепиться во мне; я ухожу. Над стеной и башнями замка стоит синее облако, за ним стоит вечернее солнце, кромка облака сияет, выбрасывая в небо ясно зримые, почти осязаемые серебряные лучи. Оно всё помещается в вырезе, образованном башенкой стены и коньком дальней крыши, это облако, в убежище мгновения, в котором ненадолго, но всё-таки дано ему задержаться.

Майнц

Старик, читающий Гёльдерлина; вчера; на мгновение это меня утешило. Он сидел возле нового, скучнейшего и пошлейшего, «торгового центра» в Майнце, возле университета (место, которое я ненавижу, как всё ненавижу в этом Майнце, этом Висбадене); напротив серого стадиона (сплошной задней стены стадиона, из каких-то, что ли, алюминиевых реек, с редкими рекламными пятнами: покупайте наш йогурт, фирма «Мюллер» вас не обманет). Мир, который кажется отчуждённым и оторванным от всего на свете; дальше от поэзии, чем любое другое место. Любая помойка поэтичнее этих убогих, безликих, бетонно-стеклянных окраин. Он не в Английском саду в Мюнхене читал Гёльдерлина, не в Гейдельберге, не в Тюбингене у знаменитой башни, но вот здесь, возле автошколы, гастронома Edeka, турецкого и не-турецкого кафе, парикмахерской (где работают русские немки; стригут чудовищно), булочной и аптеки. Сидел на приступочке, седой и плешивый; в клетчатой ковбойке и светлых штанах; рюкзак стоял рядом с ним. Большая тёмная книга с надписью Hölderlin на обложке, готическим шрифтом. Мне хотелось заговорить с ним; я не решился. Лицо было опущено в текст, только нос торчал, красным клубнем. И нет, я никогда не мог вполне полюбить Гёльдерлина; всегда мешали мне его патетика, его патриотизм (слово, с тех пор ставшее бранным, ставшее рвотным), его торжественная серьёзность, отсутствие иронии, тем более юмора. Но дело не в этом. Всё равно приветствую тебя, мой брат, седой и плешивый, соратник, союзник мой в борьбе с пошлостью жизни, безмыслием бытия.

Мудрость веков

Её нет. Philosophia perennis – иллюзия чистейшей воды. Романтическая вера в какую-то мудрость каких-то древних людей есть лишь отголосок мифа о золотом веке, более ничего. Когда-то жили мудрейшие люди, обладавшие сокровенным знанием. Этому нет ни малейших доказательств. Когда-то жили дикари,

не обладавшие вообще никаким знанием. Они верили в трёх китов, или в трёх черепах, или в гермафродитов, или в гипербореев, и нам совершенно нечему у них учиться. Надо самим думать, своими слабыми силами.

Муза

У одного американского поэта – Вильяма Мервина (William Stanley Merwin: имя словно из саги) есть стихотворение о другом американском поэте Джоне Берримене (John Berryman: имя как из романа); оно так и называется «Берримен». Попробую перевести хотя бы начальные (четыре) и заключительные (две) строфы.

Я скажу вам, что он сказал мне
сразу после войны
как мы тогда называли
вторую мировую войну

не теряй надменности он сказал
ты можешь потерять её когда станешь старше
потеряешь её слишком рано
просто сменяешь её на тщеславие

только однажды он предложил
изменить обычный порядок слов
в стихотворной строчке
зачем два раза говорить об одном и том же

он предложил мне помолиться Музе
встать на колени и помолиться
вот здесь в углу он сказал
что понимает это буквально

...

я только начал читать стихи
я спросил его как можно быть уверенным
что написанное тобою чего-то стоит
он ответил что уверенным быть нельзя

уверенным быть нельзя ты не можешь
быть уверенным ты умрёшь не узнав
стоило ли написанное тобой хоть чего-то
если тебе нужна уверенность не пиши

Мне здесь всё нравится (кроме отсутствующей пунктуации, разумеется). Идея встать в углу на колени и помолиться Музе просто прекрасна (я пробовал; действительно: помогает; важно только, чтобы никто не подсматривал; поди потом доказывай, что ты не окончательно рехнулся). Не менее прекрасен финал. Да, уверенным быть нельзя; не только нельзя быть уверенным в ценности то-

го, что ты пишешь, – если можно, то лишь на мгновение, на ай-да-сукин-сын, – но вообще ни в чём нельзя быть уверенным. Если тебе нужна уверенность, не пиши, по мере сил, и не думай; лучше сразу обратиться в какую-нибудь религию, политическую или просто, уверуй и поглупей (по бессмертному приговору Паскаля). Литература в этом – и в этом – смысле родственна философии, она разрушает самоочевидности. Exercer l'activité philosophique... c'est perdre le Sens, «заниматься философией... значит терять Смысл», как говорила Рэхиль Беспалова (слова, которые я поставил эпиграфом к «Предмествьям мысли» и с удовольствием повторю здесь). Заниматься философией, как и заниматься литературой, значит быть ищущим, не нашедшим, спрашивающим, не отвечающим, знающим о своём незнании, не знающим более ничего.

Кажется, не было в этом – и в этом, опять-таки, – смысле более разных поэтов, чем Берримен и Мервин, притом что второй учился у первого в Принстоне, где тот, видимо, и сказал ему всё то, что мы только что слышали. Берримен принадлежал к поколению послевоенных психопатов; вместе с Робертом Лоуэллом, Сильвией Плат, Энн Секстон, его, бывает, относят (все ярлыки условны) к так называемым «исповедальным поэтам», confessional poets, не боявшимся говорить в стихах о своём сумасшествии, своей тяге к самоубийству, своём алкоголизме, своей наркомании, своих сексуальных эксцессах. Действительно, Берримен был безумец, алкоголик, самоубийца. Мервин дожил до девяносто одного года, получил почти все мыслимые почести и награды – Пулитцеровскую премию целых два раза, – был поэтом-лауреатом, как в Америке (и в Англии) называется это, – занимался проблемами экологии, посадил на Гавайях две тысячи деревьев, спасал флору и фауну, жил анахоретом, имел славу «современного Генри Торо». Мало того, он занимался дзен-буддизмом, и на Гавайи уехал, собственно, чтобы поближе быть к своему учителю, своему «роси», Роберту Эйткену (Robert Aitken, 1917–2010), замечательному, действительно, человеку, оказавшему, признаться, и на меня, в дзен-буддистскую, теперь уже довольно давнюю пору моей жизни, влияние крупнейшее, не личное, к сожалению, но благодаря своим книгам (*Taking the Path of Zen; Original Dwelling Place*) и благодаря другому своему ученику, даже, кажется, «дхармическому наследнику» (a dharma heir; впрочем, я не уверен: «передача дхармы» дело вообще тонкое, сложное), с которым я имел счастье встречаться и разговаривать.

В интернете тьма фотографий Мервина, множество видео с ним и о нём. Мягкие глаза, ласковое лицо обладателя истины. Игры и позы не чувствуется; чувствуется уверенность и спокойствие человека, знающего ответ. Возможно, это иллюзия, и бездны таятся в душе, скелеты в шкафу. Бородач Берримен, алкоголик, психопат и самоубийца, мне всё же милее, ничего не могу поделать. Я верю лишь мыслям тех, кто терпит крушение, говорит Ортега-и-Гассет. Очень правильно говорит. «Если тебе нужна уверенность не пиши». Мервин, кстати, написал страшно много, один только том его *избранного*, стоящий у меня на полке, – громадная книжища в пять с половиной сотен страниц, где стихи идут друг за другом (а не так, чтоб каждое начиналось на отдельной странице, как это часто бывает у менее плодовитых поэтов; если б здесь каждое начиналось на отдельной странице, получилось бы три таких книжищи; и если это только избранное,

то каково же *неизбранное*?). Я их все, разумеется, не прочёл; из всех, что прочёл, стихотворение о Берримене произвело на меня самое сильное впечатление. Не потому ли, что Берримен и говорит в нём, через него? Вообще, есть тексты, живущие отражённым светом. Поклонники Варлама Шаламова осыплют меня проклятиями, но, по-моему, его самый сильный (и, в сущности, не похожий на все остальные) рассказ – «Шерри-бренди», где он пытается представить себе лагерную смерть Мандельштама, изнутри самой этой смерти; и точно так же проклянут меня поклонники Арсения Тарковского за моё признание – но я его всё-таки сделаю, – что лучшим у него мне кажется стихотворение (тоже) о Мандельштаме («Эту книгу мне когда-то в коридоре Госиздата...» и так далее); такое чувство, что Мандельштам просто-напросто поделился с ними частичкой своего гения (добродушный дракон из моего сна запросто мог бы это проделать).

Мнемозина

«Всё искусство древности, – писал Вячеслав Иванов, – посвящено Памяти; за Аполлоном, предводителем хора Муз, стояла безмолвная вдохновительница – Мнемосина». Именно так – через «с». О древних говорить не буду и Мнемозину через «с» писать тоже не буду. А память – конечно. Память вообще делает человека – человеком, сознание – сознанием. Сознание это и есть память, говорит Бергсон, сохранение и накопление (accumulation) прошлого в настоящем. А лучшую формулу человека – не смейтесь! – дал, по-моему, – и, по-моему, ненароком – Давид Самойлов в раннем, очень длинном и точно не самом лучшем своём стихотворении (или поэме – «Сквозь память», так она и называется; часть поэмы «Ближние страны», если уж хотеть быть вполне точным). «Человек – это память и воля», вот эта формула. Память собирает и сохраняет прошлое, превращает настоящее из пустого бессмысленного протекания времени в продолжение всей предшествующей жизни, создаёт единство того, что мы называем личностью, неизменное в изменчивом; воля направляет всё это в будущее, превращает «просто жизнь» в тот внутренний «проект», тот «набросок жизни», который и образует ядро нашей личности, сущность нашего «я» (о чём лучше всех сказал, по-моему, Ортега-и-Гассет, вообще сказавший многое из того, о чём любили говорить в XX веке, – лучше, яснее, проще и раньше других). Кстати, есть эпизод в «Записках об Анне Ахматовой» Лидии Корнеевны Чуковской, где речь идёт именно об этих стихах (или этой поэме, уж как хотите) Давида Самойлова. Л. К. читает их вслух для А. А., причём читает плохо, как ей самой кажется, «заранее мучаясь от того огорчения, какое испытаю, если и эти стихи не понравятся Анне Андреевне». Но стихи понравились, «слава Богу, и даже очень. Она взяла у меня из рук «Москву» и перечла всего Самойлова: отрывок из поэмы и стихи – всё насквозь, глазами. “Хорошо, – сказала она ещё раз. – Слышен поэт. «Постепенно становится мной» это уж и совсем хорошо”». Вот эти строки; с удовольствием приведу их здесь целиком:

Всё хорошее или дурное,
Всё добытое тяжкой ценой
Навсегда остаётся со мною,
Постепенно становится мной:

Всё вобрал я – и пулю, и поле,
Песню, брань, воркованье ручья...
Человек – это память и воля.
Дальше тронемся, память моя!

Молитва

Бородатый бродяга в бейсбольной кепке, во Франкфурте. Стоит на коленях перед памятником Шиллеру, словно молится. У Шиллера лавровый венок на голове, перо в одной, книга в другой руке. Типичный памятник XIX века, из тех, что ставили «национальным поэтам»; постаментище больше самого памятника. Лицо у «национального поэта», наверняка задуманное вдохновенным, получилось скорей недовольным, симпатичным в своём недовольстве. Похоже, не нравится ему этот Франкфурт со всеми его небоскрёбами, наркоманами, банками, бандитским и проститутским кварталом возле вокзала. Лицо бродяги скрыто кепкой. Он чуть-чуть раскачивается, чуть-чуть даже кланяется. Может, и вправду молится? Кому? Шиллеру? Почему бы, в конце концов, и не Шиллеру? Чем Шиллер хуже прочих богов и мифов? Потом он долго роется в пластиковой сумке, одной из нескольких, которые всегда, верно, носит с собою – всё его достояние, – извлекает оттуда – не зонтик, но отломанную ручку от зонтика, широкомахнувшись, запускает этой ручкой в обтёрханных городских голубей, мирно гуляющих вокруг постамента. Голуби лениво улетают. Бродяга встаёт, подбирает ручку от зонтика, бросает её в других голубей. Другие голуби тоже улетают, тоже с ленцою. Так он обходит памятник, обходит соседнюю с ним лужайку, всё кидая и кидая в голубей ручкой от зонтика; наконец, удаляется, приподняв левую ногу, в сторону вокзала, к своим братьям по разуму и беде. Никто не обращает на него внимания, даже Шиллер; молитвы не действуют; так пускай хоть голуби боятся его. Или он дух святой видел в них? Всё может быть, всё может быть.

Мыши

В сумерки, за серой, сизой, потом сиреневой тучей – кусок открытого зелёного неба, на краю окоёма. Бесснежный лес, весь в палой прошлогодней листве. Всё идёшь, идёшь, стараешься ни о чём не думать, считаешь выдохи, потом повторяешь мантру, полируешь зеркало своего сознания, как бывшему дзен-буддисту оно и положено. Мама с дочкой идут тебе навстречу; на другой просеке, за тремя поворотами, оказываются вдруг впереди. Теперь ты идёшь вслед за ними, не можешь их обогнать. У дочки, ещё подростка, ножки – такие тростиночки, что делается за неё страшно; у мамы – полные, красивые, сильные ноги в джинсах. Мыши в палой листве, пожухлой траве; их не видишь, только слышишь их шебуршание. Мама с дочкой каждый раз, при всяком шорохе останавливаются, прислушиваясь, высматривая этих мышей. Каждый раз, хотя всё одно и то же, одно и то же. Снова сворачиваешь, обо всём забываешь. Шебуршание мыслей проходит, ненадолго; в чистом зеркале не отражается ничего.

Музыка

Есть письмо Рильке, где он рассказывает, как, ещё юношей, столкнулся – в почти буквальном смысле – с пожилым полным господином, на австрийском курорте Bad Aussee. Я был тогда никем, просто молодым человеком (irgendein junger Mensch), шестнадцати или семнадцати лет, пишет Рильке, и я был в гостях у кузины, с которой мы вместе ужасно скучали. Целый день сидели в саду и скучали... Наконец ему надоело скучать, и он побежал в горы, в свободный, огромный и настоящий мир. Кажется, без шляпы, добавляет он, видимо – чтобы показать меру своего вольнолюбия. Тропинка круто взбиралась вверх, но он этого не замечал, как не заметил бы никакого другого препятствия. Он взял такой разгон, что его действия перестали быть личными; не он бежал, но *ему бежалось* (как мы говорим: *смеркалось* или *светлело*, или о грозе: *погромыхивало*). Гроза, действительно, была близко, тучи злоеюще густели. Он и этого не замечал; он был охвачен, очевидно, тем элементарным порывом, стихийным вдохновением, какие так свойственны молодости. Навстречу ему спускался вразвалку пожилой плотный господин, уже некоторое время, судя по всему, раздумывавший о том, как смягчить столкновение с несущимся вверх сумасшедшим. Избежать этого столкновения было невозможно, учитывая скорость, с которой нёсся один, и неспешную плотность другого. Вдруг, громко бурча, он схватил меня, пишет Рильке, и отвёл в сторону; в ужасе я поднял на него глаза; он казался очень рассерженным. Пару мгновений их взгляды удерживали друг друга; наконец, недовольство спускавшегося с гор господина разрешилось мягким ворчанием, и он предупредил Рильке, что идёт гроза, указывая на тучи у себя за спиной. Рильке так смущён был, что пробормотал лишь что-то невразумительное, и побежал дальше наверх, в грозу и бурю, от которой, как он пишет, уже камни бледнели. Через несколько дней ему показали этого господина на набережной, заодно сообщив, что это – Брамс. Будущий автор «Дуинских элегий» и «Сонетов к Орфею» был счастлив, что создатель «Венгерских танцев» и «Четвёртой симфонии» его не заметил. А я жалею о том, что они не столкнулись. Представить себе, как молоденький узенький Рильке влетает своей такой характерной головою прямо в огромный живот Брамса – какая картина! Но ведь и так это было своего рода причастие. Он почти столкнулся с Брамсом – и дух музыки снизошёл на него, чтобы уже оставаться с ним до конца. Вот бы и нам так, вот бы и нам... ■

Мир

роман



М

Владимир ГОРБАЧЁВ

📍 Саратов, Россия



Фото: из личного архива автора

Родился в Магаданской области, с 1960-го живёт в Саратове. После окончания университета работал учителем, затем журналистом.

Опубликовал три книги фантастики («Тёмные пространства», «Вернуться из Готана», «Люди Края») в издательствах АСТ и «Альфа-книга». Рассказы публиковались в журналах «Новый мир», «Новая Юность», «Тайные тропы».

Погружение

Окончание. Начало в № 2–3

Часть 2

13

– Нет, правда, Василий Федорович, зачем вам с собой столько инструментов? Нам, конечно, не тяжело нести, вы не подумайте, но зачем? Лопаты – это я понимаю, это нужно. Возможно, если ход секретный, он завален, откапывать надо. Но зачем свёрла, болты, ключи, отвёртки, надфили, пилки, тестер? И ещё какие-то железки – я даже названия их не знаю.

– Затем, уважаемая, что потерять легко, а найти трудно. Собрать полный набор нужного инструмента – все размеры, все спецификации – на это годы уходят. Такого набора во всей ГЛУБи больше ни у кого нет. И кто знает, что нас там, впереди... Что, вот здесь? Надо же, а я и не знал, что здесь дверь. Я-то думал, что я на своём уровне все щели знаю...

– Теперь всё будешь знать. Проходите, проходите, мне открыть нужно. Сейчас я свет включу...

Они вышли на крошечную площадку перед кабиной лифта. Вспыхнул свет, осветил уходящую вниз шахту здорovenного – как видно, грузового – лифта. Моисей проделал ещё одну манипуляцию с кнопками, и двери кабины закрылись, одновременно загудел мотор.

– Входите, чего стоите? Он мощный, всех увезёт.

Кабина дрогнула, плавно пошла вниз.

– Надо же, работает! Сто лет на лифте не ездил. А реактор – что, тоже работает?

– Нет, не работает. И никогда не работал. Всё, приехали. Хочу предупредить: здесь повсюду адский холод. Действительно адский: доходило до 46 градусов, я сам видел, и Борис видел. Так что закутайтесь получше, и не разговаривайте, пока в операторскую не придём.

Договорил и открыл ворота в прорву адову, и мы устремились за ним. О, какой холод здесь царил, какая стужа! Воздух словно сгустился, оледенел, стал подобен студёной воде, обречённой на смерть мелкой реке, что вот-вот застынет вместе со всей живностью. Здесь царил холод, а ещё хаос: в полукруглом коридоре, огибавшем корпус реактора, валялись кирпичи, лопаты, пакеты с цементом, кучи песка... Стройплощадка Белой Колдуньи, вот что это было.

Но вот наш новый провожатый открыл какую-то дверь, щёлкнул выключателем, и осветилось помещение совсем иного вида: шкафы, пульта, экраны, и везде чистота, ни соринки. Загудел включённый генератор, прошла волна тёплого воздуха, все вздохнули с облегчением.

– Значит, это вы строили? А почему не закончили? Он что, не работает?

– Сколько вопросов! Вы что, журналист?

– Нет, правда, скажите, интересно ведь!

– Да, мне тоже интересно, хотя я совсем не журналист.

– Я вижу, Моисей не расположен объяснять, – сказал Косолапов. – Давайте я. Идея оборудовать ГЛУБь реактором родилась ещё на стадии проектирования. Ведь иначе откуда взять столько энергии? Мы с Моисеем участвовали в этом проекте с самого начала, позже и остальные подключились. Работы продолжались четыре года, потом их пришлось свернуть.

– Но почему?

– По разным причинам. В первую очередь из-за нехватки воды. Реактору нужна вода, а её пришлось отдать для бассейнов, которые строились на седьмом и восьмом уровнях. («И у меня строился», – мысленно добавил академик Лев Робертович). А потом и рабочих забрали. Одних послали оборудовать тюремный блок на шестом, других – ракетные шахты, третьи... Куда делась ещё часть строителей, я даже не знаю. В общем, стройка остановилась.

– А уран? Его успели загрузить?

– Часть топлива загрузили, остальное так и осталось на складах. Урана здесь мало, стержни все на месте, так что угрозы радиации, тем более взрыва нет. Поэтому мы с Моисеем и считаем это место безопасным. А ещё потому, что о нём все забыли. Сюда никакие инспекции не ходят. А отсюда, в свою очередь, можно попасть в разные нужные места – на пятый уровень, где мы только что были, на шестой и даже на седьмой. Так что мы с вами здесь можем расположиться и на этих вот экранах наблюдать то, что сможет увидеть Вещун на шестом уровне.

– Вот теперь всё понятно. И правда, отличное решение. Тут что важно? Что здесь, как вы сказали, можно расположиться, и никто не пристанет. А то я, если честно, уже с ног валяюсь. Давайте вот здесь постелим – вот тут, возле пульта, тут просторно. Постелим, как прошлый раз, всё, что есть – спальники, одежду...

Началась обычная возня, сопровождающая устройство ночлега. Косолапов некоторое время наблюдал за ней, потом предложил:

– Слушайте, а у нас тут спецовки есть, и костюмы химзащиты. Их тоже можно использовать.

– Спецовки давайте, а резину не нужно. А то сны тяжёлые будут сниться.

Академик о сне не думал. Надо было использовать время, ловить момент. А то потом неизвестно, как оно обернётся, уловишь ты этот момент или сам от него бегать будешь. Он подошёл к доктору меднаук Пухову, сказал проникновенно:

– Егор Трофимович, у меня к вам большая, знаете, просьба... Я, конечно,

понимаю, что сейчас не совсем то время, и нужно сделать рентген, и анализы, а у вас тут ничего нет. Но, может, вы по симптомам определите? Понимаете, у меня боли – просто невыносимые боли. А специалисты с третьего – ну, вы знаете, какие там специалисты...

Доктор Пухов слушал хмуро, сверлил буравчиками исподлобья. Потом сказал:

– На третьем тоже врачи настоящие есть. И что за манера – обязательно кого-нибудь дерьмом замазать? Хорошо, идёте вон туда, в лаборантскую, я вас осмотрю. Рентген, кстати, тоже можно – я тут устроил, чтобы... В общем, рентген есть.

Они удалились. Олег, как всегда, улёгся первый, как всегда, с краю, и на собственном спальнике. Ведь со всеми, знаешь, не поделишься. Начнёшь целое делить – ни целого не будет, ни клочков толковых, одно лишь чувство справедливости. А на чувстве не поспишь – жёстко. Так что он первым лёг, первым уснул. Видел обычный сон: боевые действия в горной местности, захват вражеского рубежа, взятая с бою генеральская дочь...

Враг долго возился, устраивал общее пространство сна, дожидаясь, пока улягутся Андрей, Паша с Настей, Таня с Верой, Вьюга с Петей. Тогда и сам собрался. Но тут вспомнил, что остался невыясненным важный вопрос.

– Скажите, Борис Николаевич, – я правильно называю? – скажите, а утром, перед этой виртуальной экскурсией, здесь найдётся, чем перекусить?

А то у нас практически всё кончилось. А здесь, я так рассуждаю, если имеется уран, то почему бы не найтись, например, тушёнке?

– Ну я не знаю... – протянул Борис Николаевич. – Кажется, Моисей что-то откладывал... А, Моисей?

Молчание было ему ответом. Но тут неожиданно откликнулся мастер Василий – он тоже укладывался на ночь, стелил одеяло, на него плед.

– Не беспокойся, режиссёр, перекусить найдётся. Ведь у меня в сумках не только штангель с деркой. Надолго не хватит, но пару раз откусить сможем.

– Это хорошо. Просто очень хорошо! Тогда ещё такой вопрос: я вас верно понял, что отсюда можно на все оставшиеся уровни пройти?

– Нет, неверно. Отсюда можно только на шестой и седьмой. А уже с седьмого можно попасть на восьмой, это несложно.

– А на девятый? Тоже несложно?

– На девятый не просто сложно – туда невозможно попасть. Туда пускают только по приглашению Вождя, и после тройной проверки. Никто из нас там не был. Да и надо ли туда стремиться? Ведь там один Вождь живёт. Живёт, как я предполагаю, примерно, как Уважаемые Руководители на восьмом, только один.

– Как же нам туда не стремиться? Ведь если я правильно понял Перуновича, тот выход наверх, что мы ищем, – он как раз ниже девятого? Значит, через него пройти надо...

– И тут вы тоже неверно поняли, молодой человек, – неожиданно произнёс Моисей Соломонович. – Путь наверх отдельно от всех уровней расположен. Чтобы туда попасть, не надо ни шестой проходить, ни седьмой с восьмым. И тем более девятый – тут я с Борисом согласен. Но если уж вы сюда добрались – как же на этих, самых нижних, самых проклятых, не побывать? Если дошли до дна – как не побывать на дне?

– Да я не против, я как раз за то, чтобы побывать. А что, мы когда проснёмся, – на шестом тоже утро будет? В тихий час не попадём?

– На шестом тихого часа, как вы выразились, не бывает, – ответил Косолапов. – В целом там действует обычный распорядок, и по этому распорядку там сейчас ночь. А утром, соответственно, будет утро. Но туда и ночью можно заглянуть и тоже какие-то процессы увидеть. Потому что там есть любители ночных допросов, и много таких. А вообще-то не всем стоит смотреть, что там происходит. Девочке точно не стоит. И вообще, прежде чем Вещуна туда пускать, я ему подробную инструкцию дам – что показывать, а что нет.

– Понятно... Хотя у нас тут у всех – ну, у многих – нервы крепкие, но я понимаю... А скажите ещё, этот выход, который мы ищем, – он куда? Мы в какой район попадём – к реке или где-то в горах? И в какое время? А то тут со временем непонятки...

Лернер с Косолаповым переглянулись. Борис Николаевич пожал плечами, Моисей Соломонович наклонил голову, прогудел:

– Откуда же я знаю, что нас ждёт? Этого никто не знает. Лично я думаю, что нас ожидает что-то совершенно неожиданное, чего и предположить нельзя. Но при этом каждый получит своё.

– Это интересно... – пробормотал Враг, укладываясь и прикрыв зевком рукавом. – Каждому, значит, своё... – Скажите, а свет тут можно притушить? А то ярко слишком.

– Да, это вы верно... Я сейчас...

Щёлкнул выключатель, второй – и верхний свет погас, осталась только лампочка на пульте, да из двери лаборантской, куда удалились академик с д. м. н., падал свет. Враг повозился перед сном, проделал обычный круговорот: правый бок, потом на животе, потом левый бок – и стал погружаться в туманную глубину. Увидел, как они с Вьюгой занимаются обычными хозяйственными делами на своём дереве до неба, тут же дети резвятся, и тут входит академик Павлик и заявляет: «Чтобы сохраниться, рай всё время должен меняться». А дальше вообще какая-то чепуха началась.

Юрий Алексеевич устроил себе норку между Врагом и Моисеем Соломоновичем, повозился, оборудуя индивидуальное пространство, и замер, блаженно вытянув ноги. «А надо ли спускаться до самого дна? – явилась мысль, откликаясь на недавно прошедшую дискуссию. – Надо ли наблюдать в действии здешних малют и чикатил? Самобытных тамерланов и ассаргадонов? Словно тебе коллеги Бурилкина не хватает! Да что коллега – словно тебе себя самого недостаточно. Надо ли изучать все мерзости, на какие способен человек? Им же числа нет! Причём современный человек совершает свои зверства с полным сознанием того, что делает. Знает, что он гад и Малюта – и всё равно продолжает...»

Таково было первое соображение. А следом, с каких-то океанских или, напротив, земных глубин (а может, как когнитивная эманация от многоумного соседа) явилось другое. «Ведь это всё с Адама идёт, – говорило это соображение. – С того заповедного яблока, которое они на пару с Евой слопали. Стрёмно им было жить в блаженном неведении, познания хотелось, различения, где добро, а где зло. Захотелось – а теперь деваться некуда, иди, познавай до конца, до шестого, до девятого уровня. Ведь познание зла – это же процесс, вроде родов. Ведь нельзя родиться наполовину; родиться наполовину – значит умереть».

«Ну да, – блеснула ещё одна мысль, совсем для него новая. – Тут ведь ещё вот

какое соображение. Ведь Господь только таким способом, через нас, может узнать, что же такое зло. Сам Он его ни создать, ни познать не может – только наблюдая за нашими мерзостями. А с нашей стороны получается, что же – вроде как послушание? Как подвиг Иуды?»

Явившаяся мысль требовала всестороннего рассмотрения, но хорошенько рассмотреть не удалось: в комнате вдруг потемнело («А, это в лаборантской свет выключили, консультация, стало быть, завершилась...»), слышались приглушённые голоса («Попробуем, конечно. Может быть, на восьмом что-то найдётся...»), «Разве с восьмого что выцарапаешь? Но я вам всё равно...», «Борис, а ты что не ложишься? Давай, ложись, завтра тебе много придётся...», «Да я всё думаю, что Вещуну сказать...»). Усталость вступала в свои права, телесное одолевало духовное, и новая мысль осталась без анализа. Явилось видение какого-то подземелья, в глубине мигала одинокая лампочка. Когда загоралась, становились видны сидящие вдоль стен люди, все с хрустом грызли яблоки разных сортов. И у каждого, к кому ни приглядишься, наблюдалась одна картина: на границе откушенного куска пенилась слюна, на глазах превращаясь в кровь.

14

После допроса Коточилу всегда страстно хотелось курить. Только не надо думать, что он в самом процессе дознания не позволял себе затянуться. Позволял, конечно. Но во время допроса удовольствие получается скомканное, неполное – и не удовольствие вовсе, а часть производственного процесса. Это как подследственной прямо в кабинете овладеть. Вроде ощущения те же, да не те, нет того блаженства, которое ощущаешь, когда операция происходит с выбранной партнёршей и в подходящей обстановке. Нет, в кабинете, во время производственного процесса, любые удовольствия превращаются... ну, как бы в фальшак. Суррогат. Нет той лёгкости, того парения, которое... В общем, это совсем не то.

Поэтому и сейчас, едва только караул унёс подследственную, а дежурный солдат приступил к уборке, Коточиллов надел китель, накинул шубу, шапку и выглянул в коридор. Это была обычная предосторожность. В последнее время колымский муссон совсем разошёлся, мог задуть в любое время. Уставшего после трудовой вахты сотрудника такой ветерок в минуту замораживал, так что пальцы потом приходилось ампутировать. Ну, и мух, вообще всякой летучей нечисти следовало остерегаться.

Но в данную минуту аномалий не наблюдалось, и Коточиллов беспрепятственно добрался до курительной. Занял лучшее кресло у камина, достал самокрутку, высек огонёк... О, сладкий миг! О, ясные зори! Вот она, лучшая минута дня! Самокрутка, заполненная полузапретной (полностью запретить сотрудникам такое маленькое отступление от нормативов никому бы в голову не пришло, но официально это осуждалось) травкой, дарила то самое парение, будила фантазию. Казалось, что вот сейчас, стоит только сделать ещё одно крошечное усилие, ещё одну затяжку, и откроются сияющие дали, и ты окажешься в чудесном мире, испытываешь... пожалуй, что счастье испытываешь. Но, как и всегда, сияющие дали открылись лишь на миг, а потом стали стремительно тускнеть. Видимо, надо будет попросить у Коли Рыкалова порошок, который Коля не устает рекламировать. Коля рекламирует, а Коточиллов избегает,

потому что знает, чем этот путь заканчивается. Но далее-то хочется и чудеса хочется увидеть. Ведь для чего и стараться, гробиться на этой адской работе, если в результате не сможешь испытать даже краткий миг счастья? А другого способа испытать этот миг, видимо, нет.

Коточилов докурил самокрутку, раздавил окурочек в пепельнице и тут обратил внимание на свои руки. С руками был беспорядок – и тут засохшие пятна, и здесь. Нет, так нельзя. Надо привести себя в приличный вид, а потом уже вернуться и не спеша употребить вторую марусю. Он всё оставил возле пепельницы: и коробочку, и зажигалку – чтобы кресло не заняли – и отправился в туалетную комнату. Здесь снял китель, закатал рукава белоснежной рубашки и начал мыть руки: старательно, каждый палец отдельно. Тёр губкой свои крепкие красивые пальцы с тщательно остриженными ногтями, вымывал из-под ногтей кровь, ещё что-то. На правой руке выше кисти обнаружил глубокую свежую царапину и след от укуса. Цапнула всё-таки, стерва, дотянулась! Сколько всё-таки в человеке злобы! Можно представить, что бы она сделала, если бы могла дотянуться не до локтя, а до шеи, до горла... И ведь могла, могла: старший советник юстиции Коточилов на допросах редко оставлял своих клиентов скованными. Ему нравилось это ощущение опасности, чувство угрозы, исходящей от противника. Изяслав Глебович любил ходить по грани, по тонкому льду, любил рисковать. Да, он вёл себя иначе, не так, как, допустим, Висельчук или Громик – те, как прикуют свою жертву к креслу, как начнут её пилить-строгать, так до самого конца допроса с этого метода не слезают. Нет, Изяслав Коточилов предпочитал давать своим оппонентам свободу. Как выразился один из древних Руководителей, «свобода лучше, чем несвобода». Золотые слова! Ясно же, что контролируемая, направляемая к правильной цели свобода зависящих от тебя людей даёт лучшие результаты, чем их тотальное подчинение. Подследственные, чувствуя эту свою неестественность, видя лежащий на столе «люгтер» (не заряженный, конечно), ощущая... да у некоторых прямо крышу сносит в такой ситуации, всякий контроль над собой теряют – и проговариваются. Много нужных показаний получил Изяслав Глебович благодаря своей приверженности к риску. Вот тут, на грани, при снесённой начисто крыше, и рождались признания, произносились нужные имена, какие-то детали, которые позже становились основой новых уголовных дел. Так что какая-нибудь царапина на щеке или укус на руке были вполне умеренной платой за полученный результат.

Коточилов снова облачился в китель, взглянул на себя в зеркало (остался доволен) и направился назад, в курительную. Здесь, при входе в комнату, имело место странное происшествие. Дверь, ведущая в коридор, вдруг сама собой открылась, впуслав клуб ледяного тумана, маленький морозный смерч – и тут же закрылась. Видимо, кто-то, вошедший последним, не закрыл её твёрдо, до щелчка.

И этот «кто-то» сделал ещё кое-что похуже; просто гадость сделал – занял облюбованное следователем Коточиловым кресло. Сейчас над спинкой кресла, где совсем недавно отдыхал Изяслав Глебович, торчали пегие космы этого нахала, и рука с сигаретой виднелась. В груди Коточилова закипел праведный гнев, и он уже готовил слова, острые, как сталь. Но сделал ещё два шага, опознал личность нахала и гнев сразу притушил. Потому что в кресле сидел не коллега из СК, не судья, не прокурор, а представитель другого, более авторитетного, ведомства – полковник СГБ Владилен Волнистов. Какой уж тут гнев или, допустим, ярость? Ярость можно было отложить для другого случая.

Полковник Волнистов был относительно молод (52 года, если быть точным), но уже известен всем серьёзным людям. Потому что не ерундой занимался, а расследовал ряд резонансных преступлений. Например, он обнаружил и арестовал группу вредителей (либералов, анархистов и бандеровцев), портивших продукты на складах (отчего по всей ГЛУБи пришлось сократить нормы выдачи). Также полковник выявил разветвлённую сеть распространителей панических слухов и всю эту сеть ликвидировал. Были ещё дела британских шпионов, украинских пропагандистов и тому подобные. Всё это поставило полковника в особое, высокое положение. Говорили, что он был близок к кому-то из высших Руководителей – к Дрыгину или даже к самому Ростиславу Богдановичу. Его вызывали на совещания, проводившиеся на восьмом уровне, и даже якобы представили самому Вождю.

А ещё Владилен Викторович имел репутацию интеллектуала и знатока запрещённой литературы, отдельные фразы из которой он то и дело использовал. То скажет ни к селу, ни к Кремлю, что-нибудь вроде «здесь надо, чтоб душа была тверда», то и вовсе нечто несусветное выдаст: «Человек рождён свободным, а между тем он всюду в оковах». Или словечко какое-нибудь внесловарное употребит, вроде «мыслепреступления». И гадай после этого, зачем он такое сказал – то ли просто, чтобы тебя маковкой в дерьмо окунуть, твою неучённость показать (ну, так многие делают), то ли хуже – хотел тебя проверить, не знаешь ли нечто неположенное. По указанным причинам Владилен Викторович имел на шестом уровне репутацию человека опасного, которого следует сторониться и язык при нём не распускать. И следователь Коточилов поступал, как все люди, – сторонился и не распускал. Но и убежать в панике при одном виде опасного полковника не стал бы – иначе какой же он следователь, какой человек, склонный к риску?

– А, Изяслав Глебович, рад видеть! – воскликнул полковник, увидев вошедшего. – Это твои принадлежности здесь лежат? Выходит, я твоё место занял? Ну, извини! Да ты не стой, садись. Я тебя обидел – я и заглажу. Вот, смотри, что у нас имеется.

И полковник указал на столик, где лежали коточиловские сигареты. Теперь там размещалось и ещё кое-что, а именно пузатая бутылка с золотистой жидкостью, с двумя львами на этикетке и цифрой «7» посередине. Рядом стояла металлическая стопка.

– Не откажешься? Сейчас я тебе...

Владилен Волнистов похлопал по карманам пиджака, извлёк связку ключей, толстую записную книжку, платок – всё не то. Весь столик извлечённым добром занял. Наконец на свет явилось искомое – ещё одна стопка, и была установлена рядом с пачкой сигарет.

– Кто же от такого угощения откажется? – сказал Коточилов. – Я думал, их уже не осталось; разве что на восьмом...

– На восьмом и брал. В качестве вещдока.

И полковник рассмеялся коротко смехом победителя. Откупорил сосуд, разнёсся дивный запах, напоминавший сразу о многом.

– Ну, за Вождя! И за постоянное движение вперёд!

Коточилов не хотел употреблять всё содержимое стопки сразу, хотел оставить, посмаковать. Но разве такое оставишь? Это что за человеком надо быть, чтобы такое на потом оставить?

– Да ты не сомневайся – мы сейчас повторим. И ещё повторим... Ты ведь работу закончил? Вот и я закончил. Я тоже люблю по ночам работать. У тебя кто сейчас в разработке?

– Ничего особенного. Ячейку пораженцев на втором выявили. Панические слухи, клевета на Руководителей, попытка сколотить боевую группу. Сначала думали, там всего ничего, две училки. А стали разрабатывать, оказалось, их целая сеть. Даже двоих работяг сумели затянуть. А у вас кто?

– У меня? У меня контингент, конечно, посерьёзней. Про академика ты, я думаю, слышал?

– Конечно, конечно. Он, а ещё секретарь...

– Ну вот, это всё я разрабатывал. Оттуда и коньяк. Проводили обыски в кабинетах и на квартирах, нашли солидные запасы. Кроме коньяка, там ещё икра была, прокладки, аспирин... Я же говорю – вещдок... Ну что, давай следующую?

«Вот оно, замечательное свойство хорошего алкоголя, – думал следователь Коточилов, смакуя драгоценный напиток. – По мере развития процесса вкус не притупляется, ощущения остаются прежними. Такое возможно ещё только с женщиной, да ещё, пожалуй, с работой. Но в последнем случае возможны нюансы. Да, возможны нюансы».

Выпив, оба, не сговариваясь, закурили. Полковник принялся к сладковатому дымку, который тянулся от коточиловской самокрутки, покачал головой.

– Детскими шалостями балуешься, Изяслав? Это ты напрасно, это не одобряю. Мужик должен употреблять всё такое же крепкое, как он сам. Вот, попробуй мою. Только учти – не затягиваться.

И протянул толстую трубочку, завернутую в целлофан. Коточилов вежливо притушил самокрутку, взял палочку, долго разжигал. Ощущения были непривычные, новые были ощущения. Было высказано предложение выпить за это вот – за новые ощущения, а также за дружбу соратников, делающих общее дело. Однако тут полковник возразил. Нет, сказал он, это мы не должны смешивать. Ощущения – это одно, ощущения и всякой шелупони доступны. А дружба соратников – это святое, это та скрижаль, на которой... В общем, за дружбу выпили отдельно, причём Коточилов при этом с грустью отметил понижение уровня жидкости в бутылке.

Уровень понизился, а вот жизненный тонус демонстрировал подъём, открывались дали. Явилось желание поделиться сокровенным, самым дорогим.

– Нет, всё же в той, прежней жизни была своя прелесть, которая сейчас недоступна, – делился Коточилов. – Вот, например, ночной обыск, как он прежде выглядел. Приезжаешь на квартиру часов эдак в пять. Пять утра, конечно, не вечера. Утренняя свежесть природы, бодрость духа... Звонок, ещё звонок... Сначала все эти крики «Вы не имеете права! Я сейчас полицию вызову!» А тут у тебя уже участковый рядом стоит и понятые готовы. Наконец открывают. Ты стремительно проходишь по всем комнатам, расставляешь на ключевых постах своих людей, чтобы никакие улики не сожгли, ничего не прятали. Крайне важно занять туалет. И потом начинаешь, собственно, процесс обыска. Содержимое ящиков письменного стола на пол, туда же книги. Твой айтишник уже сидит перед экраном, листает файлы. А в этих файлах чего только нет! И девушки без валенок (а иногда и мальчики), и постельные сцены... Сфера интима – она всех равно притягивает, будь ты хоть трижды либерал и мыслитель. Интим, а ещё всякие манипуляции со спонсорской помощью, с грантами. И мы всё это прилюдно, под протокол вы-

таскиваем на свет. У жены губы трясутся, халатик всё запахивает, никак застегнуть не может, дети плачут, всё спрашивают «а почему так?», у самого пидора руки дрожат, хотя он ещё пытается что-то лепетать... Ну, а потом, естественно, «одевайтесь, поедете с нами». Да, это была картина. А сейчас какой обыск? Ну комната средних размеров, пара шкафов, жены зачастую нет, детей тем более...

Полковника Волнистова также несла волна ночного внезапного вдохновения, кипел в крови гераклотетрин (величавоцен) в комбинации с шаолидоном. Хотелось беседовать не о будничных делах, не о повседневном, скучном – хотелось делиться тайным.

– Да, народ мельчает, – соглашался он. – Даже среди наших сотрудников являются панические настроения. Но вопреки общему упадку в лучших умах возникают новые, ослепительные проекты. Вот ты, Изяслав, слышал когда-нибудь такое выражение «Новая ГЛУБЬ»? Вижу, что не слышал. Между тем это величаявая концепция, новый нацпроект, ухватившись за который, мы можем дать нашей здешней жизни новое дыхание. Тут не какая-то мелочь, вроде частичной ликвидации второго уровня или обмена уровней и этажей. Тут грандиозные перспективы, тут вся жизнь сначала начинается! Первым эту концепцию выдвинул наш руководитель Олег Борисович Коршунов, Максим Эдуардович поддержал, а мне с группой учёных поручили разрабатывать. Речь о том, чтобы найти тайный лаз, ведущий вниз, под девятый уровень, под склады. И когда мы пройдем через этот тайный лаз, то попадем – как ты думаешь, куда мы попадем, Изяслав?

Коточилов только руками развёл – не представлял, куда можно попасть, уходя так далеко вглубь.

– Мы попадем в самый центр Земли, в тайное убежище Мировой Закулисы. Там обитают проклятые серые ящеры, кукловоды всех банков и фондов. И когда их всех схватим, возьмем в разработку – тогда и заживем. Понял, Изяслав?

Коточилов высказался в том смысле, что понял и проникся. Голова у него слегка кружилась – от грандиозности открывшихся перспектив, от дивного напитка, принятого на пустой желудок, а также от радостного ощущения: вот, он, простой следователь, приобщен к сокровенной тайне, поднят (а может, опущен) на более глубокий уровень. За это следовало немедленно выпить, и они допили остатки чудесной жидкости. После чего полковник выразил желание проследовать к себе. Но тут оказалось, что идти самостоятельно он не может, надо поддерживать. А ведь идти предстояло по всему коридору, где воеет колымский муссон, где налетают на путника полчища полярных мух. И Коточилов выразил готовность поддержать, подставить плечо, шею и руку.

Он помог полковнику облачиться в шинель, после чего пристроил его на себя поудобнее и направился к двери, ведущей в коридор. И здесь снова случилась та же странность: дверь при его приближении словно бы сама открылась, и так стояла, пока следователь, державший изнемогшего в борьбе товарища, не проследовал. И только тогда захлопнулась.

Сквозь вихри и муссоны, через тысячи бед довел Коточилов полковника Волнистова до самых ворот, за которыми начинались помещения СГБ. Довел – и сдал на руки дежурному лейтенанту. В момент передачи Владилен Викторович вдруг открыл глаза и произнёс:

– Ключи заberi! Слышишь, Изяслав – я там, в курилке, ключи от камер оставил. Ты не забудь... – и снова поник головой.

Изяслав Глебович глянул ясно (скорее на дежурного, чем на павшего полковника), сказал твёрдо что-то вроде «Я не забуду», или «Враг не пройдёт», или «Считайте меня патриотом», после чего направился назад, в курительную. Да, через все вихри и муссоны, трудным путём, на усталых ногах, но твёрдо пошёл Коточилов обратно. И на этом возвратном пути его поддерживало и вело вперёд ощущение, что в его жизни наступает новый момент, он выходит на какую-то новую светлую дорогу, на следующую спираль. И с этим волнующим ощущением он открыл дверь курительной комнаты (на этот раз она никаких фокусов не устраивала), шагнул к столику – и тут обнаружил, что ключей там нет. Записная книжка, выложенная полковником из кармана, была, пустая бутылка со львами и две стопки при ней стояли – а ключей не было. Прямо чертовщина какая-то.

Рабочий день вступил в свои права (наследства, обладания, ликвидации), генераторы трудились в полную силу, обеспечивая нужную освещённость и ненужный шум, и в зале заседаний следствия и суда яблоку негде было упасть. «Интересно, как могло появиться это странное выражение?» – размышляла, направляясь на своё рабочее место, государственно-мирная судья Веселина Ураганная. Как человек поживший и многое повидавший, она, конечно, знала, что такое яблоко. Вполне представляла этот среднего размера плод, растущий на деревьях; кажется, округлый, кажется, красный. Вкус, правда, забыла. И запах. А главное – не понимала, почему этому плоду среднего размера не найдётся пяточка в зале заседаний, чтобы сорваться с покрытого инеем потолка и упасть на ледяной (любая упавшая слеза сразу превращалась в торок) пол. Хотя во всех отсеках, на которые был поделён зал, толпился народ, но уж для округлого плода размером с кулак место бы нашлось.

Народа в судебном зале всегда было много, но в последние дни ещё прибавилось, так что получалась просто какая-то катастрофа. А всё из-за Странника. Этот опасный агент врага, прежде таившийся по углам и не попадавший в поле зрения органов, в последние дни активизировался. Он и его подручные совершили ряд подрывных диверсий и провокаций. Так, было установлено, что эта группа распространяла лживые измышления среди кухонных работников второго уровня, пыталась похитить нужную динамо-машину из операционной третьего уровня (к счастью, им помешали) и совершила попытку внедрения в творческий коллектив известного режиссера Орлянского на четвертом. Но самым наглым преступлением указанной группы стало нападение на лабораторию замечательного учёного академика Павлика, сопровождавшееся порчей установки УПОР, похищением самого академика, а также мастера Теплового. Сейчас все эти эпизоды тщательно расследовались, в связи с чем были задержаны десятки подозреваемых. Вину каждого предстояло установить: кто просто проявил преступную беспечность, кто халатность, а кто вступил в прямой сговор с врагом. Часть этих дел досталась судье Ураганной. Понятно, что рутинные, повседневные дела (разбой, растрата, растление, работа по найму, проповедь мира и тому подобное) требовалось отложить и целиком сосредоточиться на важном.

Веселина Георгиевна вошла в свой отсек и окинула взглядом рабочее место. Вроде бы всё было в порядке, Олежек обо всём позаботился. Стопка назначенных к рассмотрению дел возвышалась на столе справа, стопка чистой бумаги – слева, посередине в бюваре торчали свежезаточенные карандаши и две новые

ручки. Сиденье стула было застелено меховым ковриком, на спинке висела штопаная, но ещё годная к употреблению мантия. А главное – печка в ногах, под столом, скрытая от посторонних глаз. Печка была включена, излучала тепло, уют, безопасность. Она была таким же атрибутом (важным атрибутом!) её профессии, как мантия и телефон, дававший прямую связь с Верховным судьёй Павлом Петровичем.

Столешница прогрелась, коврик тоже, можно было садиться, начинать трудовой день. И Веселина Георгиевна села и потянула к себе, открыла лежащую сверху папку. Это было дело некой Зинаиды Почётной, лаборанта и секретаря знаменитого академика и учёного Льва Р. Павлика. Веселина Георгиевна перелистала несколько страниц. Дело было, в общем, совершенно ясное. Из материалов следовало, что данная Зинаида, вступив в сговор со Странником, организовала систематическую порчу установки УПОР, передачу врагу чертежей данной установки и других секретных технологий. А самым тяжким её злодеянием стало похищение самого академика.

– Введите Почётную, – произнесла Веселина Георгиевна так, чтобы конвой в коридоре слышал.

Простучали шаги конвоя, и перед судьёй возникла обвиняемая лахудра: блузка в горошек, брючки легкомысленные в обтяжку, ужас в глазах, душа в пятках.

– Осуждённая, вы признаете свою вину? – спросила судья самым мирным, почти ласковым тоном.

Это был стандартный, предусмотренный протоколом вопрос. «Осуждённая», «подозреваемая», «обвиняемая» – было всё равно, что говорить, современная юриспруденция уравнила эти понятия. Вопрос был протокольный, а вот тон, которым он был задан, был личный, идущий от души судьи Ураганной.

И, как часто бывало в её практике, в ответ на свою доброту получила самый отвратительный, наглый выпад.

– Какую вину?! – вскричала лахудра. – Я даже не знаю, в чём меня обвиняют! Я писала отчёт, и вдруг!

– Где адвокат осуждённой Почётной?

Из коридора просочился в отсек молодой человек с папочкой – хорошо знакомый Веселине Георгиевне адвокат Пантелеймон Ожогин. Вот уже три года прошло (как время летит!), как этот подававший надежды юрист был переведён из следственного отдела на эту чумовую работу – защищать разного рода негодяев. В других обстоятельствах этого милого юношу можно было бы и пожалеть – такой приятный мальчик, кажется, неглупый, кажется, эрудированный, а вот не повезло. В других обстоятельствах, в другом месте, но не в ГЛУБи, рядом с шахтой, среди ледяных сквозняков. Здесь, по соседству с шахтой, меня бы кто пожалел.

– Вы разъяснили осуждённой суть обвинения? – обратилась Веселина Георгиевна к неудачнику.

– Да, ваша честь, я всё зачитал, три раза повторил. Только ведь она слышать ничего не хочет, никак не может поверить, что...

– А насчёт ответственности за лживое отрицание сказали?

– Да, я ей говорил, что использование таких слов как «нет», «но» и «почему» квалифицируется как распространение лживых слухов.

– Всё понятно. В таком случае, подсудимая, вам предоставляется последнее слово.

– Как последнее? Разве уже последнее?
– Достаточно. Последнее слово произнесено. Смягчающие обстоятельства имеются?

Пантелеймон Ожогин открыл папочку, извлёк нужный листок.

– Защита просит высокий суд учесть в качестве смягчающего обстоятельства справку, выданную заведующей хозяйством пятого уровня Клавдией Трибунской о том, что обвиняемо-осуждённая Почётная всегда содержала оборудование лаборатории в чистоте. А также имеется отзыв от куратора обвиняемой капитана Пуговкина о её многолетнем сотрудничестве, однако данный отзыв относится к разделу секретных материалов и зачитанию не подлежит.

– Ясен пень. Предоставляю слово прокурору.

Со скамьи рядом с судейским столом воздвигся советник первой степени Алексей Штукатуров. Вот уж о ком нельзя было сказать, что ему в жизни с чем-то не повезло. Всё в прокуроре Штукатурове выдавало человека, которому благоволят жребии судьбы. Глаза в синеве, грудь колесом, голос как труба ангельская. Сотрудник с таким голосом лишнего не скажет, нужного не забудет. И с подсудимыми Штукатуров умел обращаться, они у Алексея Олеговича не гибли пачками, как у некоторых, все до суда доживали (ну, почти все) и давали нужные показания. Далеко должен был пойти человек, возможно, до самого нижнего, руководящего этажа дойти. И не одно женское сердце билось чаще при виде прокурорского кителя со знаками различия, при взгляде синих глаз.

– Вина подсудимой убедительно доказана, – провозгласил советник трубным голосом. – Вина безмерна, а запирательство осуждённой её усугубляет. Посему предлагаю назначить гражданке Почётной 23 года исправительных работ на строительстве 10-го уровня.

– Позиция обвинения понятна, – произнесла судья Ураганная. – У защиты есть возражения?

– Я хотел бы...

– Ладно уж, чего там. Возражений нет. Выполняя указ Вождя, который возлагает на суд первой инстанции функции всех последующих инстанций вплоть до высшей, выношу приговор в окончательной редакции. Встать, суд идёт! Преамбулу опускаю, время дорого. Учитывая смягчающие обстоятельства в виде отзыва от куратора, суд постановляет приговорить осуждённую Ураганную к исправительным работам сроком в 22 года. Подозреваемая, приговор вам понятен?

– Как двадцать два?! – вскричала Зинаида. – Где этот десятый уровень?! Я же там сдохну!! За что?! За что?!

И что-то ещё хотела прокричать. Но два дюжих пристава уже подхватили гражданку и понесли. И дальнейшие её крики доносились уже издали, оттуда, где дуют колымские муссоны и кончаются все пути. А суду пора было переходить к следующему делу, и Веселина Георгиевна села, налила из термоса горячего чая, отпила глоток, после чего открыла следующую папку.

Открыла – и изменилась в лице. Так вот какую свинью подложил ей верховный Павел Петрович! И не предупредил никак, ни слова не сказал! Теперь, при уже начавшемся заседании, при адвокатах и прокурорах, уже не отпихнёшь от себя эту мину, эту змею, этот позор. Да, не отпихнешь, придётся рассматривать. Веселина Георгиевна вздохнула, поправила черты лица и произнесла будничным голосом:

– Введите подозреваемого Буйнова!

Произнесла – и представила, как в соседних отсеках все головы повернулись на этот звук, все его слышали. И здесь, в её отсеке, какой-то отзвук этого общего внимания прозвучал – вроде как вскрикнул кто-то. Вскрикнул – и тут же затих. Между тем конвоиры уже ввели коренастого, колченогого, на костылях человека, чьи цветные портреты – тельняшка, суровый взгляд, вся грудь в орденах – висели на каждом уровне.

– Осуждённый Буйнов... – начала судья стандартную фразу, но тут же осеклась, и продолжила совсем не протокольно:

– Да вы садитесь, садитесь! Стул капитану Буйнову!

Свободного стула в отсеке, конечно, не было, но тут Олежек (молодец!) догадался, встал и отдал свой. Капитан скривил угол рта, сел и уставился на судью.

– Осуждённый, вы признаёте... – начала Веселина Георгиевна и вновь запнулась. Внезапно поняла, что в этом случае она не может отделаться стандартным вопросом о признании вины; что тут нужно изложить все вину и преступления подсудимого.

– Вы обвиняетесь в том, – вновь начала судья, – что, вступив в сговор с агентом врага, известным как Странник, помогли означенному вредителю, а также группе его подручных скрыться и проникнуть на нижние уровни. Также вы мешали группе захвата схватить указанного Странника по горячим следам, вводили в заблуждение следствие, пытались ложными показаниями выгородить преступные действия врача Шенгелия И. Б. и группы военнослужащих. Вы признаёте свою вину?

Лицо осуждённого героя потемнело, глаза сузились; он начал отвечать. И так бодро начал, что судье Ураганной (а ведь человек опытный, во многих кислотах варенный) никак не удавалось эту речь прервать. А ведь должна была прервать, просто обязана! Потому что это был настоящий водопад оскорблений, самых тяжёлых оскорблений в адрес суда, государственной власти, всего устройства государства Российского, самих Руководителей персонально, их жён, подруг, товарищей и Вождей – как прошлых, так и нынешнего Вождя товарища Твердогрызова И. В. Статьи – тяжкие статьи! – Уголовного Кодекса сыпались из уст обвиняемого, как горох из дырявого мешка (вот горох Веселина Георгиевна как раз видела и о мешках тоже знала). По её беглым прикидкам, за несколько минут подсудимый герой наговорил на три пожизненных срока и четыре казни.

Наконец судья как-то собралась с силами.

– Хватит!!! – прокричала она, зажмурившись и воздев руки к потолку. – Довольно! Я скурвимицирую... то есть курвицирую... то есть квалифицирую данный наглый выпад как признание. Как новое доказательство обвинения. Внимание! Именем Вождя!

Как и полагалось, все в отсеке встали. Все – за исключением утнездившегося на стуле человека с неприятным злым лицом.

– Именем Вождя объявляю по данному делу упрощённый порядок судопроизводства! – продолжила Веселина Георгиевна. – Участие защиты отменяется. Слово прокурору.

Алексей Штукатуров набрал в грудь воздуха.

– Что тут долго говорить? Всё и так ясно. Предлагаю присудить к смертной казни путём сбрасывания в шахтный ствол.

– Но военнослужащим... – заметила судья.

– Ввиду особых обстоятельств пункт об исключении военнослужащих в данном случае считаю утратившим силу.

– Согласна. Встать, суд идёт! Суд постановляет приговорить осуждённого Буйнова к лишению всех званий, почестей и наград, а также к лишению жизни путём сбрасывания. Подсудимый, приговор вам понятен?

В наступившей тишине было хорошо слышно, как осуждённый произнёс ещё два фразы, в которых цензурными были только предлоги, после чего попытался встать. Это у него плохо получалось. И тут произошло нечто странное. Словно чья-то незримая рука протянулась, подхватила капитана за плечо и заботливо потянула вверх. Кондратий Буйнов встал, взгляделся в пустоту перед собой, после чего покачал головой и направился к выходу; конвой за ним.

Больше всего на свете Веселине Георгиевне сейчас хотелось объявить перерыв. Объявить перерыв, уйти во внутренние покои (какие покои? в квартиру, что ли?), лечь, позвать собаку Бангу (откуда здесь собака?), хлопнуть стопку и расслабиться. Но какое тут в п***у расслабление? Какой, *** сраный, перерыв? До обеда предстояло перелопатить ещё целую гору дел, вон они все лежат: хирург Шенгелия, его помощник, две медсестры, менеджер Анжела из студии знаменитого Орлянского, шесть штук актёров и актрисок с пятого уровня, две поварахи со второго... А раньше всех, выше всех лежала папка с делом какого-то Шмидта, с пометкой «Рассмотреть срочно», сделанной рукой Павла Петровича. И Веселина Ураганная вздохнула поглубже и провозгласила:

– Введите подозреваемого Шмидта!

Тут снова в углу отсека, в пустоте прозвучал какой-то неясный звук – то ли вздох, то ли вскрик. Веселина Ураганная и прокурор Штукатуров оба устали в этот угол, стараясь уяснить причину неясного звука, но генераторы шумели, секретарь Олежек кашлял, а тут ещё конвой простучал сапогами и ввёл коренастого, дряхлого, набыченного, плохо выбритого, темнолицего – в общем, типичный бытовик со второго, судимый за кражу постельного белья. Однако Веселина Георгиевна успела-таки заглянуть в папку и узнать, что тут вовсе не постельное белье, что подсудимый поступил с восьмого уровня, по заявлению самого Ростислава Богдановича, а значит, дело серьёзное. Она проникательно взглянула на осуждённого (сабельный удар был, а не взгляд) и задала обычный вопрос:

– Подозреваемый, вы признаёте свою вину?

Небритый бытовик (совращение малолетних и отравление Ростислава Богдановича) поднял голову, взглянул на судью, на прокурора – так взглянул, словно только сейчас увидел, только теперь осознал, где находится, – открыл было рот, словно собираясь произнести бессильное, ненужное слово – но тут же передумал, закрыл.

Ну, что он мог тут сказать? Что он мог сказать этой тётке, когда-то похожей на женщину, а значит, на жасминовый куст, полный цветов, листьев и желаний, похожей на ребёнка, имевшего мечты, стремления и задатки, а теперь мёртвой, как отсохшая ветка, и опасной, как заряженная бомба, и отключить нельзя? «Да, – должен был я сказать, – я виноват, потому что оказался слаб. Когда меня привели в тот подвал, мимо камер, откуда доносились крики боли и ужаса, когда я увидел кровь и блевотину на полу (служивый неспешно вытирал), электроды на ручках кресла, раскрытые, словно две хищные пасти, когда увидел лицо следователя – я сдался. Согласился, подписал обязательство, и потом два года и три месяца старался, как мог: разрабатывал новые фильтры для

воздуха и воды, питательные среды, позволяющие выращивать огурцы, бананы, лимоны, даже пшеницу, а главное – придумывал новые виды витаминов и различных препаратов, продляющих жизнь. Не всем, конечно, продляющих, а избранным – Ростиславу Богдановичу, Максиму Эдуардовичу, Дрыгину, Хижняку, Выродовой Екатерине Матвеевне, генерал-полковнику Стародубову, его внучке... В общем, Уважаемым Руководителям, их близким и родным. Два года изучал их жизненные показатели, вносил коррективы в курс лечения, старался, как мог. И знал при этом, что Алексей, которого схватили вместе со мной, отказался сотрудничать и был замучен, и Катю забили на допросе, одна Марина где-то в камере сидит, ещё живая. Да, старался, давал хорошие результаты. А затем мозг стал слабеть, новые идеи появлялись всё реже, потом колодец вовсе высох, и я стал не нужен. И меня списали, послали сюда, на ликвидацию. И вот я стою здесь – стою не как солдат, которого одолели враги, а как списанная рухлядь. Вот она, моя вина, ваша честь».

Подсудимый молчал, и Веселина Георгиевна восприняла этот знак согласия и продолжила процесс. Прозвучали положенные речи защиты и прокуратуры, и судья зачитала справедливый приговор, и уже конвоиры шагнули, чтобы проводить темнолицего «бытовика» в последний путь. Но тут вдруг стусился воздух в углу отсека, проступили контуры какой-то необычной фигуры, а затем дважды сверкнула молния, поразившая конвоиров и прокурора – баловня судьбы, и осуждённый бытовик исчез. Исчез неведомо куда, словно и не было его.

– Вы живы? Вы целы? Я вас не задел?

– Так это ты! Не может быть! А я уж думал – небеса разверзлись, и Этот, в Которого я не верю, пришёл мне на помощь. Но как ты сюда попал? И так вовремя...

– Это меня Борис Николаевич послал, шестой уровень изучать и группе показывать. Я и не думал вас тут встретить, я думал...

– Так Борис жив?

– Да, и Моисей Соломонович тоже пошёл, и Егор Трофимович, и мастер Василий с академиком.

– Куда пошли? С каким академиком? Какая группа?

– Из верхнего мира группа, туристы на плоту, восемь человек, всё, как вы говорили.

– Не может быть!

– Они сначала не хотели идти, но я убедил. А теперь Моисей Соломонович нас ведёт за девятый уровень, к началу подъёма.

– Это невероятно! У меня голова кругом идёт. А где они сейчас? И где мы? Что это за труба?

– Это вентиляция нижних уровней. Отсюда можно назад в реактор попасть, наши все там. И мы скоро к ним присоединимся. Только вам придётся меня немного подождать. Мне ещё в камеры нужно наведаться.

– В какие камеры?

– Ну где заключённые сидят. Мне оттуда одного человека нужно вывести. Точнее, двух. Или трех.

– Какого человека?

– Моего боевого товарища. Товарища из прошлого. Точнее, совсем не товарища, даже наоборот, но это не имеет значения. Я знаю, вы не хотели, чтобы

я своё прошлое вспоминал, но я не нарочно, так вышло. Я не могу, чтобы он здесь остался, чтобы в шахту. Я быстро, одна нога здесь, другая там. А ещё там где-то врач один сидит, и девчонка, жалкая такая.

Тут в диалоге наступила пауза. Максим Рудольфович смотрел на своего собеседника с живым интересом, словно впервые увидел.

– Так тебе, Вещун, стало девочку жалко? Точнее, не Вещуну стало жалко, а Георгию Зимовцу... Это что-то новое... Ладно, это потом. Значит, ты хочешь их всех под своим плащом вывести. Это можно, это допустим. Но как ты собираешься камеры открывать? С помощью лазера? Сразу скажу – это у тебя не получится, потому что в камере никого в живых не останется.

– Нет, Максим Рудольфович, я не лазером. У меня ключи есть, целая связка. Вот, видите? С ключами очень удачно получилось.

– Ну и дела... Хорошо, иди. Нет, постой. Я здесь сидеть не собираюсь, я тоже с тобой пойду. Я лучше тебя шестой уровень знаю, без меня ты попусту тыркаться будешь.

– Но...

– Никаких «но»!

– Хорошо, идёмте.

15

– Скажите, э-э-э... Моисей, э-э-э... Соломонович, а как всё-таки мы отсюда выйдем?

– Вы имеете в виду – на седьмой уровень?

– Да класть я хотел на этот седьмой уровень! Я имел в виду – вообще отсюда, из этой вашей грёбаной ГЛУБи, наверх, к людям выйдем. Ведь нам так никто и не объяснил. Как устроен этот выход? Где он?

– Разве Вещун вам не сказал? Хотя он, наверное, и сам толком не знает... Хорошо, я объясню. Я планирую выйти отсюда через шахту.

– Как через шахту?! Там же падал! Океан дерьма! Нет, я не...

– Нет, я о другой шахте говорю – о ракетной. Вокруг ГЛУБи установлены последние баллистические ракеты, оставшиеся у нашего руководства. Их берегли и до сих пор берегут, чтобы в самый последний момент нанести самый последний удар. Но ничего этого сделать уже нельзя. Я три года назад, когда ещё пользовался свободой передвижения, инспектировал эти ракеты. И выяснил, что они все протухли. И топливо из них выкачали – кому-то пригодилось. Так что запустить их невозможно. А вот шахты ракетные, ведущие на поверхность, остались. По одной такой шахте я и собираюсь подняться и вас вывести. Правда, есть опасение, что шахты частично засыпаны, надо раскапывать. Так что надо запастись лопатами.

– Вот теперь понятно. Одно неясно – почему нельзя прямо туда идти, к этому подъёму. На х** нам сдались эти три последних уровня?

– Не три, а два. На девятый попасть невозможно. Там пять постов охраны, и даже в вентиляции охрана сидит. Туда, к Вождю, даже министры и Уважаемые Руководители ползком добираются. Нет, туда мы не пойдём. Но ваши товарищи, как я понимаю, хотят увидеть седьмой и восьмой уровни. И правильно хотят – зрелище поучительное. Седьмой вы все увидите своими глазами

– мы туда войдём как представители народа, посланные кем-то из Уважаемыем руководителям для наглядного изучения творчества наших лучших писателей – писателей, хе-хе! – и передовых мыслителей. А восьмой обойдём по служебным переходам. С ним поступим, как с шестым – мы где-нибудь на складе засядем, а Вещун пойдёт в логово врага, будет транслировать. Опасная миссия! Пожалуй, ещё опаснее, чем на шестом, потому что на восьмом охраны больше. Но я уверен, что Вещун справится. Ты ведь справишься, Вещун?

Вожатый молча кивнул и – вот неожиданность! – почему-то улыбнулся.

– Однако хватит разговоров. Вот он, вход на седьмой уровень. Ну, пошли!

...Он сам не знал, почему вдруг его лицевые мускулы совершили это странное движение – растянули уголки рта в стороны, обнажив зубы (замечательные зубы!). Не помнил, чтобы вообще когда-то улыбался, будучи Вещуном Вожатым. Как майор Зимовец – да, любил солёную шутку, хохотал над крепким словом. Но то, прежде, осталось в прошлом, и вспоминать не хотелось. Теперь было другое. Теперь он лишь краем уха слушал объяснения Моисея Соломоновича. Вполуха слышал, не вникал, не думывался – его это теперь не касалось. Не к нему были теперь обращены вопросы, требования, надежды, протесты. Он сбросил с себя этот груз, он больше не отвечал за этих людей. Какое облегчение! Вот и про седьмой уровень не он будет давать пояснения, вести группу. Интересно, а кто поведёт – Борис Николаевич или Моисей Соломонович? Что? Быть того не может! Этот прохиндей, шулер – и во главе группы! Как это странно... Хотя, конечно, он тут свой человек, его все знают...

– Уровень, на который мы вступаем, – вещал академик Лев Робертович, – собрал под своими сводами лучшие умы народа, сливки интеллекта, стуски духовных прозрений. Мыслители! Руководители всех признанных конфессий! Писатели! Все они обитают на первом этаже, на котором мы сейчас находимся. Каких людей вы можете здесь встретить! Пятаков-Щедринский! Воинов! Погибелов! Чепухаева! Их знают все, от...

– Лев, ты не на конференции выступаешь, забыл? – прогудел вполголоса Косолапов. – Фильтруй елей, шерсти базар. А то у широких масс вопросы.

– Да, у меня вопрос. Разве Воинов здесь?

– Здесь, здесь. И не надо меня учить. Да, их знают от мала до велика. Знают как записных лжецов, негодяев, интеллектуальных банкротов, соучастников преступлений режима. Вот их имена, запомните их: Чепухаева! Погибелов! Метелица! Ну и все прочие. Какую грязь они лили с экранов и сейчас продолжают лить, чтобы сохранить своё положение. А настоящий свет разума сиял на нашем, пятом уровне. Но теперь, когда мы все оттуда отрясли прах, светоч угас, караул устал.

– Интересненько вы говорите, – произнесла Анжела Хрящ, шедшая по левую руку от академика. – Прямо в кино снимать можно.

– Значит, на первом этаже писатели, мыслители и попы всякие, – подытожила Настя (она шла по правую руку от нового лидера). – А ещё какие этажи есть?

– Есть ещё один этаж, второй. Здесь, совсем близко к Уважаемым Руководителям, обитают люди, составляющие плоть государственного аппарата: премьер и вице-премьеры, министры, руководители банков, служб и департаментов. В общем, подручные заплочных, ассистенты палачей. Негодяи! Мерзавцы!

– Хорошо говоришь, Лев, – прогудел капитан Буйнов, бодро стучавший ко-

стылями рядом с Настей. – Тебя бы на второй уровень с такими речами запустить – вот бы шороху навел! Мятеж! Революция!

– Напрасно вы так говорите, капитан, – заметил Косолапов. – Второй уровень невосприимчив к разоблачениям и призывам. Его ничто не может разбудить. Эти люди никогда не восстанут.

– Зря вы не верите в народ, – упрямылся Буйнов. – Народу важно не что сказать, а как и кто говорит. Я бы попробовал...

А вот этот диалог с участием Кондратия Буйнова Вещун Перунович слушал уже внимательно. Слушал – и тихо радовался. Даже не радовался, а как бы это сказать? Горел невидимым миру светом, переживал подъём, какого никогда раньше не испытывал. Ведь это он спас капитана. Спас, выручил, защитил. Оглушил охрану, подобрал ключи и вывел Кондратия Буйнова, а заодно Анжелу, и доктора Шенгелия, и Зину (вон она сзади идёт, всё головой вертит, не поймёт, что за люди вокрут, и как ей поступить – то ли за этих заступников держаться, то ли скорее охрану звать, чтобы схватили предателей). Он спас Буйнова, и тем самым загладил прошлое, сквитался и заслужил. Да не в том дело, что сквитался, неважно это! А важно, что в душе радость и горизонты открываются; важно, что они теперь вместе и будут вместе. Сообща пройдут эти последние уровни и поднимутся наверх. Что их там ждёт? Как они – как он, Вещун Вожатый, будет жить, чем заниматься? Может, лекции какие-то будет читать? Ведь он так много видел, столько знает... Но для кого будут эти лекции? Этого Вещун Перунович не мог понять. И майор Зимовец тут был ему не помощник. Рота, стройся!

...Пока Вожатый размышлял о будущем, новый лидер группы решал задачи в настоящем – он объяснялся с начальником охраны майором Ястребухиным.

– Наша группа, – говорил Лев Робертович внушительно, как он один умел, весь свой авторитет вкладывая в произносимые слова, – создана по поручению Максима Эдуардовича с целью изучения лучшими представителями населения передовых идей и разработок наших мыслителей. А также чтобы подготовить выпуск программы «Народный наблюдатель». В её состав включены герои...

– Да, вижу, вижу. Здравия желаю, товарищ капитан!

– ...Учёные, журналисты, дети и артисты. Возглавить группу поручено мне. Так вот, нам бы хотелось, выполняя поручение Максима Эдуардовича, попасть на какую-нибудь конференцию или симпозиум. Чтобы послушать выступления видных писателей и философов, увидеть их, так сказать, в действии. Впитать последние наработки. Может быть, взять у кого-то интервью. Вы не подскажете, сегодня намечены подобные мероприятия?

– Я детально расписание не изучал, но слышал, что в аудитории «Святая Русь» – вот она, кстати, совсем рядом, – пройдёт объединённая конференция всего состава на тему... не помню сейчас тему, мудрёное что-то. А в большом зале после обеда состоится собрание мыслителей «Так победим!». Можете пройти в «Святую Русь», сесть где-нибудь сзади, только ведите себя тихо. Сами понимаете, писатели – люди чуткие, они...

Тут объяснения начальника охраны были прерваны самым неожиданным образом. В глубине коридора послышался топот множества ног, донеслись крики и нечто вроде воя. Звуки нарастали, приближались, и вот из-за угла показались бегущие.

Впереди, опережая остальных на десяток шагов, мчался невысокий человек

в хорошем костюме, при галстукке, с характерной шкиперской бородкой, почему-то с ложкой в руке. Лицо бегущего было перекошено, глаза лезли на лоб, и все же Настя его сразу узнала.

– Да это же Метелица! – воскликнула. – Лектор! Но почему...

Майор Ястребухин был не прочь ответить, проявить осведомлённость, но сейчас не до того было – приближалась толпа, гнавшаяся за лучшим мыслителем ГЛУБи. Толпа эта заполняла коридор во всю ширину, и понятно было, что вставать у неё на пути не следует.

– Сюда вот! Сюда! – вскричали дружно майор Ястребухин и академик Лев Робертович, увлекая всех в ближайшую дверную нишу. – Прижмитесь!

Лучшие представители населения детей и артистов прижались, как было сказано. И охрана тут же притулилась. А мимо них с топотом, гиканьем и визгом пронеслись три или четыре десятка загонщиков. Взгляды иногда выхватывали из толпы бегущих отдельные лица: бритоголового атлета в камуфляже, с бейсбольной битой в руке; пассионарного вида даму бальзаковского круга, вооружённую отвёрткой; троих бородачей, похожих, словно братья (голубоглазые древляне, а может, китай), с кольями. Все они пронеслись, подобно вихрю, скрылись за следующим поворотом.

Люди выбрались из спасительной ниши (там на двери можно было различить сделанную в давние времена надпись фломастером «Семинар “Отечество наше...”» – а остальное стёрлось), вздохнули с облегчением, будто из полыньи выбрались.

– Но это же был Метелица! – настаивала Настя. – Известный лектор! Мы слышали – два дня назад слышали, как он читал...

– Два дня назад читал и выступал, в лучших числился, а теперь вот оно как! – отвечал майор. – Такова изменчивость фортуны. Оно ведь как всё случилось? Утром, за завтраком, раздатчица Марфа, накладывая лектору порцию овсянки, вспомнила, как неделю, что ли, назад она вот так же раздавала овсянку, и лектор Метелица стоял в очереди сразу за академиком Вершининым, и они о чём-то оживлённо беседовали. А через два дня в новостях показывали, как этого академика вместе с советником Соломиным... ну, вы сами видели, что с ними было. Она вспомнила, и её словно током пронзило! «Так вот оно что! – вскричал в ней внутренний голос. – Вот он какой, этот лектор!» И она тут же поделилась своим наблюдением с поварихой Зиной Подчинённой и мойщицей Клавой Черноок. А все знают – на седьмом уровне точно все знают, – что Зина состоит в интимных услугах под капитаном Проклятовым из третьего отдела на шестом, а Клава поставляет сигары «Гавана клуб» (откуда она их берёт – не знаю, честное слово, хотя стараюсь узнать) полковнику Волнистову с того же шестого уровня. И уже к концу завтрака эта новость (не про сигары, а про оживлённый разговор) облетела весь наш уровень, как молния. Ну, естественно, сердца писательских масс загорелись жгучим огнём – и вот вы видели результат.

– Но куда же он бежит? – поинтересовался Лев Робертович. – Ведь тут, как я понимаю, бежать некуда.

– Ну, почему же некуда? – ответил словоохотливый чичероне. – Ведь у нас имеются два этажа, между ними лестницы. Спустился по лестнице – и вот перед тобой какая-то перспектива, ещё двадцать, тридцать секунд, что ли, жизни. А на втором этаже есть библиотека. Там стеллажей тьма-тьмущая,

и шкафов всяких. Можно затаиться между стеллажами или в шкаф попробовать забиться. Народ, который гонится за разоблачённым изменником, такие прятки даже приветствует, потому что так интересней. Потом его, конечно, всё равно найдут, вытащат из норы – ну, или догонят, если просто бегать будет.

– Интересно, а долго они так будут бегать? – спросила Настя.

– Это во многом от бегущего вредителя зависит. Некоторые, особо живучие, по шесть, даже по восемь кругов по этажам наворачивают. Но с Метелицей быстрее кончится. Вес у него лишний, лёгкие не развиты. Вы заметили, как он дышит? А цвет лица? Ставлю пачку сигарет «Друг», что не пройдёт и десяти минут, как всё будет кончено. Кто-нибудь поставит против? Нет? Ну, ладно. При этом хочу заметить, что сразу в шахту вредителя кидать не станут – посадят под замок в часовню святого Иоанна Заступника (она всегда для таких целей используется), а сами пойдут на конференцию. Ведь они же писатели, они не могут просто так расправу учинить, им надо составить обоснование, выразить негодование, послать высшему руководству. Так что я бы вам советовал погулять тут четверть часа, осмотреть памятные места, а потом можно и в «Святую Русь» идти. Как раз к началу успеете.

Керосинка нещадно коптила; за кольцами копоти пламени видно не было. На таком огне не то что кружка – ложка воды не закипит.

– А вот я с тобой сейчас воспитательную беседу проведу, – сказал Михаил Афанасьевич ветхому фитилю, виновнику копоти. – Настоящую беседу, какие на шестом уровне проводят. Если не прекратишь свою подрывную деятельность, я...

И тут случилось удивительное: фитиль будто испугался угрозы, загорелся ярче. Это вышло смешно, и Воинов коротко рассмеялся, будто откашлялся. Когда-то он умел весело, заразительно смеяться. Когда-то, когда была жива Аня, и Сергей, и шумела листва, горела полоса заката, и они с Аней бродили вечером в полях, обсуждали то и это, и жгли весной сухие листья – когда-то, когда текла и переливалась через край, искрилась жизнь, тогда он умел заразительно смеяться, строить планы, одолевая препятствия. В этой жизни было всякое – уродливое, неприятное, отвратительное, страшное – но ровно столько же (а кто сказал, что ровно? кто мерил? может, гораздо больше?) было удивительного, чудесного. И самой удивительной была возможность создавать на белом листе (а позже на экране) образ этой жизни, людей создавать, чтобы говорили, радовались, страдали, мечтали... И он, Михаил Воинов, тогда ещё молодой, полный сил, только осознавший в себе эту способность создавать живое из неживого, строить жизнь на белом листе (позже на экране), всего себя отдавал этой лепке и формовке.

Кажется, у него это неплохо получалось – не хуже, чем у Суходольского, чем даже у Люды Метлицкой. Совсем неплохо получалось, наверно, если его печатали, переводили, приглашали туда и сюда, просили высказать своё мнение о тысяче разных вещей, обо всём на свете. А ещё ему передавали, что там, на самом верху, где принимаются серьёзные решения (строить больницы или, допустим, танковые заводы, развивать цветоводство или, допустим, патриотизм), некоторые его книги тоже читают. Не все, конечно, нет, далеко не все, а преимущественно весёлые, полные юмора, полные иронии и гротеска. Передавали, что Екатерина Матвеевна Выродова (какая женщина! государственный ум!)

весьма изволила смеяться над повестью «Гаденький цветочек». И Игнат Игнатьевич Зубастов (ну, вы знаете Игната Игнатьевича) смеялся два раза, когда референт ему читал отрывки из сборника «Пятый звонок». И даже сам Первый Заместитель Максим Эдуардович, как передавали Воинову, несколько раз улыбнулся – редкий случай. Уродливое и ужасное этих людей в искусстве не привлекало – они этого вокруг достаточно видели, сами умели делать. И прекрасное тоже не прельщало – слишком было чуждо. А вот юмор был в самый раз, юмор заходил. Автор весёлых книг писатель Воинов был приближён и обласкан и купался в лучах. Поэтому, когда наступила Та Самая Минута, когда государственная женщина Выродова, и Зубастов с Патрушевым, и Максим Эдуардович, и тот маленький, злобный, трусоватый, который тогда был Главой – когда они все собрались и решили, что время листьев и закатов, планов и влечений кончилось, и на повестке у нас (у них, то есть) смерть, одна смерть – тогда писатель М. Воинов в числе прочих полезных деятелей был включен в список и получил своё помещение на седьмом уровне ГЛУБи. И его семья своё место получила.

Тогда, в Ту Самую Минуту, это включение в список казалось невиданной удачей. Ведь остальные – достаточно известные, талантливые авторы не были включены и стинули без следа в своих домах, квартирах, погребках – везде, где прятались в Ту Самую Минуту. А Воинов с Аней и Сергеем заняли эту вот комнату с керосинкой, со стенами, выкрашенными масляной краской, с грубо, кое-как сколоченными полками и столами. И это казалось удачей, и виделись какие-то перспективы, и строились планы. Но с того дня прошло девятнадцать лет. Да, он считал, он точно знает – девятнадцать лет и три месяца. И уже тринадцать лет минуло с того дня, когда ему сообщили, что его сын связался с группой каких-то отщепенцев, моральных уродов, и вместе с ними пытался прорваться через один из входов наружу, наверх. Пытался, но встретил твёрдый отпор и получил заряд свинца. И остальные отщепенцы получили. Их с Аней тогда допрашивали в связи с этой бандитской вылазкой: знали или не знали и почему не заметили, не пресекли, не сообщили? Допросили, но не наказали, и жизнь продолжалась – то, что здесь называли жизнью. В тошнеловке всё так же выдавали кашу и мясо, в каптёрке отпускали норму сигарет и спирта, по ящику можно было посмотреть «Ивановых», «Петровых», а позже «Измайловых», в аудиториях «Святая Русь», «Творцы и солдаты» шли диспуты и конференции, а в перерывах между конференциями устраивались народные расправы, и в них можно было поучаствовать. Но самое удивительное (а может, самое ужасное, мерзкое) состояло в том, что присущая ему способность и потребность создавать нечто из ничего, поселять на белом (позже белая бумага кончилась, пошла жёлтая, серая – какую удастся достать) листе живых, страдающих людей никуда не делась, не ушла. Жена ушла (спустя полгода после гибели Серёжи достала где-то крысиного яду, три дня мучилась), а эта способность и потребность никуда не делась. Но теперь она превратилась в обузу, в опасную обузу. Потому что писать то, что требовалось Выродовой, и Зубастову с Патрушевым, и Максиму Эдуардовичу, он не мог, никак не мог. А то, что удавалось создать, никому нельзя было показать. Даже сам факт написания каких-то вещей надо было тщательно скрывать. И он скрывал – создавал тайники в библиотеке (всё равно туда никто не ходит, там не найдут), в Музее Славы, прятал там законченные вещи. Там уже лежали два романа, повесть «Облака», и туда

же должна была отправиться пьеса «Миры», которую он сейчас заканчивал.

Да, писательство было смертельно опасным. Как его роман «Защитники» попал в руки Максима Эдуардовича? Ведь Воинов его вроде бы никому не показывал? Хотя нет, нет! Ведь ты читал его вслух (там же, в библиотеке, месяц назад дело было) академику Вершинину! Но не мог же академик... Нет, он, конечно, передать на восьмой уровень не мог, но мог обронить пару слов своему ученику Метелице, а уже тот... Да, так оно и было, наверняка так всё и вышло! И вот теперь эта записка: «Вам необходимо явиться... Признать ошибки... Дать твёрдое обещание... Только искреннее раскаяние может...» Подписали полковник Волнистов и мыслитель Пятаков-Щедринский, а завизировал Максим Эдуардович. И теперь никуда не денешься, придётся идти. Да, придётся идти...

Аудитория «Святая Русь» была построена в классической университетской форме – трибуна докладчика, стол, сзади две доски и экран, впереди скамьи плавно устремляются вверх, давая присутствующим обзор. Профессор Княжевич, как вошёл в зал, как увидел кафедру, взлетающие вверх скамьи, так сразу в груди горячо стало. Словно к себе на факультет вернулся, высадился на берег родной Итаки. Сколько он в подобных аудиториях слышал, познал, пережил и сколько потом сам донёс до юных умов! На какой-то миг охватило ощущение, что это он сейчас должен взойти на кафедру и поделиться всем, что передумал за последние трое суток, поделиться открытиями и сомнениями, изложить... Тут профессор помотал головой и вслед за Врагом стал взбираться наверх.

Рассчитана аудитория была человек на двести, но сейчас в ней было пусто – собралось человек тридцать, не больше. Да, малоллюдно здесь было, холодно, а ещё грязно: под скамьями и в проходах валялись смятые листы бумаги, пустые бутылки, банки, пластиковые стаканы, шприцы, объедки, тряпки – много всего. Особенно внушительные кучи мусора виднелись возле стен, увешанных портретами государственных и культурных деятелей. По одной стене шли Рюриковичи, Ивановичи, Виссарионовичи и наследовавшие им Владимировичи. На другой можно было увидеть мастеров пера, от Кукольника до Прилепина.

Путешественники ещё рассаживались, разглядывали зал, людей в зале – ведь не каждый день увидишь собрание мастеров слова и мысли – ловили ответные взгляды, почти сплошь кривые, колющие – а меж тем за столом президиума уже воздвигся муж значительного вида, при галстуке и чистой рубашке. Наклонился к микрофону на стойке, сказал ему что-то негромко, ответа не дождался, затем постучал, и снова никак. Тогда председатель (раз первый вылез, то уж, конечно, председатель) развёл руками и обратился к аудитории без помощи технических средств, силой одних голосовых связок. Связки у человека с галстуком кое-какие были, однако всё равно слышно его было плохо: речь заглушали доносившиеся из углов зала чьи-то стоны, рыдания и звон кандалей. Путешественники расслышали следующее:

– Мы собрались в непростой момент... в славную годовщину, накануне великих... Выполняя заветы Вождя, а также Уважаемых... На новом этапе подъёма поделиться сокровенным... откровенно высказать... невзирая на авторитеты, смело бросить... бережно понять, заповедно постичь... наметить пути... Открыть одну страницу, закрыть другую... Слово для доклада предоставляется

известному мастеру слова... мыслителю, показавшему... Тряпицыну Ярослав Игоревичу.

Председатель сел, а известный мыслитель Тряпицын занял кафедру. Неудобно ему там было, за кафедрой – мастер слова был невелик ростом, одна голова торчала над полированной доской с гербом, да виднелся узел галстука, вцепившийся в тощую шею. Однако голос у докладчика оказался звонкий, доносился до самых верхних скамей, и путешественники слышали каждое слово.

– Когда Вождь укажет народу цель, – провозгласил своим звонким голосом Ярослав Игоревич, – когда пахарь проведёт первую борозду, когда воин встанет на защиту пахаря и кузнеца, – что в этот момент должен делать мастер слова? Ответ ясен: он призван очистить духовные истоки и вдохнуть силы в души народа. Воля Вождя сохранила нас в глубинах матери-земли, и мы должны соответствовать своему назначению, быть на высоте нашей великой миссии!

Тут речь докладчика была прервана чьим-то дерзким выкриком. В первом ряду поднялся давешний атлет в камуфляже, возглавлявший погоню за отцепенцем. Сейчас атлет был без биты – возможно, рядом положил.

– Вот ты и прокололся, гнида, – торжествовал атлет. – Вот и вылезла твоя гнилая суть! Мысли вроде наши, а слова-то чужие! «Миссия» у него, понимаешь! А где миссия, там и реформа, и всякая тому подобная хрень! С экрана призываешь бороться за чистоту родного языка, против мусора чужих слов, а сам без них обойтись не можешь!

– После, Малюта Иванович, после выскажетесь! – остановил его порыв председатель. – В прениях по докладу. Продолжайте, Ярослав Игоревич.

– Я продолжаю, – с достоинством произнёс докладчик. – Словечко это у меня случайно вылезло, по ошибке. Ошибка была – и вот её уже нет. И я её не признаю и нипочём не признаю. Признавать ошибки, виниться да каяться – признак слабости. А русский человек не знает слабости. Тем более мастер русского слова не знает! Я знаю вот какие слова: Великое Наследие, заветы Матери-Земли, Родная вера, Предания предков, слава, слава!

Тут выступление Ярослава Игоревича снова было прервано – но совсем с другим настроением прервано. Собравшиеся мастера пера дружно поднялись со своих мест и подхватили здравицу.

– Слава! – кричали. – Семья, традиция, вера! Слава Вождю!

Слышались бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Впрочем, восторг продержался не долго, секунд двадцать, после чего все вновь уселись по местам, и Тряпицын продолжил выступление.

– Вождь и Уважаемые Руководители, – провозгласил он, – поставили перед нами новую задачу: искать путь вглубь, в недра Матери-Земли, создавать десятый уровень. Мы должны поставить себя на высоту этой новой задачи, вдохновить народ. И мы сможем это сделать, потому как русский народ по природе своей – хомяк, ему привычно искать путь вглубь, удобно жить под землёй, в своей норе, рыть новые ходы, хранить вечные ценности, припадать к истокам. А мы, со своей стороны, должны правильно, увлекательно и глубоко описать этот порыв народных масс.

В таком духе докладчик продолжал ещё некоторое время, но потом устал, так что под конец его стало плохо слышно. Тогда перешли к прениям. Сразу же на трибуну поднялся давешний атлет, представленный как известный писатель Малюта Погибелов.

– Вы все свидетели, как этот пидор тут облажался, – заявил он. – В сторону нас хочет увести! Мысли говорит вроде верные, а от шелухи чужих слов избавиться не может. А мы должны избавиться! Если мы мастера слова, то мы первыми должны очистить речь, чтобы она по-русски, правильно звучала. Тут не одну «миссию» надо изгнать, или «инженера», или «конфликт». Надо изгнать и слова-оборотни – по видимости вроде русские, но с глубоко враждебным содержанием. Я такие выражения имею в виду, как «грех», «прощение», «вина», «жалость», «печаль» и им подобные. Но тут надо сделать важное уточнение. Это только враги говорят, что мы сокращаем словарный запас русского языка! Это всё вражеская идея насчёт новояза, первого и второго издания. Мы знаем, откуда здесь ноги растут. И мы решительно заявляем: мы не сужаем наш язык, а наоборот, расширяем! Безгранично расширяем! Уже сейчас я в своём романе «Месиво» ввёл в употребление такие понятия, как «крепкодух», «герооин», «белокооть», «роднобрат», «справопуть» и «верносил». И мои соратники, мастера моей школы идут по тому же пути. Мы из последних боесил будем расширять наш роднослов!

Следом за Погибеловым выступили и другие. Суверен Зверюгин, представленный как мастер пронзительного рассказа, выразил несогласие с определением русского народа как хомяка, сидящего в норе.

– Наш народ – никакой не хомяк! – заявил он. – Наш народ – пещерный житель, давнишний обитатель земных глубин. Оттуда, из самой глубины – да-да, из глубины! – наш народ выносил на поверхность добытые душевные сокровища. Туда же, в недра земли, он уходил в мрачные времена польского и великобританского нашествия. В глубоких пещерах наши предки строили храмы и заводы, преодолевали раздробленность, проводили коллективизацию и боролись с перегибами. И сейчас, создавая десятый уровень, мы продолжаем эти великие традиции!

Писатель Арнольд Барахолкин предложил другое определение народа.

– Наш народ – орёл, простёрший свои могучие крылья над всем миром! – заявил Арнольд. – И он же – великан, одним ударом сокрушающий скалы. А Ярослав его с какой-то мышью сравнивает! Не знает он наших русских людей! Вряд ли кто из присутствующих бывал на втором уровне, где проживает основная масса глубинного народа.

Здесь выступающий сделал небольшую паузу – словно давал возможность откликнуться бывалым очевидцам. Среди путешественников при этом возникло некоторое оживление: Петя поднял руку, а Настя открыла рот. Но Моисей Соломонович с одного края, а капитан Буйнов с другого приняли своевременные меры, и готовые вырваться свидетельства не прозвучали, а выступающий продолжил:

– А я бывал и не раз бывал! Стоял с народом у станков, сидел по вечерам на лавочках, слушал рассказы о легендарных сражениях, о доблестях, о подвигах, о славе...

– Эх-эхэх... – слышался тут путешественникам тягостный вздох со скамьи, расположенной прямо под ними. Там сидел какой-то костлявый старик, блесстёл стёклами очков. Старик как старик, сутулый такой, вековая пыль в глубоких морщинах, как на улицах оставленных людьми городов. Но что-то знакомое почудилось путешественникам в этих застывших чертах.

Участники обсуждения негромкое «эх» не слышали, никак на него не отреа-

гировали. А выступающий Барахолкин услышал, но его этот выпад не смутил.

– Да, о подвигах, о славе, – твёрдо повторил он. – И могу с уверенностью сказать: сколько в нашем народе духа! Какой там порыв! Вот его мы и должны выразить, как выразил я в рассказе «Вождь сказал – Вождь сделал».

И кстати зачитал отрывок из рассказа.

Следом выступил не писатель, а художник Петров, за особые достижения переведённый с четвертого уровня на седьмой. Он рассказал о том, как создавал своё известное полотно «Явление Вождя народу».

Новеллист Коршун Моржихин выступил в защиту некоторых слов, над которыми нависла угроза изгнания.

– Мы не должны рубить огульно, косить всё сплеча, – говорил выступающий. – Потому что некоторые слова, явившиеся издали, привились на нашей почве, обрусели и стали нам родные – не оторвать. Я имею в виду такие понятия, как «оливье», «винегрет», «шансон» и некоторые другие. Ну, куда мы без них денемся? Они стали нашим национальным достоянием. И потом, разве вы не видите в слове «оливье» родные русские корни? Там и Оля, и ли-стья, и ива – всё сплелось. Предлагаю эти слова внести в список неистребимых.

Предложение вызвало оживлённые прения, никто не остался в стороне. Затем выступила романистка Алла Чепухаева, чьё появление на трибуне было встречено аплодисментами. Она теоретическую часть излагать не стала, а вместо этого зачитала отрывок из своего последнего романа «Родная кровь». В отрывке подробно, со знанием дела описывалась любовь героев, Маши и Саши. Душевные влечения там тоже присутствовали, но на заднем плане, а на переднем царил любовь земная, излагаемая со знанием дела, во всех подробностях. Аудитория слушала зачарованно.

Выступали ещё Теребякин, Глеб Визжачих и Дарья Напрасная. После Дарьи повисла пауза – к трибуне никто не спешил. Тогда председатель с укоризной произнёс:

– Ну, что же вы, господин Воинов? Ждать себя заставляете. Знаете ведь, что ваше выступление согласовано. Вот тут у меня бумага, подписанная полковником Волнистым и завизированная самим Максимом Эдуардовичем. Написано, что М. Воинов должен выступить, покаяться и признаться. А устно, в телефонном разговоре, Максим Эдуардович мне так сказал: «Для Воинова это последний шанс». Так чего ждём?

Печальное, сиреневое слово «ждём» в устах председателя внезапно разгорелось, обожгло адским пламенем. Не услышать его было невозможно. И человек на задней скамье, автор тягостного «эх» его слышал. Сполз со скамьи и повлёк усталое тело к трибуне. Вьюга смотрела на него во все глаза. Теперь она знала, кто перед ней. Перед ней был человек, книги которого она читала взахлёб, обсуждала с подругами, с Леонидом, Павлом, передачи с его участием смотрела – пока ещё были такие передачи. Да разве она одна? Его все знали.

Выступающий был высок, сутул, худ невероятно, имел привычку во время выступления размахивать руками и блесстёл стёклами очков, которые иногда снимал, чтобы протереть слезящиеся глаза.

– Первое, что я хочу сказать, – начал очкастый, – это что я согласен со всеми коллегами, кто до меня выступал. Да, наш народ хомяк. И я сам такой же. Всегда норовил зарыться поглубже, отсидеться, отмолчаться. Когда посадки только начались, я ещё пытался открывать рот, какой-то писк издавал. А потом, когда

людям давали чудовищные сроки, когда всё самое дорогое топтали ногами, молчал в тряпочку. Так виновен ли я? Странная постановка вопроса. Ведь если есть вопрос, значит, ясен и ответ. Конечно, виновен! Итак, вопрос о хомяковости и орлиности русского народа ясен. В массе народ – хомяк, а в своих лучших представителях, в вождях – орёл! Просто у каждого своя дорога. Широкие массы зароятся в землю, будут создавать десятый уровень, а наши вожди, подобно орлам, взмоют вверх, расправят крылья. И со словами так же. Зачем употреблять такой чужой термин, как «диалектика», если её легко можно заменить на «боестолкновение»? И насчёт винегрета с шансоном хорошо было замечено – это наше всё. А вот слово «отчаяние» отменить нельзя, потому что в нём скрыты народные чаяния, то есть мечты. Да, всё верно сказали коллеги. Но вот вопрос: зачем мы пишем, если читать некому? Зачем стараться, отбирать слова, если утрачена сама суть нашей работы? Зачем писать, что в Макондо идёт дождь, если уже никто не помнит, где находится Макондо? Это не пустой вопрос, совсем не пустой. Такие слова, как «сострадание» или «жалость», ещё существуют, они реальны, более реальны, чем деньги, годы и километры – тех уже давно нет. Но дружить со словами, пользоваться ими так же опасно, как ночевать в волчьем логове или играть с огнём на сеновале. Ты всегда должен помнить, что пользуешься одним языком – всё равно как одной ложкой – с убийцами, палачами. Говорить на их языке – разве не то же самое, что оправдать их? И тут не поможет умение говорить обо всём вскользь, намёками, дружить с Эзопом, рассказывать сказки, уходить в будущее или в седую древность и так всем голову морочить. Да, я виноват, кругом виноват, и я каюсь перед вами, мои дорогие коллеги, и перед Уважаемыми Руководителями, прошу у них прощения. А чтобы искупить свою вину, даю торжественное обещание немедленно приступить к созданию грандиозной эпопеи, супер-романа о жизни ГЛУБи. Там будет всё: подвиги и предательства, любовь и измена, восхождение и погружение. И вы все там будете! Я приступаю к исполнению своего обещания немедленно, а потому вынужден спешить, извините.

С этими словами выступающий покинул трибуну и деловито направился к двери.

Аудитория при этом проявила некоторую растерянность. Раздавались крики «Разве это признание? Пусть настоящее признание принесёт! Шакал двуличный! А пусть землю ест!» Но слышны были и другие голоса: «Давно бы так! Эпопея, слышал? И мне бы такую надо!»

В этой разногласиице двуличный шакал покинул аудиторию и быстренько потопал прочь – за угол уйти, чтобы не видели. Там, за углом, прислонился к стене (ноги не держали), полез за пазуху, вытащил заветную фляжку, в которой ещё осталось немного, сделал хороший глоток и ещё один. Стало чуть легче. И что теперь? Идти, писать обещанную эпопею? Но ведь они не забудут о его обещании, не оставят в покое. Вызовут к себе, на восьмой, заставят дать отчёт. Что ты будешь говорить? А главное – зачем? Лучше всего было бы употребить способ, о котором он слышал пару лет назад: найти розетку под напряжением, вставить туда металлические штыри – и крепко-крепко за них ухватиться. Но где искать эти штыри? Хватит ли духа за них держаться до самого конца?

– Мы вам поможем! – услышал он чей-то голос.

Поднял глаза – перед ним стояла незнакомая девушка. И не просто незнакомая, а невозможная здесь, на седьмом уровне, похожая на Сольвейг, Жанну, Ан-

ну, Маргариту – на всех разом. А рядом с ней, за ней толпились и другие, столь же странные и невозможные. Вспомнил: мельком видел их там, в аудитории. Тогда же удивился: откуда такие взялись? Но там искать ответ некогда было.

– Мы вас выведем! – продолжала незнакомка. – Пойдёмте с нами!

– Куда? На шестой уровень, что ли? – усмехнулся Михаил Афанасьевич. – К полковнику Волнистову? Или к старшему советнику Висельчуку?

– Нет, гораздо выше. На самый верх, где солнце, где рассвет. Хотите увидеть рассвет?

– Только вы быстрее решайте, – сказал спутник незнакомки, похожий на фавна молодой бородач. – А то нам ещё в часовню святого Заступника надо заглянуть. Вы ведь знаете, где здесь часовня?

16

С замками часовни мастер Теплов справился быстро. А вот вопрос дальнейшей судьбы лектора Метелицы вызвал живое обсуждение. К тому, что против включения мыслителя в группу выскажется Олег, Вьюга была готова (да все были готовы). Но у Угрюмова обнаружился неожиданный союзник.

– Нет, мы не можем взять его с собой! – заявил Моисей Соломонович. – Подъём может оказаться трудным. Я ведь только тот отрезок видел, где сама ракета стоит. А выше этого отрезка должна тянуться шахта в километр глубины. В каком она состоянии, я не знаю. Может, её вообще не успели прокопать. По бумагам она числится, а в реальности...

– Я готов копать! – прервал математика лектор. – Я всё равно пойду!

– Как это «не успели прокопать»? – воскликнул академик Павлик. – Вы меня не предупреждали!

– Поздно спохватился, Лев, – заметил Косолапов. – Теперь у тебя остался выбор только между двумя шахтами: той, про которую Моисей говорит, и другой, тебе хорошо известной.

– Но почему мы не можем лектора взять? – спросил Враг. – Пускай там трудно, но он человек, кажется, выносливый...

– Никакой он не выносливый, он дряблый, ныть начнёт. А главное – я не знаю, сколько времени займёт подъём. Еды может на всех не хватить.

– Вот именно! Нам самим жрать нечего, а вы ещё дармоедов набираете!

– Вы меня не предупреждали!

– У меня есть еда! – воскликнул лектор. – Есть две банки тушёнки! Я делаю запасы!

Моисей Соломонович и Олег переглянулись, и лица обоих сразу подобрели.

– Давно бы так! – высказался Угрюмов. – Пусть внесёт подъёмные.

– Вступительный взнос – это хорошо, – сказал Лернер. – Но две банки – это мало, две банки не спасут этого... этого...

– У меня ещё есть! – заторопился Метелица. – Я сделал схрон в библиотеке. Там сухари, стущёнка, шоколад...

– Шоколад! – воскликнула Вера. – Давайте возьмём шоколад! А дядю брать не будем, он мне не нравится.

– Нет, так нельзя, – вступилась Таня. – Дядя прилагается к шоколаду. Это договор, понимаешь?

– А ещё у меня там «Макаров» лежит, – добавил Метелица.
 – Что же ты сразу не сказал? – вскинулся Буйнов. – Это будет нужнее тушёнки!
 – Слушайте, мне ведь тоже надо в библиотеку! – внезапно вспомнил Воинов.
 – У меня там рукописи спрятаны! А ещё в Музее Славы! Их забрать надо!

Вопрос был решён. В мрачные дебри седьмого уровня была направлена экспедиция, призванная пополнить запасы группы тушёнкой, стущёнкой, шоколадом, оружием и рукописями двух романов. И, утяжелив рюкзаки, путешественники покинули уровень мыслителей и мастеров слова и пошли искать обещанное Моисеем Соломоновичем убежище, откуда могли наблюдать странствие Вожатого по последнему доступному для посещения, восьмому уровню.

17

Катя положила перед собой листок белой, приятной на ощупь бумаги, приготовила всё нужное для работы – стопку заточенных карандашей, ластик, точилку (так её дед учил – прежде чем приступить к любой работе, сначала нужно всё приготовить) – и задумалась. Как же выглядит этот зверь, этот заяц, которого она решила нарисовать? Когда-то, когда мама с ней занималась, не пропадала целыми днями на работе, она показывала Кате книжки с картинками, где были разные живые существа. И даже мультики показывала по телевизору. Но ведь это давно было. Маму она теперь редко видит, книжки куда-то делись, и по телевизору теперь всё только взрослое показывают, в основном ратные подвиги. Так что о зайце у Кати остались только смутные представления. Единственное, что твёрдо запомнила, – это длинные уши. Да, уши должны быть такие длиннющие, смешные. Ну-ка...

Она принялась за работу. Нарисовала уши, большие чёрные глаза, усы... А хвост? Наверное, хвост должен быть такой же длинный, как и уши. Одно должно соответствовать другому. И потом, длинный хвост помогает лазить по деревьям. А зайцы (это она запомнила) любили лазить по деревьям и лакомиться там капустой. И она нарисовала длинный хвост с кисточкой на конце и раскрасила его в оранжевый цвет. А тело – в голубой. Получился очень симпатичный зверёк. Теперь осталось дать ему в лапы пучок капусты...

– И кто это у тебя получился? – услышала она голос деда Андрея Александровича.

– Не видишь, что ли? – ответила Катя. – Заяц это.

Дед Андрей не ответил – не похвалил, как обычно делал, ничего не сказал. И смотрел как-то странно, и Катя решила дать необходимые пояснения.

– Ты мне сам говорил, зачем я всё танки и самолёты рисую, а ещё подземелья, рептилоидов разных. Вот я и решила живое рисовать. Вот тут у меня заяц, ещё будет черепаха, слон, кошка. А вокруг лес. Лес каким цветом рисовать?

– Зелёным, – ответил Андрей Александрович. – Лес, Катя – он зелёный.

Сказал – и замолчал. Генерал-полковник Стародубов не знал, что ещё сказать внучке. Указать на ошибку, на зайца, больше похожего на какую-то небывалую обезьяну с длинными ушами, он не решился. Неизвестно, как Катя к такому замечанию отнесётся. Она девочка своенравная, склонная к резким поступкам. Может рисунок порвать и ещё клочки ногами растоптать, карандаши сломать, после чего забиться в угол и сидеть там целые сутки. Ласки ей не хва-

тает, вот что. Ласки, любви, женского окружения. А откуда взяться женскому окружению, если невестка Лида, мать Кати, целые дни проводит у себя в студии «Подвиг разведчика» на четвертом уровне, снимает сериалы, а ещё ведёт шоу «Встанем, родные!» – в общем, горит на работе. Мама горит на работе, бабушки Иры, жены Андрея Александровича, давно в живых нет, как и Володи, отца Кати, сына генерал-полковника Стародубова, который... Нет, не стоило вспоминать о Володе – вот опять, лишь только вспомнил, сразу сердце сжала железная рукавица. Погиб сын, давно погиб, семь лет уже минуло; и что обидно – обидней всего, больнее всего – нелепо погиб, умирняя глупую пьяную заваруху в Первом полку рецидива. Если бы сын в бою погиб, защищая родину от нацистов, генерал-полковник бы не так переживал. Тогда он мог бы поместить сына в пантеон славы в своём сердце, и возлагать цветы к памятной дате, и устраивать салют. А так... так получалось чёрти что, просто горе, и никакой славы. И вспоминается не к месту. Ведь он вовсе не о сыне думал, а о внучке, вот об этой Кате, которой не хватает тепла, общения – в общем, детства не хватает. Хотя, казалось бы, какого ещё искать тепла у них, на восьмом, где в каждом углу генераторы стоят, жаркий самум по коридорам гонят? (а всё равно в углах лёд лежит, и сквозняки тянут). Хотя тут, с Катей, конечно, идёт речь о другом, совсем другом тепле.

– Дед, а почему мне нельзя с другими детьми учиться? – вдруг спросила. – Учиться, играть...

– Почему же тебе нельзя? – опешил генерал-полковник. – Тебе всё можно. И ты ведь учишься.

– Это не считается! Нас в классе всего трое, и я одна девочка, и двое мальчишек противных, Петька Лазорко и Сашка Зубастов. Они со мной не играют, и я с ними не хочу. Надутые такие, злые! А я по телеку видела, где-то классы большие, и там девочки, девочки – куча девочек. У них так весело!

– Но туда высоко подниматься надо, – объяснил Андрей Александрович. – Очень высоко, сорок этажей. А лифт не работает.

– Ничего, у меня ноги крепкие, молодые, я добегу! Мама ведь ходит к себе на четвертый, всё время жалуется, что шесть этажей пешком пёхать надо, а всё равно пёхает. Почему я не смогу?

– Сможешь, наверно... – бормотал генерал-полковник.

(Хотя ножки у тебя вовсе не крепкие – слабые, кривые ноги у девочки и не растут; надо бы её академику показать, чтобы провёл курс на своей чудо-установке.)

– Но ты знаешь... надо сказать, что там, на втором уровне, не так уж весело...

– Но ведь показывают!

– Да, по телевизору показывают, но... в жизни, понимаешь, бывает иначе, чем в телевизоре...

– А я всё равно хочу! И мультики хочу про зайцев! А Снежана Владимировна нам только про войну показывает.

– Хорошо, я скажу Борису, адъютанту, чтобы он поискал нужное кино.

– А девочек? Чтобы играть?

– Хорошо, будут тебе девочки, – обещал генерал-полковник. – А пока ты можешь нарисовать, допустим, лису. Лису рисовать проще, чем зайца. Лиса – она на мышку похожа, только крупнее, и хвост пушистый, и оранжевая. Сможешь такую нарисовать?

– Попробую. А ты поможешь?

– Нет, извини. Мне идти надо.

– Я знаю. Долг зовёт. Ладно, я одна попробую.

Генерал-полковник потрепал внучку по голове и прошёл в кабинет – надеть парадный мундир с орденами, лаковые туфли. Предстояло идти на важное совещание, посвящённое – вот совпадение! – как раз судьбе второго уровня. И не только второго – дальнейшая участь всей ГЛУБи должна была решиться. Уровень мероприятия определялся тем, что ожидалось присутствие Главы государства, самого товарища Твердогрызова, позывной Свинец. «Надо будет про детей сказать, – размышлял Андрей Александрович. – Что дети нужны, детей надо перевести сюда. Обязательно надо сказать».

Он застегнул мундир, поправил перед зеркалом галстук. Тут вдруг голова закружилась, пришлось опереться обеими руками о стену, закрыть глаза. Тут же перед внутренним взором возникла картина, которая в последнее время мучила по ночам: заснеженное поле, из-под снега торчат мёртвые, мёрзлые тела. В основном мужики, но вот тут женщина молодая, длинные волосы по снегу разметались, а тут дети, трое или четверо. Он знал, откуда это видение: поле под Ногинском, подавление Первого московского мятежа. Много тогда народу положили. Правда, в других боестолкновениях, случалось, клали ещё больше. Но в памяти всплывала почему-то именно эта картина. И тошно так становилось, мочи нет. Да, надо ему тоже, не откладывая, записаться на приём к академику. Вот такие недуги, связанные с плохими снами, кошмарами, академик просто замечательно лечит. Да, сразу после совещания надо позвонить и записаться.

Головокружение прошло. Генерал-полковник накинул щёгольскую шинель с меховым воротником и вышел в ледяной, продуваемый Арктикой коридор. При этом произошло удивительное явление: дверь при его приближении услужливо отворилась сама и постояла, пропуская генерал-полковника. Словно адъютант Борис тут был, только невидимый. Эта мысль позабавила Андрея Александровича, он усмехнулся.

Да знала она, знала, как выглядит! Когда-то была стройная, как молодая берёзка, и такая же тугая, ядрёная, бёдра крепкие, груди упругие, губы... ну, и губы такие, как надо. Всё было такое, как надо, все части тела цвели и манили, улыбка была как песня, а глаза... глаза тоже, в общем, обещали. Бёдра цвели, груди манили, и она носила всё такое короткое (в меру, конечно, ведь она руководящая, идейная женщина), обтягивающее, и, проходя мимо любого зеркала, мимо любой поверхности, способной отражать, обязательно оглядывалась – как выглядит? Выглядела отлично.

А теперь что? Всё крепкое ослабело, упругое обвисло, улыбка, если вдруг случалась, выглядела глупо, как «ку-ку», а про сад наслаждений, скрытый в тенистой долине, даже думать не хотелось. И она в какой-то момент, а точнее, шесть лет назад, когда Павел Андреевич Выродов, почитаемый супруг и выдающийся деятель, окончательно впал в маразм, переселившись в тихую палату на третьем уровне – она тогда решила, что её женское счастье тоже кончилось, пора оставить пустое, суетное, сосредоточиться на выполнении государственных задач (тем более Глава её тогда выделял и ставил в пример), отвлекаясь лишь на СПА-салон и установку УПОР. И несколько месяцев (полгода, пожалуй), прожила вот так, сосредоточившись. Но потом однажды возле храма

Николы (на Троицу дело было, присутствие обязательно) ей попался на глаза тот до невозможности стройный (кажется, Артём), прекрасный, с таким чудесным пушком на подбородке – и вдруг что-то проснулось в крови, вспыхнуло, обожгло – и женское счастье вернулось, хотя и в несколько перекошенном виде. Правда, тот стройный, прекрасный, с крепкими ягодичками оказался болтуном и негодяем, пришлось расстаться, просить знакомого полковника, чтобы дурака убрали – но ведь на этом болтуне (Игорь, кажется?) свет клином не сошёлся, в Вооружённых Силах, а также на четвёртом, среди певцов и танцоров, можно было найти и других, столь же стройных, с крепкими яйцами и хорошей, доброй улыбкой. И она стала находить.

Вот и этот Георгий, с восхитительным жезлом, отзывчивым на любое прикосновение, с крепкими руками, чуткими пальцами, этот немного глуповатый (и хорошо!), но преданный, был ею найден на первом уровне, приближен, обласкан, и стал источником радости, неиссякающим источником жгучего наслаждения. Наслаждение было такое же, как раньше, во времена молодости и надежд, и это было главное. Надежды ушли, обнаружили свою пустоту, а наслаждение – вот оно, никуда не делось, надёжное, как её положение в круту Руководителей, как хорошо смазанный автомат. Врут учёные составители словарей, что «надежда» и «надёжный» – слова одного корня. Нет, корни у них разные, сходство чисто внешнее. И её корень – вот он, перед ней торчит.

Все эти мысли пролетели, как ледяной коридорный сквозняк (никак не удаётся от этой гадости избавиться), и исчезли, когда Георгий предпринял последнее мощное усилие и выбросил, исторг в недра её тела свою живительную влагу. Надежду Матвеевну (какая тут Матвеевна? Наденьку, юную Наденьку!) обдало жаром, окатило волной, и некоторое время она плавала в этой блаженной волне. Мимоходом, на заднем плане прошла испуганная мысль «а вдруг в этот раз сработает? а вдруг ребёнок?». Прошла и исчезла. Какой ещё ребёнок, какие дети? Она всегда терпеть не могла детей, потому Иона Виссарионович и поручил ей заведовать всей системой воспитания и образования. И она заведовала этим сектором уже лет тридцать, что называется, без гнева и пристрастия. Ведь именно при таком отношении руководителя к объекту руководства и достигаются наилучшие результаты. Дети в целом как объект её не слишком раздражали. Она лишь не могла терпеть отдельных детей, которые всегда были перед глазами – вроде этой кривляки Кати, внучки генерал-полковника Стародубова, или мальчишек (как звать, не помню и помнить не хочу), отпрысков Ростислава Богдановича и Игната Игнатьевича.

Пустая мысль «дети» прошла и исчезла, зато явилась другая – о совещании на высшем уровне с участием Главы. Сколько там осталось до начала? Ой, никак меньше часа. Надо спешить! Ведь Иона Виссарионович всегда точен, никогда не опаздывает (ну, на полчаса, на час задержится, это уж традиция так велит), так что к назначенному сроку ты должна сидеть на своём позолоченном кресле, готовая к отправлению государственных дел.

И Надежда Матвеевна прогнала преданного Георгия, вручив дуралею на прощание пачку талонов и заранее заготовленный подарок – золотой портсигар, оставшийся от покойного Павла Андреевича. Прогнала милого дуралея, а сама отправилась в душ, а оттуда в гардеробную. На такое мероприятие, как сегодня, надо было одеться... ну, особым образом одеться.

Дверь красного дерева, с золотыми орлами на филёнках, открылась с лёгким скрипом, и вышли три десятка бойцов Службы Личной Охраны – высокие, крепкие парни в чёрной форме, в чёрных же с золотом масках, без оружия. Их действия были отработаны до автоматизма, каждый знал своё место. Двадцать бойцов окружили зал по периметру, встали вдоль стен, десять остались охранять кресло Главы. Тут же зашуршали по паркету подошвы туфель, застучали отодвигаемые стулья – участники совещания дружно встали. Стояли неподвижно, склонив головы – ждали. С высоких стен (зал заседаний правительства был самым высоким помещением во всей ГЛУБи) на них смотрели строгие лики Властителей: по одной стене шли Рюриковичи и русские святые, по другой – Виссарионовичи и Владимировичи.

Так прошло пять минут, потом ещё пять или шесть – кто будет считать? Потом послышались шаги, и вышел Сам. Надежда Матвеевна, всё так же наклонив голову, смотрела на Главу с восторгом. Какой мужчина! Всегда подтянут, бодр, энергичен, Щёки румяные, глаза сверкают, движения уверенные. И это в таком возрасте! Кто же должен руководить страной, руководить всей ГЛУБью, как не он?

Бодрый, румяный, уверенный Глава Иона Твердогрызов занял место в кресле, поёрзал, устраиваясь, сказал негромко:

– Прошу садиться. Итак, продолжим. На прошлом заседании мы начали обсуждать важный вопрос... очень непростой вопрос начали, который нами был сформулирован как... Игнат Игнатьевич, напомните, как звучал вопрос.

Сутулый, обрюзгший, отвисшими щеками и общим очерком лица похожий на старого бульдога глава Правительства Игнат Зубастов развернул папку с докладом, произнёс глухо:

– Тема совещания была нами сформулирована как «О некоторых вопросах улучшения снабжения населения и рационализации структуры». Вниманию собравшихся было предложено социально-экономическое обоснование необходимости срочного сокращения численности населения ГЛУБи. Среди причин, по которым...

– Причины не надо, причины мы знаем, – прервал Глава. – Каждый день о них говорим: сольерка, подтирка, вода, мука и так далее. Но в прошлый раз мы наконец дальше продвинулись, дошли до численных показателей. Вот вы эти показатели напомните. Мы их ещё обговорим и дальше пойдём.

Игнат Зубастов перевернул несколько страниц лежавшего перед ним текста, напомнил:

– В прошлый раз мы остановились на том, что численность населения на данный момент составляет 79 тысяч 346 единиц. Данные эти достоверные, по этим данным снабжение идёт.

Тут руководителя Правительства снова прервали. На этот раз это сделал директор Службы Государственной Безопасности Олег Коршунов.

– Должен уточнить, что данные недостоверные, – заявил он. – У меня ещё в прошлый раз возникли подозрения, и я привлёк людей, проверил. И что получилось? Если данные достоверные, почему мои сотрудники постоянно ловят спекулянтов, которые излишками торгуют? Откуда излишки? Значит, численность завышена! А насколько завышена, никто не знает.

Игнат Зубастов хотел возразить, но вначале оглянулся на Главу. Иона Виссарионович сидел, сморщившись, как от изжоги. Нет, при таком состоянии Главы возражать, затевать полемику не стоило.

Меж тем Глава заглянул в лежавшую перед ним бумажку (интересно, от кого эта записка – от кого-то из своих, из Руководителей, или она с шестого уровня?), затем поднял на собравшихся когда-то синие, а теперь выцветшие до белизны сморщенные глаза, произнёс:

– Да, тут есть неясность. Но пока оставим этот вопрос. Перейдём к главному: сколько именно единиц вы предлагаете сократить?

Обвисшие щеки докладчика пошли пятнами, что сделало его похожим не на бульдога, а скорее на рыбу с морских глубин.

– Тут имеются расхождения, Иона Виссарионович, – признался он. – Максим Эдуардович считает, что можно ограничиться для начала в 60 процентов от имеющейся численности, причём в три этапа, а привлечённый нами полковник Волнистов настаивает, что надо больше, 80 процентов надо, и сразу.

– Это от всех уровней или только от второго?

– В основном от второго, поскольку там основное число едоков. Если точно, там 81 процент всего населения.

– 81 процент, допустим. Теперь давайте считать. Значит, если как Максим Эдуардович предлагает, то планируется сократить 48 тысяч, а если как Волнистов, то 64. Я правильно сосчитал? Ну-ка, проверьте.

Председатель Правительства извлёк откуда-то калькулятор, застучал по кнопкам. И многие из участников тоже застучали.

– Вы правильно сосчитали, Иона Виссарионович.

– Сам знаю, что правильно, мозги работают. Но ведь это много, Игнат! Это чёртова прорва народу! Ты только представь эти 48 тысяч. Я уж не говорю про 64.

Ледяной вихрь прошёл по залу; начался откуда-то из угла, с самого пола, а затем, усиливаясь, поднялся выше, зашевелил бумагами на столе, покрыл инеем текст доклада. Я чувствовал его морозное дыхание даже у себя под плащом. И тени чёрные прошли в вихре.

– Вот это и останавливает, Иона Виссарионович! Это и смущает! Мы с таким сокращением ещё не сталкивались. Мы в первые годы проводили оптимизацию, сокращали определённый контингент – ну, вы помните. Но в таком масштабе... Как такое массовое проводить? Нужно определить порядок... И потом, есть такой момент, что с живыми проще, ими управлять можно...

– Что ты мне эти свои слюни жуёшь? Смущает его, видите ли! А меня не смущает, что ли? Я с этими людьми Перекоп оборонял, в ГЛУБь спускался, самые трудные годы с ними пережил! А ты мне тут жалуешься. Нам нельзя жаловаться, на нас лежит тяжёлое бремя принятия трудных государственных решений!

Морозный смерч обогнул зал, закружился над центром стола, разбросал и тут же приморозил лежавшую в центре стопку чистой бумаги, исчез внезапно.

– В общем, я утверждаю намеченную к сокращению численность в 48 тысяч единиц. Про 64 тысячи – это полковник погорячился, это нам не подойдёт. Теперь надо определить порядок сокращения. Какие именно группы будем сокращать? С кого начнём? Как будет проходить сам процесс? По этим вопросам обещал подготовить предложения Максим Эдуардович. Ты как, Максим, готов представить?

– Да, я готов, – отвечал секретарь Совета Безопасности Максим Бурилкин.

В руководящих кругах, на трёх высших уровнях, да и в научном, в творческом сообществе Максим Эдуардович был известен как покровитель искусств и ре-

мёсел. При нём, с его помощью то и дело создавались различные творческие группы, разрабатывались проекты. Телевизионщики донимали его просьбами о комментарии («Хоть пару слов, Максим Эдуардович!»), хотели знать его мнение буквально обо всём. И он редко отказывал, не скрывал свою точку зрения. А вот сокровенное своё, сущность свою скрывал и успешно скрывал. И вот теперь, на заседании, директор СГБ Олег Коршунов слушал, что говорит Бурилкин, а сам вглядывался в него, в очередной раз пытаясь разгадать, что там, внутри. Где его слабое место? Он знал слабые места всех, сидящих за этим столом, включая Главу, а вот этого человека – не знал. И это его беспокоило.

– Сокращение предлагается проводить по группам, – излагал свои наработки Максим Эдуардович. – Весь корпус подлежащих сокращению планируется разбить на тридцать групп. В первую должны войти открытые пораженцы, то есть лица, постоянно высказывающие недовольство, негативное отношение к ГЛУБи. У Олега Борисовича, как мне известно, имеются списки таких лиц.

– Да, мы ведём список, – подтвердил директор СГБ. – 1814 человек значится. – Далее следует группа лиц, уклонившихся от участия в акции «Помоги фронту, одень солдата», – продолжал Максим Эдуардович. – Они также все зафиксированы, их тоже около двух тысяч. Затем идут те, кто регулярно пропускает выпуски новостей. Другие передачи смотрят, а новости пропускают. Этот список, как я знаю, сейчас составляется. Затем идут несколько групп, так сказать, бытовых: те, кто часто конфликтует, склонные к воровству, излишне молчаливые и, наоборот, излишне говорливые.

– А чем говорливые провинились? – удивилась Надежда Матвеевна. – Я сама люблю высказаться по волнующим вопросам. Если у человека содержание высказываний не противоречит...

– Зачастую как раз противоречит, – объяснил секретарь Совбеза. – И в любом случае создаёт излишнее напряжение. Но дело даже не в этом. Может быть, лицо, постоянно затевающее разговоры, и не высказывает ничего враждебного. Для нас в данном случае важно, что эти лица имеют определённый признак, по которому их можно выделить из общей массы. Нам необходимо разделить весь контингент сокращаемых на группы, понимаете? Вопрос о вине здесь не стоит. У меня, например, есть такие группы, как «Замкнутые», «Много ходят», «Отказывают в близости», «Излишне тучные» и другие подобные. В результате весь корпус оказывается поделён на более или менее равные группы. Это потом уже встанет задача обосновать необходимость сокращения каждой из них. Пока важно всех разделить. Понимаете?

В этот момент каменное лицо директора СГБ Олега Борисовича Коршунова слегка вздрогнуло. Кто не присматривался к этому непроницаемому лицу пристально (а кто же будет к такому человеку присматриваться?), тот и не заметил. Выглядело так, словно кто-то изнутри постучался в каменную стену Сезама, и та чуть шевельнулась. Шевельнулась – и тут же снова окаменела. В эту секунду директор СГБ вдруг понял внутреннюю суть секретаря СБ. «Задачи ты любишь решать, вот что, – думал Олег Борисович. – Самые разные задачи, и чем сложнее, тем лучше. Потому и проекты всякие создаёшь, и театр при себе держишь – это у тебя тоже задачи. Ты умнее нас, остальных, вот в чём фишка. И ты это скрываешь, потому что знаешь, как это опасно – быть умнее других. Надо будет донести эту мысль до Ионы Виссарионовича...»

– Таким образом, сокращение первых трёх групп можно начинать уже в бли-

жайшие дни, – говорил меж тем опасный умом секретарь СБ. – Необходимо начинать обработку населения, донести до каждого необходимость и желательность сокращения. К этой кампании нужно привлечь лучшие творческие силы наших телевизионщиков. Считаю целесообразным обещать сокращаемым кремацию, а перед процедурой раздавать спирт. Ну, и исполнителей также необходимо готовить. Там тоже нужен спирт, конфеты, премиальные всякие... У меня всё.

– Хорошо, очень хорошо, – похвалил докладчика Глава. – Тут у тебя всё хорошо проработано. Про кремацию безусловно одобряю. То есть чтобы обещать. А ещё можно портреты лучших сокращаемых помещать на Доску почёта. Ну и конфеты, конечно, ты это всё учти у себя, Игнат. Но остаётся один важный вопрос нерешённый: как это сокращение осуществлять? У Максима об этом не сказано, мы ему такую задачу не ставили. Тут снова к тебе вопрос, Игнат. Ты что предлагаешь – бросать?

Брылястое лицо обитателя морских глубин налилось кровью, голос сел, стал похожим на хрип.

– Нет, Иона Виссарионович, бросать не получится, – прохрипел глава Правительства. – Мы с товарищами с шестого проводили репетиции в порядке подготовки. На третьем уровне репетировали. Брали с третьего безнадёжно больных, лежачих, психических, две группы по сто единиц, и бросали. Так среди исполнителей, солдат то есть, наблюдались расстройства, возникали эксцессы. А в случае повышения массовости процессы эксцессов будут расти по экспоненте, это нам учёные подсчитали, профессор Бесхребетный подсчитал. И потом, в таком варианте неизбежно просочатся слухи, возможна паника. И к тому же, вы ведь недавно приняли решение о строительстве десятого уровня. Всё там должно произойти, на десятом. А там бросать невозможно.

– Хорошо, пускай на десятом. Но если не бросать, тогда что с ними делать? Тогда получается, что надо стрелять. Это было бы привычней, проще, с исполнителями вопрос можно решить. Может, так?

– Решительно возражаю! – послышался командирский голос генерал-полковника Стародубова. – Ведь тут потребуется 48 тысяч патронов, верно? А 48 тысяч патронов – это целый вагон! На практике больше уйдёт, в таких случаях всегда больше требуется. Так мы последние боезапасы исчерпаем. А потом что? Потом чем обороняться?

– От кого обороняться-то? – пробурчал кто-то, не поднимая головы.

В другой момент Иона Твердогрызов обязательно бы выяснил, кто допустил эту ядовитую реплику, но сейчас было не до того, сейчас он не мог отвлекаться.

– Значит, ты возражаешь, Андрей Александрович? – спросил.

– Категорически возражаю! Патроны беречь надо! А ещё есть вопрос по составу подлежащих сокращению.

– Какой у тебя вопрос, Андрей Александрович?

– О детях вопрос. У Максима Эдуардовича дети в отдельную группу не выделены. Получается, что их вместе с родителями должны отправить. Это, я считаю, неправильно. Их надо отделить, дети должны остаться. Некоторых сюда переселить, на восьмой...

– Зачем их нужно отделять? – не согласилась Надежда Матвеевна. – Если детей отделять от общей массы, сразу куча проблем. Воспитатели, учителя, кормление, обучение... Дети – всегда помеха и обуза, а в наших условиях –

тем более. Тем более нельзя сюда переселять. Тут тогда такое начнётся...

– Может, и обуза, но в них наше будущее, – не соглашался генерал-полковник. – Откуда я новых солдат возьму?

– Да, солдаты – это конечно, какое-то количество мальчиков нужно оставить. Но девочки зачем?

– Не отвлекаться! – раздался окрик Главы. – Мы ещё главный вопрос не решили, а вы на мелочи отвлекаетесь. Итак, ставлю на обсуждение главный вопрос: как проводить сокращение? Бросать нельзя, против стрелкового оружия тоже есть возражения. Тогда как?

– Может, газом? – высказалась Надежда Матвеевна.

– Придумала тоже! – раздался голос с другого конца стола (кажется, Колесова). – Да мы все тут потравимся! В условиях подземелья нельзя!

– Это верно. А если вешать?

– Экссессы будут, как от бросания, даже хуже.

– Тогда, может, использовать силу тока? Я слышал, на шестом уровне используют. Если пропустить сильный ток...

– Да, так можно, – согласился Коршунов (высказывался, как человек знающий). – Но тогда потребуется слаженная работа всех генераторов. А это означает большой расход солярки.

– Но тогда... Может, их всех наружу отправить? Сказать, что никакой радиации нет, радиация кончилась, что там трава, цветы, птицы поют...

– Это кто сказал?! – вскинулся Глава. – Ты, Колесов?

– Нет, Иона Виссарионович, это не я! – вскричал испуганный руководитель Минцифры. – Это Погибелов высказался! А я молчал!

– Чтобы я больше таких предложений не слышал! – заявил Глава и глазами сверкнул. – Чтобы слова такого, «наружу», не было! Мы все должны ясно сознавать: назад дороги нет. Может, там и правда радиация кончилась, за двадцать лет могла кончиться. Но в таком случае ещё хуже! В таком случае там натовцы ждут, либерасты, «азовцы». А вы предлагаете к ним наших людей отправить! Это такое предложение... я даже не знаю, с чем сравнить. Тут у нас некоторое время назад уже звучали такие предложения – помните, что с авторами стало? Так что ты смотри, Погибелов!

– Иона Виссарионыч, да я только...

– Хватит! С этой темой закончили! Не только не выгонять наружу – наоборот, никого не выпускать, все ходы-выходы заварить! Я уже дал соответствующее указание. И шахты ракетные приказал заварить. Всё равно мы ракеты запустить не сможем, это мне докладывали. А что касается способа сокращения, я принимаю следующее решение. Прекратить разговоры! Слушайте моё решение.

В зале наступила тишина, все взгляды устремились на Главу.

– Решение простое, вот сейчас в голову пришло, – сказал Иона Виссарионович. – Надо использовать холодное оружие! Штык-нож использовать, топор, может быть, даже кувалду. Такие примеры были, я слышал. И у нас были, и в дружественных странах. И всё успешно прошло. А чтобы избежать эксцессов, надо выявить среди военнослужащих таких, которые склонны к подобным действиям. Весь процесс проводить на новом десятом уровне. Сокращать группами, как предложил Максим Эдуардович, и тут же прикапывать. И можно следующую группу заводить. Ты меня понимаешь, Игнат? Ты остаёшься основ-

ным ответственным за всю операцию. Это и к тебе вопрос, Андрей Александрович. Готовь исполнителей, разработаешь премиальные, конфеты, всё такое...

– И про кремацию не забыть, – напомнил секретарь Совбеза.

– Верно, верно! Шоколад обещать, кремацию, спирт...

Я в первый раз видел его так близко. В ящике, конечно, видел (в былые годы – каждый день видел), а вживую – впервые. И, видя Главу вот так, вблизи, я вдруг отчётливо осознал, какая же это гадина, какой мелкий, недалёкий, при этом злой и злопамятный человечек. Я сам человек плохой, паршивая овца в стаде (правду Буйнов говорил), но Иона Твердогрызов со мной не сравнится. Слушая, как он рассуждает о планируемом сокращении (48 тысяч человек!), я вдруг сообразил, что могу этому помешать. Охрана меня не видит, охрана не заметит. Один удар разрядом – и готово.

Но... готово ли? Я несколько раз применял своё оружие, которым меня наделили мои создатели, и ни разу не успел проверить результаты. Может ли мой разряд убить или только оглушить? А ведь когда я применю разряд, щит перестанет действовать, и тогда... Смогут ли мои товарищи найти дорогу наверх без меня? А ведь я обещал их всех вывести! Без меня они... (да прекрасно они без тебя справятся, их ведь не ты должен вести, а Моисей Соломонович). Без меня они пропадут...

– Ну вот, главное решили, остались детали. Ты, Игнат, вместе с Максимом готовь списки на сокращение, Погибелов с Колесовым пусть составят ведомости на шоколад и конфеты, а Андрей Александрович исполнителей будет готовить.

– Я бы о детях хотел напомнить...

– Да, Игнат, ты это пожелание учти. Действительно, некоторое количество детей нужно сохранить. В них наше будущее! А вот врачей нам столько не нужно. Кого они будут лечить? И артистов тоже можно сократить. Для кого сериалы снимать? Артистов...

– Не могу с вами согласиться, Иона Виссарионович. Что за жизнь без искусства? Я решительно возражаю против сокращения четвертого уровня.

– Ну да, Максим Эдуардович всегда за искусство радеет. Хорошо, вопрос об артистах мы отложим, потом отдельно рассмотрим, когда будем новую структуру ГЛУБи утверждать. Ведь если у нас второй уровень освобождается, зачем его пустым оставлять? И третий тоже. Имеет смысл всем подняться на два уровня вверх. Там теплее, там... Кто дверь открыл? Кто открыл, я спрашиваю?!

– Это сквозняки, Иона Виссарионович, – робко заметил Зубастов.

– Сквозняки, понимаю... Итак, решение принято!

18

– Если заварят – это ничего, я разрежу, я резак взял. Только ведь там ещё пост выставят...

– Пост – это ничего, с постом мы справимся. У нас теперь, спасибо лектору, оружие имеется...

Полностью пригодный к использованию (Буйнов проверил) и заряженный (Буйнов зарядил) пистолет приятно оттягивал карман кителя, и, широко шагая на своих стальных опорах, капитан то и дело касался рукой кармана, убе-

ждался, что оружие тут, рядом, никуда не делось. Сколько лет – целая жизнь прошла! – он не занимался любимым делом, для которого и появился на свет – делом войны. И вот теперь близилась такая возможность – побывать в бою. Хорошо, горячо! Хорошо, что бой, что будут свистеть пули. Потому что дорогу к жизни можно проложить только через смерть, через смертельный, кровавый риск. Что он, Кондратий Буйнов, будет делать там, наверху, в мирной новой жизни, он ещё не знал. Скучать, наверно, будет. Но об этом можно было подумать позже. А сейчас предстоял бой, и капитан тянулся к нему, как путник в пустыне тянется к роднику.

Вожатый шёл рядом с мастером Тепловым, на шаг позади капитана. Оба ясно понимали, что так и должно быть, им не нужно лезть вперёд. За ними спешили остальные. Вьюга по командирской привычке всё вертела головой, пересчитывала группу, заботилась – не отстал ли кто? Но заботиться было не нужно, за неё другие уже позаботились – сзади шёл Андрей, ему Буйнов поручил следить за отстающими. Отстающий был пока один – писатель Воинов. Когда дорога пошла на подъём – один лестничный марш, второй – писатель сразу ослабел, норовил остановиться, присесть, и Андрей стал поддерживать – сначала немного, а потом вообще на себя взвалил.

Коридор изогнулся дугой, а потом вдруг выпрямился, швырнул навстречу идущим огни сварки и голоса.

– А ну встал! И ты встал! Увижу, что кто-то сидит, дрыхнет, зубы в уши воблю, нос в жопу засуну! Если только увижу...

– Идёт кто-то, товарищ майор...

Майор развернул свой помятый (а хотелось бы – чтобы гранитный) лик в сторону коридора, закричал грозно:

– Стой! Кто идёт?

– Да я это, я! – отвечал Буйнов. – Ты что, героя не узнаёшь?

Он ожидал встретить прилив сердечного энтузиазма («Товарищ капитан, это вы?! Взвод, стройся!»), однако реакция майора была совсем другой. Видимо, он уже получил новую информацию, которая отменяла прежний героический шаблон и свертала образ капитана Буйнова в самый низ, в шахту.

– Взвод, к бою! – прокричал майор. – Огонь!

Если бы приказ майора был немедленно выполнен, то на этом бы всё и закончилось. Но, как известно, между замыслом и исполнением всегда имеется некий временной промежуток. Солдаты ГЛУБи ещё только брались за оружие, а Кондратий Буйнов уже вступил в бой. Майор был убит наповал, двое солдат ранены, остальные бежали, а с ними бежали и сварщики, побросав свой инструмент.

– Давай, Василий, берись за дело, освободи нам проход, – скомандовал капитан. – Только до конца не режь, вот эту часть оставь, пригодится.

– Для чего пригодится? – недоумевал мастер, чуждый армейскому делу.

– Там увидишь.

Вспыхнул огонь горелки, и мастер Теплов занялся привычным для рабочего человека делом – разбирать только что собранное, рушить возведённое и вообще всё переделывать и отменять. Отрезал один лист, с грохотом свалил его на бетон. Открылось пространство, залитое чернилами темноты. Фонарик в руках Врага дал небольшой, но достаточный свет, осветил запалённый бок ракеты и уходящий вверх, в темноту, шахтный ствол. По стене лепились, уводили вверх ступени пожарной лестницы. Кондратий Буйнов глянул на эти скобы

и только крикнул. «Тут метров пятьдесят, не меньше, – прикинул. – На одних руках не долезу. Дальше, может, какой проход будет, но эти пятьдесят метров – как одолеть? И потом...»

Впрочем, это «потом» тут же и случилось. Коридор, куда отступили под натиском капитана остатки охранного взвода, вновь наполнился топотом ног, а затем и грохотом выстрелов. Взвод получил подкрепление, получил нового командира, посильнее майора, получил грозный приказ. Взвод возвращался.

– Все в проход, быстро! – скомандовал Буйнов.

Сам схватил лежавший поближе автомат, пристроился за мертвым майором, как за бруствером, и открыл ответный огонь. Атака тут же захлебнулась, вжалась в стены; однако капитан понимал, что это ненадолго.

– Скорей, чтоб никого тут не было! – орал он. – Пошли, пошли!

Учёные, писатели, туристы, академики, дети и взрослые – все промелькнули перед нами, все побывали тут; протиснулись в щель, проделанную мастером Василием, и очистили театр военных действий. Слышно было, как Вера спрашивает, зачем они сюда пришли и как Таня что-то отвечает, ещё слышно было, как кто-то (да знаю я, кто!) возмущается, что приходится в таких нечеловеческих условиях. Загremели скобы под ногами первых, кто начал подъём. Потом стало тише, капитан остался один.

Или не один? Кто-то шуршал рядом; прополз вперёд; внезапно один брошенный солдатами автомат взмыл в воздух, поплыл ближе к Буйнову, за ним последовал второй. Кто-то ползал, а не видно было, кто.

– Ты, что ли, Георгий? – спросил Буйнов.

– Ну, я. Один ты здесь недолго удержишь.

– Здесь и вдвоём недолго удержим. Сейчас РПГ принесут, и п****ц. Туда надо, за листами укрыться.

– Так пошли.

За листами, которых не коснулась рука мастера Василия, нашлось место как раз для двоих. Тут что-то щелкнуло, и Вещун Вожатый стал весь виден, со своим защитным плащом, составным лицом и двойной судьбой.

– Ты чего, остаться решил? – спросил Буйнов. – Ты ведь у нас теперь шустрый, ты без всяких ступеней подняться сможешь. Давай, топай. Посмотришь, какая там жизнь наверху.

– Чего мне на неё смотреть? Мне такого задания не давали. Меня к здешней жизни готовили. А тебе помощь нужна. Нам надо продержаться, пока вся группа не пройдёт первый отрезок.

– А потом что?

– Дальше, Моисей Соломонович говорил, будет горизонтальный тоннель. Там их уже не достанут.

– А за тоннелем?

– Там много всяких проходов. Путь сложный, мне Моисей Соломонович говорил, что там...

Вспышки выстрелов из коридора прервали его рассказ, и больше они уже не разговаривали.

Первая часть пути оказалась самой трудной. Некоторые скобы провисли, другие шатались, надо было двигаться осторожно. А тут ещё внизу загremело, застучало – там начался бой, капитан держал оборону. Сколько он выдержит?

Интересный вопрос. Там, внизу, когда прозвучали первые выстрелы и стал ясен весь расклад, у Олега был секундный порыв – остаться с капитаном, прикрыть отход. Ведь он один тут знает, что такое бой. Но ведь это означало навсегда, он ясно понимал, что уйти на подъём уже не получится. Потому и не остался. Его бои ещё впереди. Будет что рассказать друзьям, сидя возле пылающего камина.

В слабых отсветах фонаря (придурочный Башмаков телепался где-то сзади, светил в разные стороны) Олег уже видел впереди конец опасного отрезка – отверстие в стене. Успеешь в нём скрыться – считай, всё, половина дела сделана. Дальше много чего будет, но в спину стрелять точно не станут. Ну да, Моисей говорил, что подъём будет долгий, сложный, будет состоять из разных тоннелей, колодцев, шахт. Некоторые участки, предупреждал этот сионский мудрец, могут обвалиться, там рыть надо; ещё могут встретиться развилки, и важно выбрать правильный путь. Но всё это Олега не страшило. Он был уверен, что всё преодолеет, везде пройдёт. Завалы разроет (чем? да хоть топором!), правильное направление выберет. Сумел спуститься (пятьдесят этажей! ничего себе ямка!) – и подняться сможет. Он человек, которого судьба наделила силой и волей, характером и умом, человек цепкий, стальной – отчего же ему не преодолеть сложности? У него в рюкзаке банка тушёнки (берёт на крайний случай, вот он и пришёл), немного сухарей, бутылка воды, горелка, а к ней прилагается коробка спичек и зажигалка. Так что он и без фонарика сможет обойтись. Без фонаря, без чужой помощи пройдёт все тоннели и колодцы, первый выйдет к свету. И тогда можно будет наслаждаться жизнью, рассказывать невероятные истории, сидя с друзьями возле пылающего камина, пока слуга готовит только что разделанного оленя.

А ему будет что рассказать. Нехилое получилось приключение, это надо признать. Какие сцены он наблюдал, каких только уродов не нагляделся, не наслушался! Последних истин о жизни, которые обещал косоглазый Вожатый, правда, не заметил – так ведь их и нет на свете, этих самых последних истин. Все истины – конечные, все – предпоследние.

Погоди, ты о каких друзьях говоришь? О Славке с Генкой, что ли? Нет, с ними не получится поговорить о сражениях и предпоследних истинах. Славке с Генкой о здешних уродах, обо всей этой ГЛУБи рассказывать никак нельзя. И опасно, и не поймут ничего. Нет, сейчас он думает о других друзьях – о будущих боевых товарищах. Одного зовут, кажется... нет, не помню, но это неважно. Важно, что они обязательно будут, эти друзья. А ещё приятно будет поговорить с Настей, вспомнить былое. Да, Настю надо будет взять с собой, нечего ей оставаться с этим тухлым Павликом. Конечно, такая подруга – это тебе не мягкая подушка, она всегда себе на уме, ей спину лучше не подставлять, лучше быть всегда настороже... Но ведь только так и стоит жить – всегда среди угроз, всегда быть готовым защитить свой удел, отразить опасность.

Да, Настя... А как же тогда жена? Как его Анфиса? Олег внезапно представил себе жену – отчётливо представил. И понял, что ничего ей рассказывать ему не хочется. И видеть не слишком хочется. Ну и дочь тоже... Из всего домашнего хотелось видеть только коллекцию ружей и спаниеля Геллу. Да, собака нужна, собака – это обязательно.

Первая часть пути оказалась самой трудной. Да, в походах – в сложных, высшей категории походах – так иногда случается: самый трудный участок бывает

вначале. Это даже хорошо, она это любила. Вот и теперь не унывала; тянула, подбадривала, учила, как правильно ставить ногу, как подтягиваться. Шмидта, который шёл прямо за ней, тянула, академика учила, Зину подбадривала. Одно не давало покоя, кололо и жгло – что их так мало. Ведь там, позади, тысячи остались, а здесь что? Жалкая горстка. Если бы вывести эти тысячи наверх, к свету! Там они могли бы начать новую, полноценную, счастливую жизнь... «Правда, что ли? – вдруг сказал чей-то голос внутри неё (кажется, в районе правого лёгкого). – А твоя собственная жизнь – она что, была сильно осмысленная? Жутко полноценная?» – «Но ведь там всё равно им будет лучше, чем здесь, – пыталась она возразить этому голосу. – Там у них будет возможность всё изменить...» – «У человека всегда есть возможность что-то изменить, – настаивал голос. – Ну, почти всегда. Только он боится». Она не знала, что на это возразить. Что тут можно возразить? Там, в прежней жизни, она не то чтобы боялась перемен – просто не думала о них. Плыла по течению, как на плоту, день шёл за днём. Иногда встречались препятствия, трудные участки, она их преодолевала, делала обнос и снова плыла. Да, как на плоту или на воздушном шаре, и видела, воспринимала только то, что происходило в её корзине, а что вокруг, что там внизу, её не интересовало. Вот так и получилось, что образовалась ГЛУБь, и та, постаревшая, несчастная, обречена умереть на этом втором уровне. Нет, теперь она так жить не будет, она всё изменит.

Тут у Шмидта левая нога скользнула со скобы, он едва не сорвался, она едва успела его удержать, и стало не до размышлений. Но тут, к счастью, она увидела, что скобы закончились, в стене открылся проход.

Когда начался подъём, Таня очень боялась за Веру – ведь не успела ни义务ку сделать, ни страховку наладить. Вот сорвётся ребёнок, и что тогда? Однако Вера лезла вверх бойко, Таня за ней едва поспевала, и срываться, кажется, не собиралась. И Таня стала думать о другом: а как они будут жить там, наверху? Ведь у неё никаких документов на ребёнка нет! Отберут, не разрешат! Она это очень ясно представила. Отнимут, определят в интернат, а у девочки характер трудный, привычки ужасные, прошлое – редко у кого такое прошлое бывает... Как же быть, как быть? А если удастся доказать, оставить – где они жить будут? С мамой не получится, ни в коем случае – что, она свою маму не знает? Надо снимать квартиру, а на какие шиши? А жить на что, Иван Иванович? «Да не переживай ты так, – сказал кто-то внутри неё (кажется, в районе селезёнки). – Всё устроится». И она послушалась этого голоса, успокоилась и стала думать о том, как она будет Веру растить. Какие платица ей купит, сандалии, кроссовки. Поведёт её в зоопарк – обязательно в зоопарк, ведь ребёнок в жизни никаких животных не видел, кроме крыс. Потом ещё в цирк, в кино, в парк на аттракционы... Вон она как ловко вверх лезет, значит, ей самые крутые качели-карусели нипочём будут. Вечером, перед сном, сказки ей будет читать – ей самой этого в детстве жутко не хватало. А ещё они в лес пойдут, с друзьями, она её научит песни петь... Интересно, какой у неё голос?

Пока она обо всём этом думала, и подъём кончился, в стене открылся тёмный, мрачный проход. Тут Леонид её сзади окликнул. Оказывается, мастер Василий велел передать лопаты тем, кто впереди идёт. Там, по сведениям мастера Василия, что-то раскапывать придётся. И она приняла лопату от Врага и передала её дальше, Вьюге.

Вот сплав так сплав, думал Лёня Башмаков, одной рукой поддерживая Моисея (старик совсем ослабел, в любую минуту мог сорваться), а другой подтягивая вверх испуганную Анжелу. Вот это приключение! Пятьдесят этажей, ничего себе ямка! А какие сцены душераздирающие! А люди? Некоторых бы задушил, не задумываясь, такие сволочи. А других так жалко – мочи нет. Можно понять Вьюгу, которой так хотелось всех их отсюда вывести. Он бы тоже хотел вывести, но не всех. Этих тварей с шестого, седьмого уровней зачем выводить? Будто нам таких в жизни не хватает. А Руководители? Даже не знаю, что сказать. Ведь я некоторых, самых древних, помню, они ещё при нас во власти сидели. Просто я тогда об этом не думал – что за люди наверху сидят, за нас всё решают. Теперь придётся задуматься. Что-то надо будет менять в жизни, обязательно. Ведь он здесь, в этой ГЛУБи... как бы это сказать? Вырос, что ли. Да, вроде того: на целую голову выше стал. Как это капитан сказал, когда гнал его на лестницу, не разрешил с собой остаться, оборону держать? «Ты теперь здесь за главного, ты должен всех вывести». Это было непривычно. Как это – он будет главный? Он никогда в жизни не считал себя вожаком, не стремился отвечать за других. Ника – другое дело. Вот она лидер, она...

Стоило ему подумать о Веронике, и сразу всё остальное ушло, всё забылось. Да, вот что наполняло сердце радостью, заставляло забыть обо всех угрозах – то, как она к нему изменилась. Почему изменилась, с чего – он не знал, но перемена была явная. Это где-то с третьего уровня, кажется, началось. Смотрела на него совсем не так, как раньше, слушала, стремилась прикоснуться, сидеть рядом... Значит, что же – там, наверху, новая жизнь? Вместе? И она будет ему уже не друг, а... вроде как любовь? Может, даже жена? Значит, они выйдут, сядут на свой плот (он, конечно, никуда не делся, так на камнях и стоит), поплывут прежним маршрутом, только уже всё будет по-новому. Только главной в их семье будет всё же она, Ника, он это ясно понимал.

Петю Истомина не надо было поддерживать или подтягивать. Он бы и быстрее мог идти, но тут обогнать не получалось, приходилось терпеть. Что ж, он вытерпит. Вытерпел эту жуткую ГЛУБь с её казематами, ловушками, с обречёнными, раздавленными обитателями – вытерпит и несколько дней трудного подъёма. Обязательно должен вытерпеть, дойти – ведь он здесь, можно сказать, самый важный участник. Ради него пели там, на берегу, три птицы, предвещали испытания, ради него произошло это погружение. С какой стати, вы спросите? А с той, что он один (если не считать ребёнка, но девочка слишком мала) представляет здесь будущее. Остальные – Моисей, писатель, мастер Василий – все старики, все в прошлом. Даже Вьюга с Леонидом – люди хотя и хорошие, но уже окостеневшие. И только он, Петя, может прорасти сквозь асфальт и показать образ будущей жизни. Только он точно знает, чем будет заниматься там, наверху. Он будет строить свой сверкающий дворец – дворец с тысячей залов (не комнат, а именно залов!), один волшебней, прикольней другого. Вряд ли он будет строить свой дворец здесь, в России, – здесь царство старости, здесь условий нет. Ничего, он найдёт место. Важно двигаться, важно быть устремлённым вверх.

Когда шахта закончилась, начался тёмный, засыпанный землёй проход, и сзади начали передавать лопаты, Петя две передал вперёд, а третью оставил себе. Он будет рыть, он пробьёт выход к свету!

Подъём оказался нечеловечески трудный – просто кошмар какой-то, а не подъём. Если бы ему там, в самом начале, сказали, что будет так тяжело – ни за что бы не пошёл. «И что тогда?» – спросил он сам себя. И тут же ответил: «Тогда пропустил бы единственную, невозможную возможность вырваться из этих тисков. Так бы и остался возле своего УПОРа, остался там вечно тосковать и вздыхать». Да, здесь диалектический момент: через тернии к звёздам, через тяжесть к лёгкости, через мрачные проходы – к полноценной, счастливой жизни. И академик Лев Робертович стал думать об этой счастливой жизни. Первым делом надо будет наладить контакты с сегодняшним руководством. Что там сейчас за люди? Неизвестно. Совершенно других мыслей могут оказаться. Но что тут важно, что внушает надежду? Что эти новые руководители – тоже люди. А значит, болеют, боятся смерти, немощи, переживают за близких (а ещё больше – из-за этих чёртовых близких) А там, где страхи и немощи – там поможет академик Павлик. Чем поможет? Да чем угодно! Не обязательно строить новый УПОР, повторять прежнее. Нет, он изобретёт что-то новое, в духе времени. Ведь он всегда умел улавливать дух времени – и жить по законам этого нового духа. А ещё надо найти людей, которые его помнят. Такие люди обязательно найдутся. Он человек известный, знаменитый даже, его не могут не помнить. И с помощью этих людей он укоренится в этом новом, замечательном времени. Не может не укорениться – ведь он один здесь, если не считать Моисея с Пуховым, представляет передовую науку. Да, он что-нибудь изобретёт, продвинет. И тогда получит возможность путешествовать. О, как он будет путешествовать! Америка, Азия, Австралия... Он должен объехать весь мир!

Лопату ему передали, надо сказать, вовремя – уже за первым поворотом начались осыпи, пришлось много копать. И он копал, как проклятый, словно крот какой-нибудь, копал. Первое время ещё видел сзади отсветы фонаря, слышал голоса. А потом оторвался, сильно ушёл вперёд, и уже ничего и никого не видел, не слышал. Каждые два часа (это он по внутреннему таймеру отсчитывал – часы на руке по-прежнему упорно стояли) он делал перерыв. Ложился на спину, рядом клал рюкзак, зажигалку, лопату. Лежал, стараясь мерно, ровно дышать. Иногда лезли чёрные мысли: а что, если впереди окажется такая же стальная дверь, как та, в самом начале? «Ничего! – говорил он себе. – Тогда подожду эту инвалидную команду, этот детсад престарелых. У мастера Василия в рюкзаке среди прочих полезных вещей наверняка найдётся пара кусков тротила. Наладим заряд, шарахнем – и выйдем к свету. Воля к жизни всё одолеет!»

Так он двигался весь первый день. Прошёл четыре крутых подъёма, один трудней другого. Разок мелькнула мысль: а как старики, что идут там, в хвосте, одолеют эту крутизну? Вряд ли они здесь пройдут. Тут и останутся. Но это их дело. Он выбросил эти мысли из головы. К концу дня, когда сил уже совсем не осталось, решил устроить ночлег. Ночлег и хороший ужин. Разгрёб площадку, чтобы была чистая, ровная, установил горелку, вскипятил воду, открыл банку тушёнки. Старался всё подготовить, пока горел газ – только он давал крохотную порцию света. Но газ надо было экономить, и когда вода вскипела, он выключил горелку. Мрак сразу навалился, затопил с головой – кусок хлеба

возле рта не угладишь, не то что пройденный путь. И не слышно ничего, тишина ватная. У них там, в команде престарелых, с этим проблем нет: девчонка тенькает, академик поет, Настя иногда весело рассмеётся. Да, там есть с кем поговорить. Но, с другой стороны, сколько там проблем! Сколько нытья! Нет, он без этого обойдётся. И он обошёлся – расстелил куртку и лёг спать. Правда, заснуть долго не мог.

Проснувшись, не сразу понял, где находится. На минуту охватил ужас: показалось, что он потерялся, перепутал направления, не знает, куда идти. Вновь остро почувствовал своё одиночество. Вдруг захотелось с кем-то поговорить, словом перебраться – хоть с лопоухим Павлом, хоть с Врагом. Но потом ему удалось побороть эту слабость. Чтобы с кем-то поговорить, надо долго ждать. Они, наверно, на целую вечность отстали. Ждать – значит терять время, а это уменьшает шансы на успех. Нечего ждать, вперёд!

И он пошёл дальше и шёл весь второй день и начало третьего. Уже и тушёнка кончилась, и сухари, и воды чуть-чуть осталось. Он решил вскипятить это «чуть-чуть», установил горелку, чиркнул спичкой. И едва сера вспыхнула – сердце вздрогнуло от радости. Пламя не горело ровно, как вчера – оно трепетало, клонилось, едва не погасло – спереди, куда он шёл, явно тянуло воздухом. Там был выход! Теперь в этом уже не было сомнений. И он передумал кипятить воду. Вперёд, скорее вперёд! Он второпях собрался – и снова начал разгребать проход. Так он рыл ещё несколько часов, до кровавых мозолей на руках рыл – и наконец увидел впереди свет.

Часть 3. Вось

Ещё спускаясь с последнего пригорка, ещё не дойдя до реки, она услышала знакомое пение. Ага, это маленькая овсянка, а вот тихо насвистывает горихвостка, вот синица, а тут вступили два скворца. А вот и соловей Нечет подключился: основной период пения у него уже неделю как закончился, но он всё равно прилетел, пел тем, что осталось. Всё это было не слишком стройно, не совсем слаженно, и это понятно – ведь они только готовились, ждали её. Но вот она миновала кусты межсезонника, вышла на берег, окунулась в мерцание Айно, увидела лилии, и кувшинки, и парящие над водой лиловые цветы заморочника – и тут оркестр (или правильнее сказать хор?) грянул в полную силу. Они свистели, щёлкали, тянули, они старались, как могли. «Ты почему такая печальная? – слышала она. – Ах, понимаем, понимаем: этот мужчина! Нет, не думай о нём, не вспоминай! Или вспоминай – но только хорошее. Ведь день такой прекрасный! Мы так тебе рады!»

И Таня невольно улыбнулась (хотя в это утро и не думала улыбаться – кусаться ей хотелось, и горшки бить, а не улыбаться) и сказала, обращаясь ко всем:

– Доброе утро! И я вам рада! У вас всё хорошо?

Опустилась на камни у воды, зачерпнула полную горсть, умылась. И стало легче. Действительно, не надо злиться, собирать обиды на ушедшего, выметать из углов памяти все глупости, неловкости, всё, что он не сделал или сделал плохо. Попробуй думать о нём с радостью. Мирдрат, радость моя! Ведь ты подарил мне столько блаженства, столько чудесных минут! А может, и больше подарил, может, осталось... это надо проверить, завтра же к доктору сходить. Такое вполне могло случиться – с теми, что были у неё раньше, так и случилось. Виктор, её первый мужчина в этом мире (Витька, радость моя!), подарил ей Павлика, а Керл Идрудда спустя три года – Лёню. Что же, и теперь будет мальчик? Ей бы девочку хотелось. А может, ещё никого и не будет, может, это ложная тревога.

Она сбросила с души печаль, как сбрасывают с одежды приставшую паутину: скатала в липкий комок и бросила. Пора спешить назад, домой: Вере скоро надо идти в школу, и кто-то должен быть дома, приглядывать за мальчишками, за всем хозяйством. Да, Вера уже совсем как взрослая, хотя ей всего одиннадцать, помогает тут и здесь, даёт очень дельные советы, на неё можно детей оставить, все гостиничные дела можно поручить. Ах, как Тане тогда, в самом начале, когда они только поселились в Нижних Выселках, хотелось, чтобы девочка не менялась, не выросла, осталась такой вот маленькой, требующей заботы, ласки! Чтобы висла на шее, залазила ей на колени, пела, говорила всякие странные вещи... Как это она тогда сказала, когда они только вышли из тоннеля? «Мама, где потолок? – воскликнула она тогда, и сжалась вся. – Здесь нет потолка! Мы не улетим?» Как с ней в те первые дни было трудно, сложно! Да, хотелось, чтобы девочка не менялась – и она на самом деле перестала расти, оставалась прежней. Ведь в этом мире твои желания – глубокие, сильные желания – многое значат, они способны горы сдвигать. Кто тогда первый заметил, что с Верой что-то не так – Тонглат? Да, кажется, он. Понаблюдая ещё пару дней, убедился, что прав – а потом вечером сел с Таней на кухне и побеседовал с ней хорошенько, вправил мозги. Объяснил, что в Мире Перемен желание заморозить чей-то рост – такое же чёрное дело, как зависть или предательство. Что она будет совсем плохая мать, если станет упорствовать в этом своём желании; погубит и ребёнка, и себя. Как он тогда сказал? «Меняющееся сохранится, неизменное погибнет» – вот как. Объяснил, что это не он придумал, что так говорил легендарный мудрец Респег. И она поняла, всё поняла. Той же ночью, проводив высокого гостя, обратилась в Господу Перемен, просила у Него прощения, просила, чтобы исправил её огрех, чтобы девочка снова стала расти. И уже на другое утро Вера ей дерзко ответила, и без спроса убежала на речку, и подружилась с Кенси Бруком с ближнего хутора, и тот научил её кататься на глайдере. В общем, стала расти, как нормальный ребёнок, – даже быстрее, чем нормальные дети, опережая сверстников, словно старалась наверстать упущенное. За эти шесть лет много всего перепробовала: и по Коридорам научилась ходить, и форлом мечтала стать, даже на курсы поступила, а потом задумалась о карьере врачевателя... Теперь вроде определилась: считай, уже полгода, как ведёт свой блог, и успешно ведёт, у неё куча подписчиков, на каждый стрим поступает гора комментариев... И по другим признакам видно, что девочка всё правильно делает: Зорька стала давать больше молока, плоды кливов стали крупнее и слаще. А уж как цветы в рост пошли – и говорить нечего, вся гостиница «На стремнине» утопает в цветах. Что же будет, когда Вера пойдёт в старший класс, ещё знаний наберётся? «Но чтобы она пошла в старший класс, надо, чтобы она сейчас успела в школу, – мелькнула мысль. – А ты всё тут стоишь, мечтаешь».

Да, надо было возвращаться, подменить дочь, надо было спешить. И она заспешила, пошла было – два шага, три шага сделала. И вдруг остановилась. «Ах ты дурында! – сказала себе. – Айно тебе помогла, сняла с души камень, смысла накипь обиды – а ты что реке сделала?» Ничего. А надо было (обязательно надо!) что-то хорошее после себя оставить, чем-то улучшить это место. Она огляделась. Вон те разноцветные камни на пригорке – они отлично украсят спуск к воде. Надо только принести, выложить. Да, у неё ещё есть немного времени, она успеет.

И она бегом, скорей-скорей, натаскала камней, разложила их, поправила – и осталась довольна. Да, теперь хорошо. И, уже не оглядываясь, направилась домой. У неё за спиной, провожая её, запела птица Гамаюн. Как же легко было идти под это пение! Тело стало совсем невесомым, и часть пути она пролетела – совсем невысоко, едва поднимаясь над землей. Выше у неё не получалось.

♦ ♦ ♦

В эту ночь ему, как обычно, снились злобные твари. Крупные деловитые крысы, хорьки, ласки (ласка маленькая, но злобная ужасно, он читал), а ещё огромные ящерицы, у которых рот полон зубов, как иглы, острых – кажется, это были вараны. Они шастали по всей комнате, бегали под кроватью, он слышал, как они там возятся. Они хотели забраться на кровать, впиться ему в ногу, или в руку, или прямо в лицо. И он закрывался одеялом с головой, подтягивал под себя края, чтобы никто не пробрался. Для дыхания оставалась крохотная щелочка, и он дышал через неё. Спать получалось только урывками, он то и дело просыпался.

Они полгода назад начались, эти кошмары, начались, когда мать привела домой этого Колю Муромца. Они и до этого не слишком радостно жили; когда отец ушёл, мать резко изменилась. По вечерам стала поздно возвращаться, от неё пахло вином, она забывала готовить, стирать, гладить, в доме стало неуютно. Но главное, что Иван почувствовал – что он стал матери как бы неинтересен. Он привык быть в центре внимания – и для неё, и для отца, а теперь вдруг очутился где-то на краю, в глухой тайге, как бы в ссылке; холодно тут было, грязно, а главное – никому ты в этих глухих краях не нужен. Он впервые такое почувствовал, и это было... ну, хуже некуда. Тогда он так думал. Но оказалось, что может быть гораздо хуже – просто сказать нельзя, как плохо. Это когда в доме появился этот самый Коля.

А ведь вначале он Ивану даже понравился. Весёлый такой, улыбочивый, шуточками сыплет. Правда, все шутки про одно и то же – про задок и передок, как он к ней, а она... Но это ничего, говорил я тогда себе (да ничего я не говорил и не думал, мал был, чтобы что-то думать), такой и должен быть настоящий мужик. Одно мне тогда не понравилось – что новый мамин мужик (не первый, кажется, третий) всё норовил меня по плечу потрепать, за ногу схватить, по заднице легонько шлёпнуть. Что за шутки, я такого не люблю.

А спустя две недели, когда мать позвонила и сказала, что задержится на работе, Муромец зашёл в мою комнату, и без всяких предисловий, без уговоров... Я тогда растерялся, дурак, молчал, только слабо отпихивался, но он меня быстро скрутил. Если бы я орал, кусался, царапался, если бы окно разбил – он бы, может, и отступил. Но ведь мать мне как раз накануне сказала, что они с Муромцем узаконят отношения, что он мне будет как отчим, и я думал... я не знал...

Я тогда, после этого, впервые из дома убежал. Сутки вокруг ходил, возле гаражей ночевал. А потом вернулся. А куда денешься – жрать-то хочется. И ещё я думал, что когда я матери всё расскажу, она его уничтожит, на части порвёт. А она ничего не сделала. Пролепетала что-то жалкое, херню какую-то – и всё. А Муромец через неделю ещё раз ко мне зашёл. И ещё. И каждый раз случалось то, чего не могло, никак не могло случиться, но оно случалось, раз за разом. Как я жил после этого, сам не мог понять.

Вот с тех пор и стали мне злобные твари сниться. Они приходили каждую ночь, когда не было Муромца – они как бы заменяли друг друга, посменно работали. Вот и теперь – бегали под кроватью, возились там. А потом... потом вдруг забрались на кровать, в ногах где-то разместились. Раньше такого никогда не было, раньше они себе такого не позволяли! Забрались, и начали о чём-то между собой шушукаться. И я вдруг различил их тонкие, словно детские голоса:

– Слушай, какой тут матрас замечательный! На нём прыгать можно!

– Я тебе попрыгаю! Он же спит, разбудим.

– Ничего он не спит. Ты что, не чувствуешь? А вы все, вся ваша порода такая, невосприимчивая. Он просто закрылся и лежит. Может, он так играет?

И мы поиграем. Смотри, как я могу!

Тут я почувствовал, что матрас сжался – и потом распрямился, словно батут. И кто-то маленький (хорек или ласка?) подпрыгнул, завис в воздухе, а потом приземлился, и снова прыгнул.

– Вот как я могу! – гордился. – Я ещё выше могу!

– А я выше тебя могу – заявил второй. – Вот, гляди!

И тоже прыгнул. И они стали прыгать вдвоём, и кричать: «Я выше!», «Нет, я!» Голоса у них были весёлые, совсем не похожие на крыс или хорьков.

Тут я понял, что это никакой не сон, и напрасно я лежу, замотавшись в одеяло. Отбросил его, выглянул – и остолебенел. Там, у спинки кровати, прыгали два зверька – толстый важный енот и здоровенная белка. А никаких хорьков и крыс в помине не было.

– Вот и он! – закричал енот. – Проснулся! Привет!

– Привет-привет, прекрасное утро! – защёлкала белка. Она говорила хуже енота, иногда её трудно было понять.

– Тебя как зовут? – спросил енот, прекратив прыгать.

– Иван, – ответил я.

Я сам удивился, что ответил. Ведь это было... ну, никак такого быть не могло. Я словно очутился в середине какого-то аниме и согласился принять это аниме за реальность, участвовать в нём.

– А меня Арнольд, – заявил енот и принял важный вид. – А моего друга, – тут он указал на белку, – Берен.

– Почему «друга»? – спросил я. – Почему Берен? Это же белка.

– И что такого, что такого? – защёлкала белка. – Я мужчина, я мужского рода, понял?

– Слушай, а давай вместе попрыгаем! – предложил Арнольд. – Пока Леонид не пришёл.

– Да, пока Лёня не пришёл, – подключился Берен. – А то он у нас строгий.

– А кто это – Леонид? – спросил я. – Заяц, наверное? Или кот?

Мои слова их жутко развеселили. Они прямо покатались с хохота, в буквальном смысле: упали на кровать и стали по ней кататься, держась за животы. Арнольд так разошёлся, что свалился на пол, и это их обоих ещё сильнее рассмешило.

– Ну умора! – восклицал Арнольд. – Назвать Врага зайцем!

– Или котом! – вторил Берен.

– Лёня Башмаков, чтобы ты знал, – заявил Арнольд, перестав хохотать, – это человек. И ещё какой человек! Ужасно серьёзный. Командир! Да ведь ты его видел, должен был видеть, это он тебя вчера привёл.

И тут я вспомнил! Всё вспомнил! Да, это случилось вчера ночью. Я уже лёг, и дверь стулом подпёр, и даже засыпать начал, когда услышал, как моя преграда ползёт по полу. Я сразу понял, что это значит. Муромец! Но ведь мать дома, я слышал её голос! Он никогда не приходил при ней. Никогда раньше не приходил, а теперь пришёл. И сразу полез на меня. Я заорал – теперь я научился кричать. Тогда он меня ударил – слегка, вполсилы, так что я с кровати слетел. И сказал, что если я буду орать, он сделает со мной то и это, и ещё больше. Потом дал мне под дых, так что я пополам согнулся и уже не решался кричать. И тут вдруг откуда-то возник высокий такой парень. Я его не разглядел – в комнате темно было. Муромец начал было возбужать, но этот высокий сделал буквально одно движение, и мой отчим отлетел в угол – как пёрышко отлетел, даже пискнуть не успел. А этот высокий сказал: «Бери свою одежду, и пошли». Я взял штаны с майкой, а потом... Потом не помню, что было. Потом я уже здесь оказался, и мне снился сон про крыс и хорьков.

А где это я? Я огляделся. Это была не моя комната, и не моя кровать. Комната была большая, мебели мало, зато окон сразу два, большие такие окна. Одно было приоткрыто, занавеска колыхалась, и было слышно птичье пение, и ещё какой-то ровный, мерный шум.

– А где это я? – спросил я у этих двоих.

Спросил – и снова поразился, что обращаюсь к еноту и белке, словно к людям.

– Как это – где? – ответил Арнольд (он у них был за главного). – В Барсучьей Горке, ясен пень. Мы-то не здесь живём, мы в Надёжной роще за скалой, это Вьюга нас попросила пораньше придти, с тобой побыть, пока Леонид... А вот и он идёт! Слышишь – дверь стукнула?

Я не слышал, но поверил и уставился на дверь. Послышались шаги, дверь открылась, и вошёл парень. Сначала мне показалось, что он совсем молодой – ну, студент. Потом, когда пригляделся, я понял, что ему, пожалуй, уже тридцать будет, или больше. Волосы заплетены в косицу, как у рокеров, борода острая, и вообще на фавна похож. И никакой он не строгий, и не серьёзный, наоборот, прикольный. Хотя, может быть, и командир.

– Ага, ты проснулся! Привет! – сказал. – Что, эти два бандита разбудили?

– Мы не бандиты, мы спасатели! – заявил Арнольд. – Группа поддержки и знакомства. Мы фор... фур...

– Ну да, вы прямо форлонтары, – кивнул вошедший. – Вы познакомились, я правильно понимаю? Давай и мы с тобой знакомиться. Как тебя звать, я знаю. А я Леонид.

Я пожал протянутую руку – твёрдую и шершавую. У меня была к нему куча вопросов, только я не знал, с чего начать.

– У тебя, конечно, куча вопросов, – сказал он. – Но лучше, если ты их задашь там, снаружи.

Он кивнул на окна.

– Одевайся и спускайся вниз, – продолжал он командовать. – А вы, группа попрыгунчиков, пошли отсюда. Пошли, пошли!

– Но мы хотим общаться! – возмутился Арнольд. – У него куча вопросов!

– Мы хотим дружить! – добавил Берен.

– Потом пообщаетесь, – строго сказал Леонид. – На свежем воздухе. Вы что, не видите – человеку нужно одеться? Прийти в себя. Всё, хватит болтать, пошли.

Я думал, эти двое станут возмущаться, но нет – оба смиренно повернулись и потянулись к выходу. Они вышли, и я остался один. Натянул штаны и подошёл к окну. Очень хотелось понять, где это я оказался. Я отодвинул занавеску, выглянул – и остолбенел.

Этого просто не могло быть – того, что я увидел. Не бывает таких скал рядом с домами, и водопадов (вот откуда исходил тот мерный шум!), и таких лугов. И такого слона... нет, скорее носорога... а может, это дракон? – в общем, такого зверя, который пасся на лугу, его тоже не бывает. В общем, аниме продолжалось. И мне предстояло в нём участвовать. Но я, хоть убей, не знал, какая будет моя роль.

Правда, за дверью всё оказалось более или менее знакомое. Такие дома мы как раз видели в кино: два этажа, лестница, внизу гостиная, на стенах всякие картины, фото... Я только начал эти фото разглядывать, как открылась входная дверь, и вбежали двое мелких, мальчишка и девчонка, лет по десять-одиннадцать.

– Вижу кухню! – кричала девчонка. – На абордаж!

Тут они увидели меня и остановились.

– Ага, вот и новенький! – заявила девчонка. – Его вчера переместили, я знаю. Тебя как зовут?

Мне это обращение не слишком понравилось. Что за вопрос?

– Тебе знать не положено, – сказал. – Вы на кухню шли? Ну, и идите.

– Вот ещё лузер! – фыркнула она. – Взрослого изображает. Да кому ты нужен? Идём, Генрих.

И они ушли вглубь дома. Мальчишка ни слова не сказал, только глянул на меня и вроде как улыбнулся. Он был вроде ничего. А вот эта зола из тыквы мне решительно не понравилась. Я таких много повидал, можно считать, вся наша школа из таких. Нет, эта фуфырла была точно не из аниме, и моё настроение, плававшее до этого где-то наверху, за облаками (я сам не догадывался, что был за облаками, а вот теперь ощутил), слегка спустилось к реальности. Ладно, будем смотреть дальше. И я вышел наружу.

С этой стороны дома открывался вид на горы. Сначала был спуск в долину, там домики с разноцветными крышами, вокруг зелень – а за долиной, словно стена, поднимался здоровенный такой хребет. Он весь был чёрный, мрачный, а в центре тянулась вверх совсем уж запредельная вершина, сверкала льдом, уходила за облака. Это где же я, интересно, в Альпах или в Гималаях?

Леонид ждал неподалёку, на лугу. Арнольда с Береном не было видно – наверно, упрыгали в свою Надёжную рощу.

– Ну, как тебе вид? – спросил он. – Я, когда сюда попал, всё никак насмотреться не мог.

– Да, горы это... классные, – согласился я. – А где это? Что за место?

Я старался говорить с достоинством – вроде как требовал объяснения, куда это меня переместили (фуфырла так выразилась, я запомнил). На самом деле достоинства и всего такого у меня оставалось буквально с напёрсток, и ещё искать надо, куда этот напёрсток засунули.

– Посёлок в долине называется Барсучья Горка, – стал объяснять фавн. – Мы живём, как видишь, чуть в стороне, вроде как на хуторе. Но тут идти недалеко, полчаса.

– Я не о том. Вообще это какие места – Альпы?

– Нет, это не Альпы, – сказал Леонид, и взглянул испытующе. – И вообще не Земля. Страна называется Вессим, а всё в целом – Мир Перемен. Я забрал

тебя сюда, перенёс из твоего дома, потому что тебе там было нельзя оставаться. Ведь нельзя было, верно?

Я как-то очень ясно вспомнил прошедшую ночь, Муромца. Сглотнул, словно меня рвать потянуло. И молча кивнул.

– Держать тебя здесь насильно никто не будет, – продолжал Леонид. – Осмотришься, оценишь, как тут и что, – и сам решай, остаться или как. Правда, я бы тебе ещё предложил в горы сходить.

– Что – туда? – я указал на чёрную стену за долиной.

– Ну да, на хребет. Там есть приличный перевал, как раз тебе по силам будет. Вьюга – ну, это моя жена, когда я тебя вчера принёс, глянула на тебя и сказала, что тебе в жизни испытаний не хватало, испытания нужны.

– Испытаний мне вроде как раз хватало... – попробовал я возразить.

Он нахмурился.

– Ты не путай, – сказал. – Мучения – это одно, а преграды – другое. А там, на Вессимском перевале, не только преграды. Там такой вид открывается – дух захватывает. Леса, море... С нами ещё мой друг пойдёт, Павел, он сегодня письмом прислал. Может, ещё Генриха возьмем. Так что, пойдёшь?

Я хотел сказать «Надо подумать» или «Ещё не знаю», что-то типа этого. Но вдруг понял, что хочу туда, в горы. Что это мне как раз и надо – смотреть на море с перевала.

– Пойду, наверно, – сказал я.

– Вот и лады, – отозвался он. – Ты сейчас сходи, погуляй по окрестностям, тут есть что посмотреть. Далеко только не уходи – Вьюга завтрак обещала.

– Хорошо. Только вы всё же объясните, где этот Мир Перемен? Это другая планета?

– Да, – сказал он. – Другая. Вообще другая вселенная.

– И ещё... После этого похода... Я где буду – у вас, здесь?

– Если очень захочешь, можешь и у нас остаться. Только у нас трудно. Почти каждый день новенькие прибывают. Некоторые... ну, например, из лагерей, или из мест, где война идёт. Психика изломана сильнее, чем у тебя. С ними тяжело. Надо специальный курс проводить, приучать к нормальной жизни. Они как подводники, поднятые с большой глубины, им нельзя сразу на поверхность. И они у нас живут, пока не привыкнут.

– А потом?

– Потом по желанию. Поселяются в приёмных семьях или сами живут, если самостоятельные.

– Что, никто не возвращается?

– Почему, некоторые возвращаются. Я же сказал: мы никого насильно не держим. Но таких мало. Ладно, я пойду – там кое с кем поговорить надо. Так ты не забудь насчёт завтрака.

– Не забуду, – пообещал я. – Только... Я ещё хотел спросить: почему меня? В смысле – ведь я не из лагерей, не с войны, другим хуже, чем мне. Почему вы меня забрали?

Он пожал плечами, соорудил задумчивую мину, потом сказал:

– Если честно, ты просто на пути попался. Я в другое место двигался, но тут тебя увидел. И не смог пройти мимо.

– Так вы что – вроде как... как ангел?

– Ну ты даёшь! – сказал он. – Я что, похож?



– Знаете, что я сейчас понял, Пётр? Я понял, кому этот ваш дом больше всего понравится. Детям, Пётр, детям! Ведь здесь у вас как в сказке: коридоры меняют направление, как в той книге – помните? – потолки становятся выше, окна открываются то на горы, то на лес... А коридоры? А стены? Да и снаружи ваше творение похоже скорее не на дом, а на сказочную гору.

– Вы так думаете? Ну, если так... Если так, то я рад. Правда, очень рад!

И Пётр Истомин, проектировщик и строитель, самый известный из молодых архитекторов Мира Перемен, широко улыбнулся. Юрий Алексеевич, глядя на него, подумал мельком, что там, в прошлой жизни, этот мальчик редко улыбался. Да что редко – ни разу такого не было. А улыбка ему идёт, очень идёт.

– Давайте теперь пройдем в южную часть, – предложил Пётр. – Там есть кое-что интересное, вам будет что снимать.

Известный архитектор Пётр Истомин принимал у себя, в только что построенном здании жилого комплекса «Старый Гомби», столь же известного научного обозревателя Княжевича. Юрий Алексеевич успел сделать себе имя как создатель программ «Деревянная кукла», «Вид с горы», «Вения и Гродль: переключки стилей». Сейчас он готовил новую передачу «Бисер в Мире Перемен», в которой обещал применить концепцию известного писателя, незнакомого жителям Гродля, к их условиям. Комплекс, только что построенный по проекту Петра, должен был занять в этой передаче столь же важное место, как новая баллада Финдаля, романы Воинова, скульптуры Тины Шинтел, картины молодых художников. В передаче должен был принять участие – и весьма важное участие – ещё один человек, знакомый как архитектору, так и обозревателю, и этот человек должен был прибыть сюда, в «Старый Гомби», должен был – но почему-то опаздывал. Впрочем, этот человек часто опаздывал.

Пока хозяин и гость шли по коридору, который то выходил наружу, лепился к стене комплекса, и можно было видеть горный хребет вдали и долину реки Тариби поближе, то вновь нырял вглубь здания, Юрий Алексеевич продолжал делиться своими впечатлениями.

– Но знаете, Пётр, – говорил он, – что ещё пришло мне в голову? Что в этом вашем новом доме, в вашем очередном шедевре не все будут чувствовать себя комфортно. Дети – да, фантазёры – да. А вот рабам привычки, любителям порядка, ценящим всё устоявшееся, всё, что остаётся сегодня таким же, как было вчера и третьего дня – им здесь будет неудобно.

– Нет, погодите! – спешил возразить Пётр. – Откуда в Мире Перемен возьмутся рабы привычки? Здесь ценят прежде всего новое, небывалое!

– Конечно, разумеется! Но готовность к новизне тоже бывает разная. Вы слышали об исследованиях Варта Отисмо? Он ещё десять лет назад доказал, что существует значительная группа приверженцев незначительных, незаметных изменений, он их назвал «люди вечного сегодня». Они рады переменам – но тем, которые происходят где-то далеко или произойдут завтра. А здесь и сейчас... О, смотрите, вот и третий участник нашей передачи прибыл!

Действительно, им навстречу спешил человек не совсем обычной внешности. Короткая седая борода, проницательный взгляд непроницаемых глаз,

галстук и академическая шапочка на голове выдавали в нём учёного, человека науки. Профессор, точно профессор! Между тем одет человек был в спортивные брюки и куртку из новейшей, недавно разработанной ткани, прочной и легкой, специально созданной для путешественников. За спиной у идущего был вместительный рюкзак, в руке – посох.

– Мои поздравления, мой юный друг, примите мои поздравления! – воскликнул он. – Я только что осмотрел южное крыло этого чудесного здания. Я в полном восторге! Эти висячие сады, деревья, по которым можно переходить (конечно, при известной ловкости) с этажа на этаж, это обилие воды! Вы смогли сделать то, что казалось невозможным: соединить современное комфортное жилище с природой, ввести природу в дом.

– Добрый день, Лев Робертович! – отвечал архитектор. – Спасибо за такие слова, хотя...

– Не надо этой излишней скромности, – заявил Лев Павлик. – Ложная скромность вредит успеху, я не устаю это повторять везде, где бываю. Человек, достигший успеха, достоин своей славы, он заслужил общее восхищение. Вы согласны, мой пытливый друг?

Последний вопрос был адресован Княжевичу.

– Чего достоин тот или иной сапиенс, – отвечал Юрий Алексеевич, – решает не он, а другие. А здесь, на Гродле, не только люди решают, но и природа. Если вокруг вас расцветают сады, бьют источники целебных вод, а животные начинают говорить – значит, вы чего-то достойны. Но давайте отложим дискуссию на потом, хорошо? Сейчас мне хотелось бы услышать рассказ о вашем последнем путешествии. По всем каналам передают, что вам удалось не только побывать на Элеаре – а туда не каждого пускают – но и встретиться с верховным магом Мира Земли. Это правда?

– В вашем вопросе чувствуется какое-то недоверие, – отвечал бывший академик, а ныне путешественник. – Слово вы допускаете, что я могу в чем-то отступить от истины. Между тем все знают – все, слышите? – что Лев Павлик всегда был на стороне правды.

– А в прошлом? – не удержался Княжевич.

– Что – в прошлом? Мои научные разработки... мои достижения... В конце концов, вы все, вся наша группа попали сюда только благодаря мне!

– Давайте не будем ссориться! – воззвал Пётр. – Не выношу, когда рядом ссорятся, у меня сразу изжога начинается. Юрий Алексеевич, вы ведь хотели записать здесь какую-то новую программу, верно?

– Да, я хочу создать такой синтетический проект, в котором бы разные виды творчества поддерживали и дополняли друг друга. Я даже думал, что, если этот мой первый опыт будет успешным, со временем такие проекты станут повсеместным явлением, станут новым видом... видом культуры, если хотите. И мне хотелось начать как раз с рассказа Льва Робертовича о его путешествии на Элеар. Так что давайте пройдем в южное крыло, которое Лев Робертович уже видел, а я ещё нет, и там он обо всём расскажет. И вы, Пётр, я надеюсь, тоже примете участие. Если у вас возникнут какие-то вопросы к рассказчику, замечания – не стесняйтесь, выскажите их.

– Да, в южном крыле, среди висячих садов мой рассказ получит правильное обрамление. Вот по этому мосту, верно? А теперь ещё чуть выше... Да, здесь будет как раз. Я надеюсь, вы уже настроили свою аппаратуру? А то я не люблю

ждать. Да, и насчёт вопросов и замечаний. Я не люблю, когда меня прерывают – даже такой исключительный талант, как Пётр. Так что с вопросами прошу подождать. Итак, после моих многочисленных просьб Верховный маг Мира Земли Вертогг дал своё согласие, и я смог пройти Ворота и оказаться в Окирингви. Волшебное, ни с чем не сравнимое зрелище! Особое впечатление на меня произвела, конечно, резиденция Верховного мага.

– Что, вы смогли встретиться с самим Вертоггом?

– Нет, меня принимали его помощники. Но они тоже многое могут. То, что они делают с природой...

И последовал рассказ о волшебных источниках Окирингви, о съедобных деревьях бамантро, о загадочных пещерах Раддулинг, в которых можно заглянуть в будущее (Лев Робертович заверил, что заглянул, и далеко заглянул), и о многом другом. После рассказа знаменитый путешественник милостиво согласился ответить на вопросы и выслушать мнения слушателей. Однако Пётр предложил перенести обсуждение в другое место, где для гостей уже был накрыт стол. И они спустились в фуд-галерею, и отдали должное жаркому по-руфульски, салату труйя и винам с берегов Брейна. Потекла неспешная беседа – вначале о путешествии в Окирингви, потом о последних новостях из Периферии, а затем о судьбе друзей и знакомых, участников Погружения.

– А вы, мой юный друг, я вижу, до сих пор так и не женились? – спросил Павлик. – А ведь несколько месяцев назад ходили слухи...

– Нет, не женился, – улыбаясь, ответил Пётр. – Так ведь и никто из вас тоже не создал семью, хотя в вашем возрасте...

– А вот Вьюга с Леонидом живут душа в душу, – перебил его Юрий Алексеевич. – И Павел с Настей. Правда, детей ни у тех, ни у других пока нет. Да, и я слышал, что наша Таня тоже замужем. Причём муж здешний, какой-то проектировщик из Гросса.

– Увы, мой друг, ваши сведения устарели, – заметил Лев Робертович. – Проектировщик Мирдрат Торди ушёл от нашей Тани, как и первые двое мужей.

– Как вы только успеваете всё узнавать? – восхитился Княжевич. – И это при том, что вы постоянно в разъездах, то тут, то там...

– Понимаете, информация – она, как вода, струится и течёт, и надо лишь сидеть в правильном месте, чтобы к тебе стекали потоки разных сведений. Но вы ошибаетесь – я знаю отнюдь не всё. О некоторых людях из вашей группы, моих бывших спутниках в странствиях по царству Аида, я ничего не слышал.

– Ну, о Теплове, я думаю, вы знаете...

– Конечно, конечно! Кажется, мой друг Василий успел починить в Мире Перемен всё, что было здесь сломано за последние два столетия.

– После того, как он привёл в действие знаменитый зломер Респегга, его здесь вообще готовы на руках носить, – заметил Пётр. – Кого ещё мы не вспомнили? Андрей недавно закончил расписывать Центр Искусств в Югере и сейчас работает в Гроссе. О наших учёных вы, конечно, слышали...

– Я не просто слышал, я делал о них передачу. Побывал на Готаре, в Центре Изучения Форлонга, в котором они трудятся. Туда стекаются добровольцы со всего Гродля, готовые участвовать в экспериментах на себе. Мучительное, надо сказать, дело, совсем не академические исследования. Моисей в результате опять чувствует себя неважно – хотя, конечно, не так, как в камере мастера Василия.

– Да, я знаю, я связывался с Борисом Николаевичем, предлагал свою помощь, но он сказал, что не нужно. Но я знаете, о ком хотел спросить? О том лекторе и мыслителе, Метелице. Я хотел с ним списаться, встретиться, но нигде не мог найти его следов – ни в прессе, ни в общем Информатории. Это странно...

– Ничего странного, мой юный друг, – сказал Павлик. – Вы не слышали о Метелице, потому что он не смог удержаться в Мире Перемен, и его унесло на дальнюю Периферию.

– Не смог удержаться? Но почему? Такой эрудированный, блестящий оратор. Я до сих пор помню его лекцию о Мировом Яйце.

– Ну, вы же знаете особенности этого мира. Всякая ложь, всякое... в общем, всё это отражается в окружающем мире. Деревья сохнут, скот болеет... Да что я вам буду рассказывать известные вещи! Признаюсь: именно поэтому я был вынужден отказаться от своих первоначальных планов, так сказать, сменить ориентацию. Поверьте: это было непростое решение, очень непростое. Но я сделал этот шаг. А Метелица не смог. В результате ему пришлось покинуть Гродль. Он скитался по разным местам Периферии, пока не нашёл пристанище в Леморе, при дворе короля Карелиана. Там он исполняет обязанности придворного астролога, прорицателя и сочинителя хвалебных од.

– В Леморе? Сочинитель од? Но это неправильно! Я попробую как-то ему помочь... А ещё я хотел спросить об Олеге. Не знаете, где он?

– Этого никто не знает, – сказал Княжевич. – С ним произошла какая-то тёмная история.

– Знаете, что я хочу? – сказал Пётр. – Я хотел бы собрать всех, кто плыл на плоту, и тех, кто присоединился к нам позже, – и устроить ещё один сплав.

– Какая странная идея, мой юный друг! Сплав? Но где? Там, в прошлом, насколько я знаю, вы плыли по какой-то таёжной реке...

– Сейчас я хочу устроить сплав по великой реке Руэлен. От самых истоков до устья. Я хочу пригласить всех, всю нашу группу. А чтобы они все поместились и не было тесно – вы ведь знаете, я ненавижу тесноту, я построю большой плот – скорее даже корабль, а не плот. Как вам эта идея?

– Сплав по Руэлен? Кажется, такого ещё никто не делал. Что ж, я готов участвовать в этом предприятии. Да, на меня можете рассчитывать. Это будет увлекательное путешествие!

– Я тоже, наверно, присоединюсь. А вот Леонид с Вьюгой вряд ли пойдут – они всегда заняты. Да и наши учёные тоже вряд ли согласятся. Пожалуй, можно надеяться на Павла с Настей, а ещё на Татьяну...

И они погрузились в обсуждение деталей предстоящего плавания.

♦ ♦ ♦

Самый крутой и опасный участок подъёма, где каждый шаг грозил гибелью (вот она, пропасть, рядом), закончился, отряд вышел на относительно ровную площадку, и Ольгерд скомандовал привал. Воины спешно стелили плащи, подстилки, даже щиты – всё, что могло защитить от холода – и падали без сил. Все устали, даже записной шутник Порожняк не мог выдавить из себя никакой прибаутки, ничего, что могло развеселить товарищей. И только он, Ольгерд Мрак, ведший этот отряд, не мог позволить себе прилечь, выказать усталость. Он не спеша ходил от группы к группе, спрашивал, не порвались ли у кого башмаки (они совсем не для гор шились), как настроение. Заодно ненавязчиво

напоминал о богатствах страны, которую им предстояло завоевать. Да, он всегда находил в себе силы подбадривать солдат, всегда казался крепче остальных. За это его уважали в армии, за это (наряду с другими качествами, такими как храбрость, грамотность, полководческий талант и способность запоминать приказы) ценил император Колоброд. Ценил, выделял, в прошлом году дал ему титул герцога Попаданского и ближнего императорского советника.

«В чём же полководческий талант этого безродного выскочки, этого человека ниоткуда?» – мог спросить какой-нибудь завистник. Да хотя бы в том, что это он, Ольгерд, предложил императору совершить вот этот обходной маневр, перейти хребет Жуткарь, считавшийся непреодолимым, и ударить по врагам с тыла. Он предложил – и сам вызвался возглавить отряд. Кто из этих знатных прощелыг, этих генералов бальных залов мог решиться на такое? Никто! Во всей армии Колоброта он один знает, как ходить по горам, одолевая ледяные перевалы, как налаживать переправы через бурные реки. Когда-то, в прошлой жизни, он всё это отлично умел. И вот теперь пригодилось.

Отдых закончился, отряд вновь двинулся в путь. Они поднялись ещё немного и вышли на перевал Дундук. Слева возвышалась ледяная вершина Тупица, дышала холодом. Зато впереди – о, какой замечательный вид открывался впереди! Там лежали плодородные долины Мехта, виднелись сёла, утопающие в зелени, а ещё дальше можно было разглядеть море.

Когда-то, в прошлой жизни, ему нравилось подниматься на перевалы и видеть впереди незнакомые долины и чужие сёла, утопающие в зелени. Но затем, когда они спускались в эти долины, входили в сёла, которые сверху выглядели так живописно – тогда наступало разочарование, он это хорошо помнил. Да, в чужих краях цвели яркие крупные цветы, а по дорогам бродили чёрные, как смоль, свиньи (у нас таких не встретишь), маленькие ослики и белые задумчивые козы. Ну и что с того? Да пусть хоть слоны бродят, хоть жирафы с носорогами! Потому что везде, во всех этих сёлах и долинах, слышишь одно: «Это по чём?», «У меня со скидкой!», «Отдам за полцены, получишь большую выгоду!». И он делал, как все: покупал дешево, продавал дорого, выручку клал в карман, чтобы затем обратить её в итальянскую плитку для бассейна, кепку «Луи Витон» и самое лучшее виски, какое можно купить. Одного нельзя было получить в этих живописных долинах, в чужих сёлах: полной, распирающей грудь радости, настоящего счастья. Потому что ему, Ольгерду (в прошлой жизни его звали иначе), счастье – он это только здесь понял – доставляет только бой, звон меча, победа над врагом. Эту радость, радость сражения, ему дала его новая родина, великий Край, и Колоброд, император Края.

И теперь он с совсем другим чувством смотрел на все эти сёла, поля и виноградники. Ведь всё это должно было стать законной добычей армии императора, добычей его отряда. Это должно было укрепить любовь воинов к нему, Ольгерду. И он указывал солдатам на то или иное село, говорил, чем оно богато (он все эти данные заранее изучил). Настроение у воинов сразу поднялось, слышались весёлые возгласы, шутки.

Ну, а потом был бой – славный бой, в котором они обратили в бегство врагов, не ожидавших нападения с этой стороны. Затем последовал ещё один натиск – и вот уже вся армия короля дрогнула и стала поспешно отступать, без боя отдав Колоброду свою столицу, богатый город Ангбар.

В этих боях Ольгерд вновь проявил себя как мастер меча. В пылу боя счи-

тать было, конечно, некогда, но, по его прикидкам, он в течение дня сразил то ли два, то ли три десятка врагов. Он бы и больше сразил, если бы меч не тупился на глазах – никак не научатся наши оружейники делать хорошие мечи.

В столице отдыхали два дня. Колоброду было чем одарить воинов – и ещё богаче, ещё щедрее одарить отличившихся полководцев. Из этого похода Ольгерд возвратился в свой замок, ведя с собой двух новых наложниц и трёх рабов. У него уже имелись два десятка рабов, они обслуживали хозяйство в замке. И шесть наложниц имелось, но воину всегда хочется чего-то новенького, верно ведь?

Мехтские имена пленников ему было лень запоминать, и он одну наложницу назвал Таней, а другую Настей. Ну, и слугам, соответственно, дал новые имена – Башмаков, Паша и Лёня. У него уже был один Лёня, и Паша тоже был. Так что новым, чтобы можно было их отличить, он дал имена Паша Тупой и Лёня Лузер. И долго после этого (неделю, а может, и дольше) веселился, когда требовал к себе новых слуг: «Пашка, принеси кувшин! Да не ты, а Тупой!» Мелочь, а приятно. А вот Таня разочаровала, и спустя месяц он её продал.

Вскоре после возвращения он устроил большой пир. Даже не пир, а лучше сказать званый вечер. Созвал боевых товарищей – Глодаря, Мерзука, Зымаря и Ключаря, пригласил соседей, родовитых баронов. Что ж, приближённый советник императора мог позволить себе послать приглашение даже самому знатному из соседей, и тем было не зазорно принять приглашение человека, которого ещё вчера называли бродягой и нищим выскочкой. И многие приняли его приглашение, явились с наложницами, некоторые даже с жёнами. Звучала музыка, были устроены танцы, гостей развлекали шуты, стол ломился от яств. Веселье продолжалось до утра.

Когда-то, в прошлой жизни, он тоже устраивал большие пиры до утра. Приглашал друзей, деловых партнёров, некоторых из подчинённых. И так же рекой лилось (ну, не рекой, конечно, но лилось) дорогое вино, звучала музыка, и были женщины... Но другая, совсем другая там была музыка, и другие беседы велись за столом, и во всём была какая-то муть, натужность. А здесь – дружеское общение воинов.

Под конец, когда многие гости уже утомились, отправились в отведённые им покои, Ольгерд остался за столом в компании самых близких друзей и самых стойких из приглашённых баронов. И потекла неспешная беседа равных. Вспоминали былые сражения, рассказывали о необычайных приключениях, о дальних краях, в которых довелось побывать. Герцогу Попаданскому тоже было что вспомнить. Он рассказывал друзьям о мрачных подземельях, куда их обманом завлёк коварный колдун Вещун. Глубокая это была пропасть, дна не видно. Они спускались, уровень за уровнем, и за каждым углом их подстерегала смерть, таились вурдалаки, ожившие мертвецы. Но в итоге всё закончилось хорошо – он, Ольгерд, нашёл выход из подземелья и всех вывел.

– А кто были эти люди? – спросил Ключарь. – Твои друзья?

– Нет, пожалуй, друзьями их нельзя было назвать, – отвечал Ольгерд. – Я случайно попал в их компанию. Хотя не совсем случайно: меня пригласили, чтобы я помог бороться с трудностями. Сражаться с врагами. Среди них никто не умел сражаться. Нет, был один воин, капитан... как же его звали? А остальные... Женщины, дети, старики... Был один музыкант, трусливый глупец, был художник, писатель... несколько учёных...

– И где же они теперь? – продолжал допытываться Ключарь. – Живут в столице? Ведь император приветает художников и учёных.

– Нет, в столице я их не встречал, – сказал Ольгерд. – Скорее всего, они отправились дальше. В далёкие края.

– Если там были настоящие учёные, то они могли попасть в Вению, – неожиданно произнёс барон Мэллори, и все оглянулись на говорившего.

Следует сказать, что барон Хоул Мэллори был загадочной личностью. Рассказывали, что когда-то он был лучшим мечом короля, но затем внезапно покинул двор и уединился в своём замке. И ещё рассказывали, что он приветает странствующих музыкантов, акробатов и колдунов.

– Вот где настоящий рай для испытателей природы, – продолжал барон.

– А если там были хорошие музыканты и художники, то им следовало отправиться в Мир Перемен. Там бы им было самое место. Ведь все, кто имеет дар воспевать, изображать или описывать реальные либо легендарные края, получают там долгую и счастливую жизнь.

– А что это за края – Вения и Мир Перемен? – поинтересовался Ольгерд. – Что-то я никогда о них не слышал.

– Это не края, мой юный друг, – отвечал барон. – Вения, Мир Перемен (его ещё называют Гродль), так же, как Элеар или Трансемиус, – это миры. Они находятся бесконечно далеко от нас.

– Как же туда попадают? – спросил Глодарь. – Плывут на кораблях или идут караванами много дней и ночей?

– Нет, попасть в далёкие миры можно, только пройдя Коридорами, – отвечал Мэллори. – Но обычный человек туда не войдёт – нужно, чтобы тебя пригласили хранители Коридоров, скрытни.

– Какие удивительные вещи вы рассказываете, мой друг, – вступил в разговор другой сосед Ольгерда, граф Пустозвон. – Наверное, кроме вас, никто на всей Земле не знает о таких удивительных краях.

– Нет, почему же, император Колоброд знает о Мире Перемен, – отвечал барон. – И очень хочет туда попасть. Ведь там, по слухам, происходят настоящие чудеса, и ещё там текут легендарные реки Руэлен и Айно. Кто выпьет воды этих рек, получит доступ к ключам жизни и дар свободы.

– А я слышал о такой чудесной воде! – воскликнул князь Силен. – И не в каких-то далёких мирах, а за хребтом Бермудь. Этот источник охраняет свирепый великан. Но его можно задобрить, если преподнести ему...

И тут беседа ушла в сторону от бывших спутников Ольгерда, а также от загадочных миров, о которых говорил барон Мэллори, и больше к ним не возвращалась – ведь каждому хотелось рассказать своё, как это обычно бывает за столом. Ведь все эти суровые воины, лихие рубаки – признавал Ольгерд – в душе оставались детьми, жаждущими привлечь общее внимание. А он сам был не такой. Да, с того дня, когда он выбрался из той бесконечной шахты, с той минуты, когда убедился, что вслед за ним никто не идёт, он перестал быть большим ребёнком. Он испытывал радость в бою, он бывал счастлив, но какой-то червь (или клещ) сомнения явил его душу. Ему словно чего-то не хватало, всегда хотелось чего-то большего. Чего же? Может быть, он хотел испытать воды тех легендарных рек, о которых говорил его загадочный сосед, хотел получить дар свободы?

...Ему почему-то не спалось. Ольгерд встал, взглянул на спящую Настю,

скривился – нет, никакая она не Настя, не надо себя обманывать – и пошёл бродить по замку. Спустился в пиршественный зал. Здесь на лавках, на диванах спали его сотрапезники – под конец у них уже сил не было подняться в спальню покои, тут, в зале и остались. Он подошёл ближе, склонился над Ключарём – что, если закричать «Подъём! Враг атакует!», а потом смотреть, как тот вскакивает, хлопает крыльями – и вдруг заметил, что спящий не дышит. Не дышит, не шевелится – лежит, словно труп. Ольгерд притронулся к руке боевого товарища – рука была ледяная. Он оглянулся на остальных – с ними было то же самое. Все лежали, как манекены, как куклы. И тут он вспомнил, что такое уже бывало. Несколько раз в походах, бродя между спящими воинами, он замечал, что кто-то из них вроде бы не дышит. Но когда Ольгерд начинал его будить, тот начинал двигаться, хотя и не сразу, приходил в себя.

«Наверное, это просто такой сон, – успокаивал он себя. – Здесь так крепко спят». Но где-то на самой глубине, в Марианской впадине рассудка, вдруг возникла ужасная догадка: а что, если вся эта здешняя жизнь, которая так его радует – только обман? Подделка? Только имитация подлинной жизни? Не является ли его замок, и все живущие в нём – больше того, весь Край, вся эта Земля – не является ли весь этот мир порождением его фантазии? Не потому ли ему здесь так хорошо, так всё по сердцу?

Эта мысль явила его и жгла, он не знал, как с ней справиться. Но вдруг ему на ум пришло спасительное возражение: «Ладно, пусть так! – размышлял Ольгерд. – Пусть я выдумал императора Колоброда и барона Пустозвона, рыцарей Ключаря и Зымаря и свой титул тоже выдумал. Но вот эти миры, Вению и Гродль, реки... как он назвал тамошние реки? Ладно, имена неважны, ведь все слова – чужь собачья. Но вот этого всего я точно не мог выдумать, фантазии не хватит, и я никогда о таком не слышал! Да и самого барона Мэллори выдумать не мог!» Он подумал ещё немного и утвердился в этой мысли. Эта мысль внушала надежду.

♦ ♦ ♦

Последние метры подъёма были самыми трудными. Перевал вздымался перед ним, словно застывший гребень каменной волны – попробуй, взберись на меня. Шаг, ещё шаг... Леонид делал этот шаг, потом оглядывался – смотрел, как идут мальчишки. Они отставали, конечно – Генрих сильно отстал – но шли.

Но вот он одолел последний участок – и вышел на гребень. Конец, конец!

– Всё, конец! – крикнул он, обернувшись. Затем огляделся.

Слева возвышалась ледяная вершина Смадугирри, дышала холодом. Зато впереди – о, какой чудесный вид открывался впереди! Там открывались плодородные долины Гросса, виднелись сёла, утопающие в зелени, крыши домов, словно разноцветные брызги, а ещё дальше можно было увидеть море.

Когда-то, в прошлой жизни, ему тоже нравилось подниматься на перевалы и видеть впереди незнакомые долины и чужие сёла, утопающие в зелени. И когда он спускался с перевалов и входил в эти сёла, чувство новизны, радость новизны усиливалась. Здесь цвели крупные яркие цветы, по дорогам бродили чёрные как смоль свиньи (у нас таких не встретишь), маленькие задумчивые ослики и белые козы. Даже кошки тут были другие, даже птицы пели иначе! Жизнь всё время поворачивалась к тебе какой-то новой гранью, показывала

что-то, чего ты и выдумать не мог – и, как метлой, гнала прочь болотную скуку, пыльную усталость. Да, не все встреченные люди тебе улыбались, некоторые отворачивались – ну, и что с того? Никто не обязан радоваться твоему появлению – ведь ты не Дед Мороз с мешком подарков. Попробуй сам кого-то обрадовать, посмотрим, получится или нет. У него иногда получалось.

Послышались шаги, и Иван встал рядом с ним, а затем и Павел с Генрихом. Они также заглянули вниз, в открывшуюся их взорам долину, и смотрели, не могли насмотреться.

– Общий отдых! – скомандовал Леонид. – Копим силы. До вечера нам нужно спуститься вон туда, до границы леса. Там будем ночевать.

– А подъёма больше не будет? – спросил Генрих.

– Почему же? Обязательно будет. Надо будет подняться из положения «лёжа» в положение «стоя». А так – нет. Только спуск. Но на спуске тоже устаёшь, спускаться надо уметь. Когда пойдём, я вам покажу, как правильно идти. А сейчас лежи. Флиску под спину положи и лежи. Так быстрее отдохнёшь.

– Смотрите – вон орёл кружит, – сказал Иван. – А там ещё один.

– Да, здесь, наверно, только орлы, другие птицы здесь не живут.

Окружающий мир быстро терял краски. Всё, что горело охрой, цвело изумрудом, кобальтом, нежной зеленью, выцветало, делалось неразличимым. Стена леса словно приблизилась, окружив поляну чёрным кольцом. И ручей тоже будто приблизился, его плеск стал слышнее. За ручьём тонко просвистела ночная птица урист, в чаще прокричала сова. Звёздный узор, незнакомый земным астрономам, загорелся над головами людей, оставив место ледяному диску Децерна. Павел отставил в сторону тарелку и кружку с вином, достал гитару.

– Слушай, а ты помнишь, что мы тогда в Верхней Конторе пели? Про барашка помнишь?

– Про барашка? Мелодию, кажется, помню, а слова...

– Ничего, слова я знаю.

Песня про далёкий (и где эта даль?) Портленд, куда не дано вернуться поющим, хотя они и обещают стать кроткими, как овечки (а вовсе не барашки, ты спутал! это не я, это Таня тогда спутала), вступила в негромкий ночной оркестр, состоявший из свиста, уханья, плеска воды и шелеста листьев, заняла в нём достойное место. В окружающих кустах прошуршало, с другой стороны ветка хрустнула, блеснули чьи-то любопытные глаза.

– Смотрите, там кто-то есть! Вон, видите!

– Лось, наверно. Лоси часто выходят к костру, стоят, слушают. А ещё олени, еноты, рыси, волки, медведи... Много кто может прийти.

– Волки? Медведи? И вы так спокойно об этом говорите?

– Ты забываешь – это не Земля. Здесь никто на тебя не нападёт.

– Что же они, травой питаются, что ли?

– Почему травой? Просто человек не является добычей. И зверь не является, если умеет хоть немного говорить. Лоси часто умеют. Если успеет заговорить – на него не нападут.

– Как тут всё... необычно.

– Необычно. А зимой, в бурю, в сильный мороз, многие приходят в деревни, их подкармливают, дают, где укрыться, лечат. Мы с Вьюгой для этих целей специальный сарай построили. Хотя тут как раз ничего необычного нет,

так и на Земле делают. Слушай, у тебя ноги после подъёма не болят? Как вообще себя чувствуешь?

– Ноги – да, немного. И спина. А должно болеть, верно? Там, на подъёме, был такой экстрим.... Мы когда по леднику шли, я чуть не сорвался, представляете? Ноги поехали, и я ледорубом...

– Представляю. Генрих, а ты что молчишь? Ты как?

– Ничего, я норм. У нас завтра какая программа?

– Завтра доходим до села, там садимся в ульдер и летим в Ангбар – это столица. Там много есть, чего посмотреть. И для этого не нужно идти по карнизу.

– Я и по карнизу могу, устал просто. Я спать пойду, ладно?

– Иди, конечно. Мы тут ещё немного посидим.

Генрих повозился в палатке, устраиваясь, и затих. А Ивану спать не хотелось. Ему хотелось рассказать, как он шёл по карнизу и как по леднику, как проснулся после вчерашней ночёвки на седловине, вышел – а под ногами облака. Как шёл, о чём думал, что хотел спросить, но там, на леднике, не время было спрашивать. Всё это рвалось из него, он говорил, не мог остановиться. «Как же его там зажало, в жизни, – думал Леонид. – Хорошо, что он говорит, с ним не так трудно будет. С Генрихом сложнее».

Но вот и Иван устал, начал клевать носом, и его отправили спать. Павел убрал гитару, Леонид вновь наполнил кружки горьким тунским. В лесу захрустело сильнее, закачались верхушки самых высоких деревьев, и выше них, заслоня звезды, приблизился и встал косматый сгусток темноты.

– Слушай, а это кто? Это тоже живое, не фантом? Я о таких огромных не слышал...

– Это мумак. Их недавно прислали в дар Гродлю с Элеара. Верховный маг Земли Вертогт прислал три семьи. Одну поселили в Руфуле, а две здесь, в Гроссе. Теперь смотрят, как им здесь – по сердцу или нет.

– А если не по сердцу будет – что, вернут?

– Вернут, конечно.

– Понятно... Слушай, я всё хотел тебе сказать, да днём как-то не получалось. Хорошо, что ты меня сюда позвал. Перевал, лес, эти звери, а завтра ещё Ангбар... Нагляжусь напоследок. Потом уже не получится.

– Значит, вы твёрдо решили вернуться?

– Да, Настя твёрдо решила. А я... куда я без неё?

– Так она справилась со своими проблемами?

– С алкоголем? Да, справилась. Но только потому, что решила вернуться.

Понимаешь, ей здесь борьбы не хватает. Твердит, что здесь всё слишком мягкое, податливое.

– Ну да. Мастер Василий сказал бы, что ей не хватает сопротивления материала. Ей по характеру нужна вся жизнь стены прошибать, она по характеру борец, а здесь нет стен.

– Всё верно. Она ведь пыталась. Журналистикой занималась, боролась за права мигрантов с Периферии, потом ещё за закон о говорящих животных... Но это всё не то.

– Ну да, ей не хватает врагов. Вот мне, например, они ни при какой погоде не нужны. Ни враги, ни сражения. И такая борьба, насмерть, как на войне, не нужна. Но Настю я понимаю.

– Я тоже не хочу воевать, драться насмерть. Но... Там ещё осталось?

– Есть немного. Давай кружку. Ну... давай за ваш сознательный выбор. Слушай, я что хотел спросить: так вы поэтому детей не завели?

– Да, поэтому. Я хотел, а она ни в какую. Даже один раз делала... ну, понимаешь. Она ведь ещё почему решила вернуться? Говорит: как мы можем здесь сидеть, если знаем, что там людям угрожает? Всем вообще? Мы же видели ГЛУБЬ. «И я, говорит, должна сделать всё, чтобы никакой ГЛУБи не было».

– Ладно, с ней понятно. А ты что там, на Земле, собираешься делать? Настя будет бороться, а ты? У вас есть план, мистер Фикс?

– Есть. Я буду снимать кино. Стану режиссёром. Я здесь, в Тариоле, курсы прошёл, у Тины Шинтел учился. У меня даже сценарий есть – мне его Воинов написал. Боевой такой сюжет, вроде триллера. Про ГЛУБЬ.

– Про что, про что?

– Про то самое. Я по нему буду снимать и музыку к фильму сам напишу. Так что она будет бороться своими методами, а я своими.

– А вы куда вернётесь? Туда, где наш плот остался?

– Нет. Мы на эту тему говорили с Целевесом, и он обещал переместить нас в более раннее время – на год примерно раньше. Каждого в своё место, какое он раньше занимал. Так что нам ещё предстоит там заново встретиться – ну, словно мы незнакомы – жениться...

– Слушай, а ты не боишься...

– Есть, конечно, некоторые опасения. Но мы уже столько всего пережили – думаю, переживём и это. И потом... Помнишь, в своё время ты мне дал один совет? Я тебя послушал и с тех пор всегда так поступаю – и помогает. Думаю, и на этот раз поможет.

– Нет, я о другом. Ты ведь помнишь, как она у нас тогда появилась – там, в тайге? Почему там оказалась? Она бежала, спасалась. Так не получится ли и сейчас, что ваша борьба кончится тем же самым – бежать надо будет?

– Ну... всякое может быть. Я готов.

– Готов он... Ладно, мы с Вьюгой будем за вами следить. И если что – постараемся вытащить. Хотя это не всегда удаётся.

– Это ты мне говоришь? Я же тогда возле тебя дежурил, после второй операции, когда ты никак в сознание не приходил.. В любом случае – спасибо и тебе, и Вьюге. Да, ты прости за вопрос, но раз уж зашёл такой разговор... Ведь и у вас тоже детей нет... А у вас почему?

– У Вьюги не получается. Она уже всё, что можно, делала, ездила в Медицинский центр в Роллнор, там лучшие на планете специалисты. Но и они не смогли помочь. Так что мы теперь собираемся на Элеар. Нам Тонглат объяснил, что маги Огня точно смогут помочь. Если сам Либбртувнен согласится, то помогут. Так что мумаков переместили сюда, а мы отправимся туда.

– Мумаки... Слушай, а где он? Смотри – его нет.

– Ушёл потихоньку. Он ведь твои песни пришёл слушать. Говорят, им музыка нравится, хотя не всякая. А мы петь перестали, вот он и ушёл.

– Понятно... Слушай, я что ещё хотел спросить. Помнишь, мы там, в ГЛУБи, спорили, надо ли спускаться дальше, или лучше вернуться? И ты тогда сказал, что если Вожатый обещал показать там, внизу, последнюю истину о человеке, то надо идти вниз. Вот скажи: побывав там, на всех уровнях, а потом поднявшись сюда, увидев этот мир – узнал ты эту последнюю истину о человеке?

– Хороший вопрос, как говорит в своих передачах наш друг Юрий Алек-

сеевич. Последняя истина... Знаешь, я думаю, что её не существует. Ничего последнего, окончательного нет. А если есть что-то близкое, почти последнее, то людям оно редко открывается. Разве что каким-нибудь святым. Так что истину о людях я не узнал. Разве что об одном человеке – о себе.

– На хороший вопрос последовал хороший ответ. Знаешь что? Давай разольём, что там осталось, и выпьем за Вожатого.

– Это ты хорошо предложил. Главное – вовремя. Вот, по полкружки ещё наберется. Ну, за Вожатого и за капитана – за тех, благодаря которым...

– За них! А теперь знаешь что? Давай споем здешнюю – ту, что форлы поют.

– Это которая начинается «В сиянье рек, в мерцанье звёзд...»?

– Ну да. А потом там ещё строчки «Меж мраком и огнём...» Не знаю, как тебе, а на меня она сильно действует. А уж как на здешних... Я видел, как Гангут, когда пели, плакал. А ведь он скрытень, а они не плачут.

– Давай, только мальчишки уже спят...

– А мы тихо, без гитары.

Мумак Гаррдибегт не успел уйти далеко от стоянки. Он шёл вдоль ручья, направляясь вниз, к реке, когда услышал там, позади, новую песню. Люди пели тихо, но Гаррдибегт услышал. Он остановился и дышать старался тише, чтобы не потерять ни звука. Когда песня кончилась, он ещё немного постоял, ожидая, не будет ли продолжения. Но люди больше не пели.

♦ ♦ ♦

Окружающий мир быстро терял краски. Горный лес, горевший багрянцем, изумрудом, нежной зеленью; океан, ловивший все оттенки заката – всё это выцветало, словно пеплом покрывалось. Этот вечерний час, наряду с утренним, был лучшим временем для прогулок. И если не штормило, не надвигался ураган, учёные, работавшие на Готаре, отправлялись на берег океана. Их маршрут пролегал вначале по пляжу, затем тропа уходила в лес, поднималась к подножью скал, – а затем по другой тропе люди возвращались назад, к Центру. Они спешили использовать этот лучший час дня, чтобы дать голове отдых, ногам работу. Утренние часы тоже были прекрасны, люди их очень ценили – но утро они не могли тратить на прогулки, утро они отдавали делу.

Разумеется, не все люди, трудившиеся в Центре изучения форлонга, отправлялись на эту неспешную прогулку по берегу океана. Молодёжь (а молодых было немало и среди учёных, и особенно среди добровольных помощников, участников экспериментов) отдыхала иначе: кто-то летал на глайдерах, кто-то катался по океану на досках, а любители игр собирались в спорткомплексе. Так что мерить шагами остывающий песок (идеальный материал, чтобы начертать на нём какую-либо формулу или схему – на худой конец, весёлую рожицу) отправлялись только маститые дамы и мужи – такие, как основатель Центра Прак Целевес, Гленда де Руи, Ронтияр Векс и другие, им подобные. Компанию обитателям Гродя составляли люди с Земли, несколько лет назад сумевшие пробиться в Мир Перемен и подключившиеся к работе Центра – Косолапов, Шмидт, иногда Лернер. Медик же Егор Пухов, постоянно говоривший о пользе физической нагрузки, в прогулках участвовал редко – предпочитал сидеть на веранде.

Надо сказать, что люди, прибывшие с Земли, не сразу решились включиться в работу Центра (хотя Целевес после первой же беседы с Моисеем Соломонови-

чем сделал такое предложение). Уж слишком необычной была задача, которую ставили перед собой учёные, собравшиеся на Готаре. Это была та самая задача, которую в своё время сформулировал легендарный Огвар вер Прайд, учёный-мученик, один из героев эпохи Вторжения. Задача состояла в том, чтобы познать механизм функционирования уникальной природы Мира Перемен, сформулировать законы, заставляющие эту природу отзываться на все дела, поступки и даже чувства людей. Удивительная это была проблема, необычными были эксперименты, которые ставили сотрудники Центра, и заключения, которые делали по результатам этих экспериментов. Задача была настолько сложной, что Шмидт как-то признался, что у него иногда мозг закипает, пытаясь решить нерешаемое.

Впрочем, этот период знакомства с проблемой, с методами её решения давно остался позади. Сейчас, спустя шесть лет, четверо друзей трудились наравне с местными учёными, а иногда совершали открытия, удивлявшие уроженцев Гродля.

Сегодня был как раз такой день – день открытий. Косолапов и Шмидт оба закончили – так совпало, они не планировали – свои серии опытов, и был повод обсудить выводы. А кроме того, в конце рабочего дня, перед самой прогулкой Лернер высказал Борису Николаевичу свою новую идею – небывалую, удивительную идею, только что пришедшую ему на ум, и этот замысел, поражавший своей дерзостью, тоже требовал обсуждения.

– Значит, что же у нас получается в итоге? – рассуждал Борис Николаевич, неспешно шагая рядом с товарищем. – Я посмотрел твои распечатки, сравнил со своими результатами, и теперь мы можем сделать итоговый вывод, хоть на Совете завтра можно докладывать. А вывод такой, что средний темп деградации всего живого выше темпа развития, и эта разница выражается в коэффициенте 1,6. Это можно считать установленным фактом, ты согласен?

– Не буду же я спорить с результатами собственной работы, – отвечал химик. – Но я предвижу, какую бурю вызовет это наше заявление. Ведь этот вывод прямо противоречит формуле Целевеса – что импульс созидания в природе значительно превосходит импульс разрушения.

– Значит, нам всем придётся вернуться к результатам, на основании которых была выведена эта оптимистичная формула, и всё ещё раз проверить.

– А ещё нужно будет проверить и уточнить твою «кривую сопротивления изменениям». Она вызывает у меня большие сомнения. С выводами по насекомым я согласен. А вот общее заключение о хищниках, что они охотно отзываются на все деструктивные чувства и действия, а всякому созиданию сопротивляются, мне кажется поспешным. По некоторым видам мои результаты не совпадают с твоими. По кошачьим, например.

– Да, конечно, результаты по отдельным видам ещё надо проверять, и я не собираюсь выносить их завтра на Совет. Но я хотел обсудить с тобой другое. Знаешь, что мне сегодня сказал Моисей?

– Откуда? Но если ты мне сейчас сообщишь...

– Моисей задумал то, что ещё не приходило в голову никому из здешних. Он задумался над вопросом, как перенести механизм форлонга в другие миры. Понимаешь?

– Что же тут особенно понимать? – удивился Шмидт. – И что здесь такого нового? Ведь они этим уже сотни лет занимаются: форлонтары высаживают в мирах Периферии Деревья Крови, помогают им расти, поддерживают в этих

мирах заряд бодрости, созидания... В общем, выступают как прогрессоры, как сказали бы наши замечательные авторы.

– Нет, Максим, ты не уловил разницу. Моисей задумал не деревья высаживать, заряд усиливать. Он задумался над тем, нельзя ли всю природу других миров перестроить по образцу здешней, понимаешь?

Шмидт внезапно остановился – словно на стену наткнулся – повернулся к товарищу.

– Перестроить всю природу? – повторил он только что сказанное. – Чтобы вода в реках меняла свой вкус, росли новые деревья и травы?

– А ещё чтобы стихали, едва начавшись, ураганы, животные обретали дар речи, и происходило всё остальное, что нас здесь так поражало в первые дни, – подтвердил Косолапов. – Не больше и не меньше.

– Но... это грандиозная задача! – воскликнул Шмидт. – Такого никто ещё не предлагал! Это... А что, он и у нас, на Земле тоже предлагает так перестроить?

– Мы с ним это не обсуждали – он мне только идею высказал, в самой общей форме – но, думаю, да. Почему на Земле нельзя?

– Нет! – выкрикнул химик.

Крикнул так громко, что шедшие впереди коллеги обернулись. А Шмидт убеждённо повторил:

– Нет, и ещё раз нет! Ведь Земля – это... При таком количестве злобы, тупости, трусости, такой всеобщей лжи и ненависти... Ведь мы с тобой только что убедились, что даже здешняя природа – здешняя, ты подумай! – отзывается на зло в полтора раза охотнее, чем на любовь. А уж там... Если на Земле будет действовать механизм форлонга, вся планета вскоре превратится в пустыню – никакой ядерной войны не потребуются! Реки засохнут, а океаны, наоборот, выйдут из берегов и затопят сушу. Появятся новые виды насекомых, в сто раз злее, чем сейчас, а домашние животные начнут нападать на хозяев. Вот что случится, если вы с Моисеем... Это надо же такое придумать! Нет, нельзя, нельзя...

Он задыхался; силы внезапно покинули его, ноги не держали, он присел на камень. Косолапов стоял над ним в растерянности; он не ожидал такой бурной реакции. Потом медленно заговорил:

– Ты ошибаешься, Максим, честное слово, ты ошибаешься. Возможно, сказывается твой ужасный опыт, приобретённый там, на шестом уровне, опыт, которого у нас нет. Но ты неправ. Я изучал историю миров Периферии: Мерга, Кишму, Селима, Вении... Даже на Вении, которая сейчас процветает, были тёмные времена, царило такое же зло, как у нас. Земля не уникальна, Максим – просто мы её лучше знаем. И потом, никто ведь не говорит, что завтра мы уже начнем внедрять форлонг где-нибудь в Москве или... ну, в другом подобном месте. Это ведь пока только идея, ничего больше. И потом, подумай: а что, если получится? Если вдруг получится, а?

Шмидт поднял глаза на друга, на его лице появилась слабая, едва живая улыбка.

– Хочешь меня успокоить, да? – сказал. – Если получится, говоришь? Да, это был бы шанс... Возможно, единственный шанс обрести нормальную жизнь...

– Вот именно! – воскликнул Косолапов. – Не знаю, как у других, а у нас, в России, это может стать единственным шансом. И знаешь, что я тебе скажу? Я каждый день повторяю мысль, которая пришла мне здесь, на Гродле. Мысль простая: любви слишком много не бывает.

Шмидт покачал головой, попросил:

– Дай-ка руку, что-то мне встать трудно.

Поднялся, глянул вокруг – и вдруг схватил друга за руку, воскликнул:

– Смотри – что это?

Косолапов тоже огляделся – и замер. Вокруг того места, где они остановились, из-под камней повсюду поднимались крошечные, не больше булавочной головки, разноцветные ростки – изумрудные, зелёные, васильковые. Был слышен шелест, тихое постукивание: поднимаясь, цветы раздвигали гальку. Люди молчали, стояли, не двигаясь. Прошло несколько минут, и процесс прекратился. Теперь друзья стояли в центре обширной цветущей поляны. И тогда Косолапов заговорил.

– Ты время не засёк? – тихо спросил он. – Мне кажется, это продолжалось минуты три, не больше. Надо будет вернуться сюда с рулеткой, установить размеры, сфотографировать, определить вид этих цветов...

– И всё это внести в журнал наблюдений, – заключил Максим Рудольфович.

– Да, в журнал внести обязательно, – согласился Косолапов.

♦ ♦ ♦

Прошумели дожди, прошли первые холода, и осень вступила в свои права. Наступили дни, которые люди особо ценили. Они говорили (Немой как-то слышал), что каждый день в эту пору – словно драгоценный камень: хочется его огранить, убрать всё лишнее и заключить в хорошую оправу, чтобы потом, под мрачным небом зимы, под свист метелей, можно было вновь окунуться в его сияние.

Заморочники уже перестали летать, зато научились менять цвет, и в сумерках переливались всеми оттенками лилового и сиреневого. А вот межсезонники цвет не меняли – просто светились в схваченной морозом траве, словно крошечные фонарики.

Впрочем, Немого все эти переливы красок не интересовали; он был к ним равнодушен, равно как и к разговорам об особом сиянии осенних дней. Окружающий мир говорил с ним на языке запахов и звуков, ароматов и шорохов. Прямо сейчас мир сообщал ему на этом языке, что до назначенного места встречи осталось совсем недалеко и что на этом месте, на Поляне Отвара, уже собрались многие из тех, кого они с Тилди пригласили. Да и сама Тилди, его неверная союзница (предаст, когда-нибудь обязательно предаст!) уже была на месте. Но это совсем не означало, что Немому надо было спешить. Зачем? Без него всё равно не начнут. Имеющий силу не спешит, имеющий власть не торопится.

Разумеется, Немой не мог сформулировать эту мысль и тем более не мог её высказать – он её лишь чувствовал. Он потому и откликнулся на предложение Тилди, заключил с ней союз, что она значительно опережала его в способности мыслить и говорить. Тилди могла произносить даже такие трудные слова как «организация» или «необходимость». Сам Немой мог мыслить лишь простыми понятиями, такими как «есть», «желать», «бежать» и тому подобными. Да и эти слова он начал выговаривать совсем недавно – до этого, сколько лесные волонтеры с ним не бились, он лишь зубами щёлкал да подвывал. Потому его и называли нынешним именем. И тут вдруг (со злости, наверно) волк заговорил. Заговорил, хотя и коряво, научился думать – а имя осталось старое, какое вначале дали.

Волк миновал последние деревья и вышел на поляну. Да, большое общество здесь собралось! Пожалуй, Немому никогда ещё не доводилось видеть столько животных сразу; он даже слегка растерялся, но ничем не показал этого. Здесь были почти все, кого Тилди и Отшельница (она была третьей в их компании) приглашали: лось Тирист, рысь Ринки, кабан Молчун со своей Молчунихой, медведь Ярли (его присутствие было особенно важно, он пользовался большим авторитетом), овцы Эа, Уа и Беа, заяц Говорун... К сожалению, явились и те, кого Немой с Тилди и Отшельницей предпочли бы здесь не видеть: енот Арнольд, ёж Прак и пёс Бражник. Пёс был особо опасен: он полностью стоял на стороне двуногих и во всём поддерживал их линию. Впрочем, Бражник был бестолков, и Тилди надеялась нейтрализовать (Немой не понимал это слово, но догадывался о его значении) влияние агента двуногих при помощи некоторых приёмов. При этом она рассчитывала на голоса бессловесных, которых здесь было немало: группа овец, косули, горные козлы, пять семей немых кабанов, белки, вороны.

Когда Немой вышел на поляну, Тилди бросила на него короткий злой взгляд (опять опоздал!) и вышла на середину круга.

– Приветствую всех участников уважаемого собрания! – звонко произнесла она. – Как приятно видеть вас всех вместе! Только вместе мы становимся силой. Правильно я сказала, Молчун?

Это был тонкий ход. Кабан, с его медленным мышлением, конечно, не мог быстро отреагировать на речь лисы и промолчал. Тем самым он как бы выразил своё согласие, что и требовалось.

– Мы решили собрать вас всех, – продолжала лиса, – чтобы мы могли объединиться и сообща защищать наши интересы. Что мы видим сейчас? Что люди объединены, и они диктуют нам свою волю. А животные борются за существование каждое само по себе. Мы должны создать организацию и заявить о своих требованиях. Леса – зверям! А ещё мы должны избрать полномочного представителя, который представлял бы интересы всех животных, живущих по эту сторону хребта, в переговорах с людьми. Правильно я выразилась, Говорун?

– Правильно, интересно, любопытно, ещё говори, ещё! – затараторил заяц.

– Нет, неправильно! – пролаял Бражник. – Зачем требования? Люди и так о нас заботятся!

Это был настоящий вражеский выпад, и Немой невольно раздвинул губы, показав клыки. Однако Тилди была довольна. Да, это была реплика со стороны противника – но такая реплика, которую она ждала, на которую знала, как ответить.

– Да, конечно, о нас заботятся, – согласилась она с псом. – Нас подкармливают, подлечивают, нас обучают. Но этого недостаточно! Почему нас кормят только зимой? Нехватка пищи случается и летом. Почему нас лечат, только когда мы заболеем? Нам необходимо педагогическое... нет, прагматическое... нет, всё не то... В общем, нам нужно постоянное обследование и медицинская помощь. Нам нужно признание прирождённых прав животных! А может быть, даже и растений. Правильно я говорю?

– Правильно, правильно! – раздалось с разных сторон.

А Говорун, воодушевлённый речью лисы, захотел внести свою лепту в обсуждение.

– Прирождённые права! – зашепшил он. – Это ты верно сказала. Все животные рождаются свободными и равными в правах, и это надо утвердить!

– Все равны, но некоторые ровнее, – прогудел лось.

– Верно, верно! – одобрил заяц; он не заметил, что ему возразили. – Надо требовать лечения, кормления, а ещё обучения! Люди всех должны научить языку и всем дать имена! Все должны говорить!

Вот этого Немой не мог выдержать. На такую чушь надо было возразить.

– Если все заговорят, на кого тогда охотиться? – произнёс он.

– Ну, люди что-нибудь придумают... – растерялся заяц.

Обсуждение явно пошло наперекосяк, возникли разногласия. Положение спасла Отшельница.

– Не будем уходить в детали, – примирительно произнесла она. – Давайте примем решение по главному вопросу. Мы видели, что все согласились с тем, что предложила Тилди.

– А что она предложила? – спросил медведь, который всё быстро забывал.

– Уважаемая Тилди предложила создать организацию, объединяющую всех животных, живущих по эту сторону хребта, – напомнила сова. – Создать Фронт Освобождения Когтей. Кто за это предложение...

– Но почему только когтей? – возразил Говорун. – А как быть с теми, кого природа наделила лапами? Или копытами?

– Ты прав, Говорун, – согласилась лиса. – Давайте назовем нашу организацию так: Фронт Освобождения Копыт и Когтей, сокращенно ФОКК. Кто за это предложение, выразите своё одобрение, как можете.

Со всех сторон раздалось одобрительное гудение, блеяние и уханье. Отдельные голоса «против», исходившие от Бражника и Арнольда, потонули в этом хоре. Главное было сделано. Следовало закрепить этот успех, и Тилди быстро взглянула на Немого – наступила его очередь. Волк выступил вперёд и произнёс:

– Ещё надо избрать нашего представителя. Он будет защищать наши интересы на переговорах с людьми и выскажет ещё одно требование, о котором пока не сказали.

Он обвёл взглядом всех собравшихся и произнёс:

– Мы потребуем удалить из нашего леса чужаков! И никого больше сюда не привозить! Нам не нужно этого зверья – лемунов, дикобразов, дикоедов, павианов и мумаков. Нам самим места не хватает!

– Правильно, правильно! – раздалось со всех сторон.

Громче всех слова волка поддержали немые животные – кабаны, овцы и козлы. Говорить они не могли, но речь более-менее понимали. Чужаков, надо сказать, никто не любил, они всех раздражали, даже Бражника.

– Тогда давайте изберём нашим представителем Тилди, – произнёс волк. – Она хорошо говорит, она нас защитит. Кто за это предложение?

Крики поддержки снова перевесили редкие голоса «против». Молчун с Молчуницей воздержались, но на это никто не обратил внимания. А заяц почти-точно спросил у лисы:

– Скажи, Тилди, это ты сама всё это придумала – насчёт прав животных, создания Фронта Освобождения и всего остального?

– Конечно, сама, отвечала лиса. – Я долго размышляла и придумала.

На самом деле дело обстояло иначе. Идею создания Фронта Освобождения лисе подсказала Настя – женщина, явившаяся неизвестно откуда и сразу начавшая бороться за права животных. Она была вся заряжена на борьбу, и Тилди этому научила.

– Итак, мы создали наш Фронт, избрали нашего представителя, – вновь заговорила Отшельница. – Осталось отсверлить... нет, сфор... сфер... в общем, составить список наших требований. Давайте...

– Нет, мне это не нравится, – внезапно заговорил Молчун.

– Что тебе не нравится, Молчун? – спросила Тилди.

– Требования не нравятся и борьба с людьми тоже не нравится, – отвечал кабан. – Вы делаете из людей врагов, а это неправильно. Они нам помогают, и мы должны им помочь.

– Помочь людям? – удивился лось. – Но как?

– Мы можем научить их тому, что они плохо умеют, – объяснил Молчун. – Видеть, слышать, обонять, угадывать. Да ты сам знаешь, в чём они нам уступают.

– Молчун прав, – проревел медведь. – Люди нам не враги. Они нас любят.

– Правильно! – поддержал его лось. – Они нас любят, я это чувствую.

И я привык общаться с ними. Люди научили меня не только говорить, но и наблюдать, размышлять. И это великое... частное... участие... В общем, большая радость.

Немой не мог сдержаться, слыша эти слюнвявые высказывания. И не сдержался.

– Чепуха всё это! – заявил он. – Любовь, любовь! Что есть любовь? Кто её видел?

– Я видел! Я знаю! – раздался откуда-то с неба голос, подобный грому.

Все подняли головы, думая, что увидят кого-то из пернатых. Но вместо этого увидели огромную косматую голову, нависшую над поляной, два огромных бивня и два больших глаза. Это был, конечно, мумак. В пылу споров никто не услышал, как великан подошёл. А он продолжил:

– Я не могу сказать, какая она, любовь. Но я её чувствую! И я вот что скажу: любви много не бывает.

Он подумал ещё немного и убеждённо повторил:

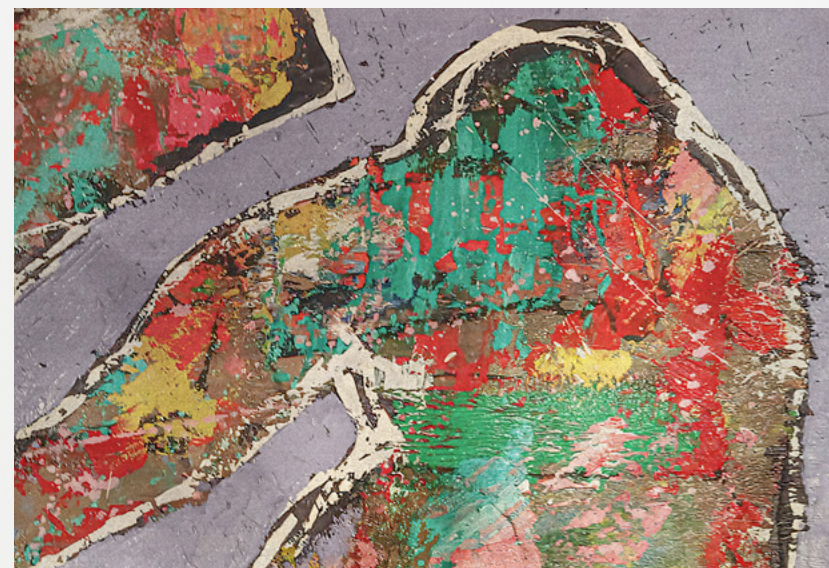
– Да, любви – много – не – бывает!

2021–2023

Саратов ■

Мир

историко-детективный роман





**Ефим
КУРГАНОВ**

📍 Париж, Франция



Фото: проф. Нора Букс

Родился в 1957 году. Доктор философии, доцент русской литературы университета Хельсинки.

Автор монографий «Литературный анекдот пушкинской эпохи» (Хельсинки, 1995), «Анекдот как жанр русской словесности» (СПб, 1997), «Сравнительные жизнеописания. Попытка истории русской литературы» (2 тома; Таллинн, 1999), «Василий Розанов и евреи» (СПб, 2000), «Лолита и Ада» (СПб, 2001, М., 2020), «Настасья Филипповна, князь Мышкин и другие» (СПб, 2001), «Похвальное слово анекдоту» (СПб, 2001), «Достоевский и Талмуд (штрихи к портрету Ивана Карамазова)» (СПб, 2002), «Русский Мюнхгаузен» (М., 2017), «Нелепое в русской литературе. Исторический анекдот в текстах писателей» (М., 2020).

Его перу принадлежат исторические романы «Шпион Его Величества» (2 тома, М., 2011) и «Старая уголовная хроника» (2 тома, СПб, 2022).

Шпион Его Величества, или 1812 год

(Историко-полицейская сага в 4-х томах)

Том 2-й Москва. Охота на французов

Эпизод 2-й

Сумасшедший губернатор, или Лубянка, 14

«Московская тетрадка» директора Высшей воинской полиции Я. И. де Санглена (20.05.1776–01.04.1864) не сохранилась. Однако все приведённые ниже факты соответствуют действительности.

Только для удобства изложения и для концентрации наиболее показательного материала я позволил себе несколько сместить, сжать хронологию, ни в коей мере не искажая ни духа, ни буквы самих событий начала июля 1812 года, когда Первопрестольный град Москва встречал императора Александра I.

Ефим Курганов

10 декабря 2006

Париж

Секретный дневник военного советника Якова Ивановича де Санглена

*Публикация и вступительные статьи
Андрея Зорькина и Никиты Безохотина*

*Перевёл с французского Александр Жульковский
Научный консультант профессор Роман Оспоменчик*

От публикатора

В муниципальном архиве города Ош (департамент Жер, Гасконь, Франция) хранится уникальный автобиографический материал – дневники Якова де Санглена, которые охватывают весь 1812 год. Это – своего рода летопись войны и предшествовавших ей месяцев и недель, наполненная целой россыпью неоценимых деталей.

Яков де Санглен не был случайным свидетелем разворачивавшихся тогда грандиозных событий. Он был одним из тех, кто вступил в единоборство с Наполеоном Бонапартом и пытался отражать удары наполеоновской завоевательной политики ещё до начала боевых действий.

Яков де Санглен, возглавлявший Особую канцелярию при российском министерстве полиции, с апреля 1812 года получил под своё начало Высшую воинскую полицию при Первой Западной армии, а потом стал директором Высшей воинской полиции при военном министре М. Б. Барклае де Толли. Строго говоря, он являлся шефом всей военной разведки Российской империи.

Несомненно, все сохранившиеся части дневника де Санглена представляют громадный исторический интерес. Сейчас мы вниманию читателя предлагаем так называемую «Московскую тетрадку». В ней описан визит в Москву в июле 1812 года императора Александра I и дни, которые непосредственно предшествовали этому визиту.

Гениальное описание этого визита мы все помним по великому роману-эпопее Льва Толстого «Война и мир». Однако были факты, которые Толстой то ли по незнанию, то ли сознательно отказался ввести в ткань своего повествования. Публикация дневника Санглена позволяет тут расставить совершенно новые акценты и по-иному осветить пребывание императора Александра I в Москве.

Остановимся сейчас хотя бы на двух моментах.

Момент первый. Вспомним, как в «Войне и мире» описана встреча с народом императора в Кремле (когда Петю Ростова чуть в толпе не придавили) – всеобщий восторг, обещания жизнь положить за царя и отечество:

«На всех лицах было одно общее выражение умиления и восторга. Одна купчиха, стоявшая подле Пети, рыдала, и слёзы текли у неё из глаз.
– Отец, ангел, батюшка! – приговаривала она, отирая пальцем слёзы.
– Ура! – кричали со всех сторон. С минуту толпа простояла на одном месте; но потом опять бросилась вперёд».¹

Лев Толстой точен – так всё и было. Но у этой встречи был совершенно неожиданный финал, который писатель почему-то решил опустить и даже понять, почему решил опустить – финал слишком уж контрастировал с началом.

Но Толстой даже не скрыл факты, связанные с появлением императора перед народом, а исказил их. Фактически писатель не опустил финал, а очень сильно его припудрил, настолько припудрил, что тут следует говорить о сознательной деформации совершенно реального исторического события.

Вот что на самом деле произошло.

По Кремлю вдруг разнёсся слух, что московский губернатор граф Ф. В. Ростопчин приказал запереть ворота, дабы всех особей мужского пола, оказавшихся в толпе, насильно отдать в солдаты ополчения. И толпа, тут же забыв о своих восторгах и патриотических обещаниях, в панике разбежалась.

Толстой же изобразил событие таким образом, будто стали бить пушки по случаю победы над турками, и это произвело некоторый отток толпы, но потом все вернулись, и государь, выйдя из Успенского собора, был по-прежнему окружён восторженным народом:

«Вдруг с набережной послышались пушечные выстрелы (это стреляли в ознаменование мира с турками), и толпа стремительно бросилась к набережной – смотреть, как стреляют. Петя тоже хотел бежать туда, но дьячок, взявший под своё покровительство барчонка, не пустил его. Ещё продолжались выстрелы, когда из Успенского собора выбежали, офицеры, генералы, камергеры, потом уже не так поспешно вышли ещё другие, опять снялись шапки с голов, и те, которые убежали смотреть пушки, бежали назад. Наконец вышли ещё четверо мужчин в мундирах и лентах из дверей собора. «Ура! Ура!» – опять закричала толпа».²

Ничего этого и в помине не было. Толпа в страхе бежала. Об этом, в частности, писал ростовский городской голова Маракуев (его свидетельство было опубликовано сначала в «Русском архиве», а затем было перепечатано в сборнике «Пожар Москвы»), и новое подтверждение данному факту даёт теперь дневник Якова де Санглена.

Момент второй. Лев Толстой в общем довольно иронически описывает графа Ф. В. Ростопчина как администратора. Так, например, в «Войне и мире» есть сцены, как били французского повара, как казнили купеческого сына Вереща-

¹ Толстой Л. Н. Война и мир, т. 3, ч. 1 // Собр. соч. в 12 т. М., 1958 г., т. 6, с. 95.

² Там же, с. 97.

гина, обвинённого в сочувствии Бонапарту, но это всего лишь мелкие штришки, не определяющие общей картины. Между тем, с подачи губернатора в Москве тогда творились страшные безобразия, граничившие с прямой изменой.

Ознакомившись с предлагаемой вниманию читателей первой «московской тетрадкой» Якова де Санглена, можно воочию представить себе ту поистине жуткую программу шпиономании, которую развернул летом 1812-го Ростопчин и его приближённые.

Небезынтересно будет узнать и о деятельности германо-российского легиона, который активно сотрудничал тогда с Российской военной полицией и активно содействовал победе над Наполеоном. Между тем, в «Войне и мире» не сказано буквально ни единого слова о деятельности легиона.

Без всякого сомнения, дневник Якова де Санглена даёт возможность по-новому взглянуть на многие события 1812 года и приоткрывает завесу над многими тайнами той трагической поры.

Андрей Зорькин, профессор

Москва

12 февраля 2007 года

От историка

Писатель, историк, переводчик и шеф русской контрразведки Яков де Санглен живо и достоверно запечатлел ту атмосферу шпиономании, которую летом 1812 года создал в Москве военный губернатор и московский главнокомандующий Ф. В. Ростопчин.

Публикуемая ныне часть дневника, без всякого сомнения, есть замечательный исторический документ. Но вот что в высшей степени интересно.

Общую концепцию шпиономании в преддверии войны 1812 года разработал как раз сам де Санглен. Напомню весьма показательное свидетельство Николая Греча: «Он (Санглен) взялся устроить высшую тайную полицию, набрал шпионов, завёл доносы»³. Но то, что у истоков шпиономании стоит сам де Санглен, конечно, совершенно не отменяет точности сделанной им оценки губернаторской деятельности Ростопчина.

Конечно, при этом не следует сбрасывать со счетов то обстоятельство, что официозный литератор николаевского царствования Николай Греч относился к агенту его величества Александра I с крайним предубеждением. И всё-таки в главном Греч прав: Санглен «набрал шпионов, завёл доносы». Более того, во многом саму идею шпиономании на русской почве придумал прирождённый француз Яков де Санглен, хотя тот же Н. Греч приводит слух, что он был побочным сыном какого-то князя Голицына⁴.

Таковы те дополнения, которые я хотел бы сделать к превосходной статье господина Филиппа Нора.

Никита Безохотин, историк и архивист

Москва

12 февраля 2007 года

³ Греч Н. И. Записки о моей жизни. М., 1990, с. 336.

⁴ Там же.

ПЕРВАЯ МОСКОВСКАЯ ТЕТРАДЬ

1812

07.07 – 15.07

*Ты всюду простираешь очи,
Открыл плоды ты развращения,
Сплетенья вымыслов пустых,
Плоды нерусского ученья,
Плоды бесед и обществ злых.*

Сергей Глинка. К портрету графа Ростопчина

Июля 7-го дня. 12-й час ночи

Вечер у графа Ростопчина, на его даче в Сокольниках, потряс меня и привёл в состояние полнейшего изнеможения. Но сначала два слова о самом графе, личность коего меня всё более и более потрясает.

Несмотря на приплюснуто-вздёрнутый нос и вытаращенные глаза, Фёдор Васильевич в высшей степени любезен, обворожителен, изысканно остроумен и производит в целом чарующее впечатление.

Но в широко открытых и даже как бы вытаращенных глазах его я сразу же заметил страх, слитый с ужасом.

И движется Фёдор Васильевич как-то лихорадочно, толчками. И вообще чувствуется в нём какая-то внутренняя трясучесть. И впечатление это у меня потом только укрепилось.

И графу есть чего страшиться. Ныне он выступает ожесточённым и даже яростным гонителем всего французского, главой нашей патриотической партии. Но насколько эта ярость может быть искренней? Ростопчин получил чисто французское воспитание, и самое галантно-двусмысленное остроумие его выдаёт парижскую салонную закуску.

Граф едва ли не ежесекундно хулит Бонапарта. Но и тут я позволю засомневаться в его искренности. В царствование императора Павла это именно Ростопчин был тот человек (он тогда заведовал иностранными сношениями, будучи первоприсутствующим в коллегии иностранных дел), который делал всё для того, чтобы посорить Россию с Англией и заключить союз с этим извергом Бонапартом. Только гибель безумного нашего императора остановила сие гибельное дело.

А теперь граф хочет убедить московскую публику, что если у Бонапарта и есть тут супротивник, то это он, Ростопчин. А дурачок Сергей Глинка (это и есть тот мячик, что был запущен графом)⁵ тут на каждом углу рассказывает, что если кому и под силу остановить злодея, так московскому главнокомандую-

⁵ Сергей Николаевич Глинка – известный наш патриот, литератор, издатель «Русского вестника» (позднейшее примеч. Я. де Санглена).

щему. Публика, как известно, глупа, так что она, может, и поверит, а я вот не верю.

Вообще антифранцузские демарши графа слишком уж подозрительны – они чересчур громко звучат и довольно грубо скроены. А ловля его сиятельством французских шпионов ни в какие ворота не лезет. Как рассказал мне московский полицмейстер Адам Фомич Броккер, когда я с ним случайно столкнулся в одной из зал губернаторской дачи в Сокольниках, где как раз и был вечер, основное гонение претерпевают французские повара. Английский клуб на Тверской просто осиротел. Да и собственного повара Ростопчин вдруг объявил шпионом Бонапарта и выслал.

Так что в Москве идёт гонение на поваров, достаётся гувернёрам и ещё учителям фехтования, а вот истинные шпионы при этом блаженствуют и преспокойненько приносят вред российской короне.

Да лучше бы граф супругой своей занялся – право дело, стоит.

Графиня Екатерина Петровна отпала от нашей православной церкви, приняла католичество и даже не думает скрывать этого. И граф терпит сие, но это ещё полбеды. Возникает мысль: уж не сочувствует ли он супруге своей?! Над этим стоит поразмыслить как следует.

Ещё Адам Фомич Броккер, усмехаясь, поведал мне, что Ростопчин ведёт неустанную борьбу с масонами, коих обвиняет в заговоре супротив России. И что делает его сиятельство? Он, например, арестовывает почтенного московского почт-директора Ключарёва, обвинив его в принадлежности к братству мартинистов. Но это ещё не всё.

Кому граф предлагает место почт-директора? Своему приятелю князю Цицианову, грузинскому князьку. Это известный болтун и записной враль, неподражаемый рассказчик лживых историй (его кличут «русским Мюнхгаузеном»), не способный при этом совершенно ни на какое дело, да и не желающий ничем заниматься, кроме как своей болтовнёй. Князь Цицианов не только никогда не служил по почтовому ведомству, – он вообще нигде и никогда не служил. Главное его занятие заключалось в том, что он проедал своё огромное состояние и ублажал гостей. Теперь проедасть ему уже нечего, своих гостей нет, и вот он ублажает гостей московских вельмож.

Слава Господу, сей Цицианов отказался (ему хватило на это ума) от безумного предложения московского главнокомандующего. Но Ростопчин хотел его назначить и назначил бы – вот в чём ужас. Да, губернатор, давно растерявший в себе всё русское, судя по всему, борется не столько с масонами, сколько с Россией.

И ещё одну историю поведал мне разоткровенничавшийся Адам Фомич. Оказывается, граф Ростопчин выслал в Оренбургский край (в город Верхнеуральск) профессора Московского университета Годфруа, выслал только потому, что тот француз. Годфруа писал оправдательные письма на имя министра народного просвещения и Государя, но оренбургский губернатор князь Волконский пересылал графу Ростопчину. Так что несчастный Годфруа по-прежнему находится в Верхнеуральске. Вот так-то.

Полицмейстер Адам Фомич Броккер, как я понял, недоволен губернатором, и он прав. Впрочем, сам Ростопчин жаловался мне на Броккера, говоря, что отнюдь не всегда в состоянии на того положиться. На меня же сей Броккер произвёл совсем неплохое впечатление, но я ещё с ним не раз встречусь: так что у меня будет возможность узнать его получше. И мне ещё предстоит зна-

комство с обер-полицмейстером Москвы Петром Алексеичем Ивашкиным (его на вечере не было)⁶.

Генерал-адъютант князь Василий Трубецкой подвёл меня к гражданскому губернатору Обрескову. Это милый, приятный, умный человек, но совершенная размазня. Ясно, что он не в состоянии противостоять безумным прожектам графа Ростопчина, что граф целиком и полностью подавляет его. Грустно, очень грустно. Обресков, кстати, ничего не говорил мне такого, что могло бы хоть как-то с нелестной стороны характеризовать Ростопчина, но чувствовалось, что он мало одобряет хаотические бросания московского главнокомандующего и военного губернатора. Это я понял из того, что Обресков рассказал мне один весьма занятный случай (попозже я запишу его).

Был на вечере и князь Дмитрий Евсеевич Цицианов, о коем рассказывал мне московский полицмейстер. Лживые истории его восхитительны (он поминутно рассказывает их – они из него просто выскакивают), но этому человеку, конечно, ничего серьёзного доверить нельзя: не моргнув глазом, он провалит любое дело, чего, между прочим, и не собирается скрывать.

Ужин ещё только подходил к концу, а Ростопчин уже подошёл ко мне, торжественно взял меня под руку и повёл к себе в кабинет. Первые же слова, сказанные мне графом, всё поставили на свои места. Собственно, далее я мог бы уже и не слушать. Вот что это были за слова: «Господин военный советник, я сильно рассчитываю на вас. Москва наводнена французскими шпионами, их отлавливают каждый день и каждую ночь, но их становится всё более и более. Они лезут буквально из всех щелей. Помогите. Надобно что-то делать. Здешние же полицейские чиновники – лентяи и воры». Причём, когда Ростопчин говорил это, глаза его дико вращались.

Да, мне было всё ясно, но губернатор, видимо, был несколько иного мнения. Во всяком случае, он продолжал говорить и говорил, не умолкая, ещё часа два, никак не менее.

Когда мы вернулись в залу, я вдруг заметил, что гостей явно прибавилось. Особое внимание моё привлекла одна парочка. Девушка была неопишуемой красоты – сверкающие каким-то тёмным блеском зелёные глаза, атласная кожа и чёрные, с синеватым отливом, длинные прямые волосы. Одета она была в строгих форм платье из тончайшего чёрного бархата, отороченное рядами крупного жемчуга. В общем, взгляда от неё оторвать нельзя было. Спутником же новоявленной гостьи был красавец-гигант, обладавший явной гвардейской выправкой. Правда, на нём была фрачная пара, но это ничего не меняло.

Я сразу же почувствовал в появившейся парочке что-то знакомое и двинулся навстречу. И вдруг меня как будто что-то резануло по голове, а потом вдруг подкосились ноги. Я остановился и прислонился к стене, чтобы не упасть (во рту у меня пересохло, на лбу выступил пот, руки дрожали) – это были графиня Алина Коссаковская и полковник Сигизмунд Андриевич, которых по моему приказанию безуспешно искал по всей Москве ротмистр Винцент Ривофинали. А они вот где оказывается: под крылышком у ловца шпионов графа Ростопчина! Да, ничего не скажешь – лихо придумано!

Заметила меня и сама парочка. Явно был замечен и мой испуг. Увидев, что я остановился, замер, графиня Алина Коссаковская радостно улыбнулась, поднялась и грациозно поплыла мне навстречу.

⁶ В будущем он дослужился до генерал-майора (позднейшее примеч. Я. де Санглена).

Бог ты мой! Сколько раз она уходила от возмездия! Убежала из наглухо замоченного дома на краю Вильны! Это был знаменитый каба́к Бауфала, в коем мы держали пленных французов. Оставляя сей дом, мы его подожгли – одна лишь графиня с полковником Андриевичем каким-то образом испарились. Сколько раз она угрожала жизни нашего Государя! А инструкции ей давал лично сам Бонапарт, назначая её орудием своих коварных замыслов. Только каким-то чудом мне удавалось предотвращать все эти покушения, но сама Алина всё же неизменно ускользала от нас. Как же будет теперь? Все эти мысли вихрем пронеслись в моей бедной головушке.

Но когда графиня приблизилась ко мне, я уже был спокоен и невозмутим.

Сладчайше улыбаясь, Алина проворковала, внимательно глядя мне в глаза:

– Господин военный советник, а я уже не чаяла вас встретить. Всё не едете и не едете в перевопребстольную. Мы уже решили, что вы новое какое-нибудь поручение получили, а вы вот и тут. Как же я рада вас видеть, ежели бы только знали это. Теперь будем встречаться почаще. Мы ведь тут остановились – нас приютил граф Ростопчин, предоставив в наше распоряжение целый этаж этой роскошной сокольнической дачи.

Несомненно, графиня Коссаковская отнюдь не случайно всё это сболтнула: она ясно давала мне понять, что она и полковник Андриевич находятся тут под защитой московского военного губернатора.

Выдавив из себя радостную улыбку, я отвечал в том духе, что будем теперь часто встречаться.

Отойдя от графини, я тут же принялся искать Дмитрия Павловича Рунича, секретаря графа Ростопчина.

Довольно быстро отыскав Рунича, я отвёл его в сторону и начал энергично шептать ему, что супруги Корсаковы (под этими подложными именами графиня и Андриевич прибыли в Москву) вовсе не супруги Корсаковы, а польские наймиты Бонапарта, прибывшие с целью убить нашего Государя. Я добавил, что они должны быть незамедлительно арестованы.

Услышав это, Рунич недоверчиво улыбнулся, но сказал, что всё передаст завтра графу. Я попросил сделать это тотчас же. Рунич кивнул и отошёл.

Минут через двадцать (я как раз доедал кусок отличного апельсинового бисквита) рядом со мною выросла высокая фигура графа, явно выражавшая недовольство и обиду. Граф уже не был изысканно вежлив и галантен, как во время нашего разговора в его кабинете. Довольно сердито и резко он сказал мне:

– Господин военный советник! Вы превышаете свои полномочия. Я даже слышать ничего не хочу об аресте господ Корсаковых, Это – российские дворяне (они подолгу жили за пределами России, но это совершенно ничего не значит) и мои друзья, и они тут находятся под моей защитой.

Когда же я стал объяснять Фёдору Васильевичу, что сии Корсаковы – вовсе не русские дворяне, а поляки, и что они являются агентами Бонапарта, граф Ростопчин гневно стрельнул глазами, сердито махнул рукой и зашагал прочь, выражая даже спиной своею крайнее недовольство.

Графиня Коссаковская издали наблюдала за этой сценой и весело заливалась. Полковник Андриевич от неё не отставал. Хохот их был громок, не очень приличен, но для меня вполне понятен: они торжествовали победу. Но, голубчики мои, вы рано радуетесь, слишком рано. Граф, при всей отпущенной ему власти, не спасет вас.

Да! Раз военный губернатор Москвы не внял выставленным мною резонам, придётся мне принимать свои собственные меры, неизбежные, надо сказать, меры. Без всякого сомнения, Алина Коссаковская и Сигизмунд Андриевич прибыли в Первопрестольную, дабы лишить жизни нашего Государя.

Ростопчин отошёл, а я остался стоять, грустно держа в руке бокал шампанского (я настолько расстроился, что забыл даже пригубить его).

Ко мне подкатил князь Цицианов и тут же начал рассказывать, что он умеет пробираться сухим между каплями дождя, что он может варить соус из куриных перьев, что одна его крестьянка родила семилетнего мальчика, и что первые слова его, в час рождения, были «дай мне водки», что овцы в его Грузии рождаются сразу разноцветными и поэтому нет надобности красить пряжу.

Однако остроумные вымыслы Дмитрия Евсеевича меня теперь уже совсем не смешили (скорее даже наоборот: фиглярство грузинского князя вызывало почти одно сплошное уныние). И вообще я более всего думал о том, как же уберечь нашего Государя от Алины. Так что мне теперь было не до цициановских лжей.

Вот, однако, истинно забавная деталь: по зале губернаторской дачи носился как уторелый поэт-патриот Сергей Глинка, издатель журнальчика «Русский вестник», и поминутно выкрикивал проклятия в адрес Бонапарта, подчас не весьма приличного свойства. Граф Ростопчин при этом брезгливо морщился, что губернатору совсем не мешает, как говорят, постоянно пользоваться услугами этого совершенно безумного пииты.

Июля 8-го дня. 8 часов утра

Записываю рассказ, который поведал мне гражданский губернатор Обресков на вечере у графа Ростопчина. Спешу это сделать, покамест обресковское повествование не выветрилось из памяти моей.

Вот к каким казусам приводит усиленный и даже неумеренный розыск шпионов.

Пятнадцатилетний отпрыск Катерины Фёдоровны Муравьёвой Никита бежал из родительского дому. Он ежедневно досаждал матушке своей, желая добиться от неё дозволения поступить на военную службу. Никита стал грустным, молчаливым, потерял сон. Матушка, хоть и встревоженная его состоянием, не могла дать ему столь желанное разрешение. Она не допускала, что он сможет перенести лишения утомительного похода.

Однажды, когда все собрались за чайным столом, Никиты Муравьёва не оказалось. Он ушёл ещё на рассвете, дабы присоединиться к нашей армии, отступавшей в направлении Москвы. Никита прошёл несколько десятков верст, когда его перехватили крестьяне и по виду его бумаг приняли за шпиона. Он имел с собою карту России и особую записку, в коей перечислены имена французских маршалов.

Юного Муравьёва задержали, когда за кринку крестьянского молока он расплатился золотым, связали и повезли назад в Москву, к графу Ростопчину, который тут же приказал посадить Никиту в яму, хотя он знал всё семейство Муравьёвых и его самого. Когда мальчика вели к Ростопчину, это увидел гувернёр его, швейцарец m-r Petra, бросился выручать беглеца и ещё более навредил ему, крикнув что-то по-французски. Гувернёра осыпали бранью и тоже схватили, но он сумел вырваться и побежал к Екатерине Фёдоровне и, понятное дело, всё ей рассказал.

Екатерина Фёдоровна тут же бросилась к Ростопчину, но граф ни слышать, ни знать ничего не хотел. Муравьёвой было отказано.

Два дня Никита просидел в яме.

Да, интересная деталька. Когда Екатерина Фёдоровна бросилась к Ростопчину, умоляя его о возвращении её ни в чём не повинного ребенка, тот сначала ничего и слышать не хотел, говоря, что пойман настоящий шпион и что он уже донёс о том Государю.

Вот такая произошла история, на самом деле совсем не случайная!

Июля 8-го дня. 12-й час ночи

С утра я поехал на Лубянку (со мной неизменно следовал коллежский секретарь де Валуа, единолично представлявший собою всю мою канцелярию). Там в доме номер 14, в голубом губернаторском особнячке, как и было заранее условлено, меня ждал обер-полицмейстер Пётр Ивашкин.

У сего обер-полицмейстера репутация самого отчаянного вора. Тут, между прочим, последнее время всюду идёт ропот, что он, посреди начавшейся войны, посреди непрекращающегося бедствия народного, отстраивает себе двухэтажный дом в Новинском. Однако Ивашкин неукоснительно исполняет все поручения графа Ростопчина – вот обер-полицмейстера покамест и терпят, а что будет в будущем – один Бог ведает. Но думаю, что когда уйдёт Ростопчин, его явно погонят. Или же он станет верным, на всё готовым рабом нового губернатора.

Порасспросив о положении в Первопрестольной, я приказал Ивашкину подвергнуть аресту и отправить в ссылку, ввиду скорейшего приезда сюда Государя Александра Павловича, графа де Шуазеля и аббата Лотрека – последние давно известны как прямые агенты Бонапарта.

Пётр Алексеевич отвечал мне, что он должен прежде испросить на сие дозволение у графа Ростопчина, без согласия коего никого из Первопрестольной выслать нельзя. На это я решительно отвечал, что разрешения графа в сем деле совершенно не требуется, ибо достаточно моего, и потребовал немедленно произвести арест.

Господи! Кошмар какой-то! Они арестовывают поваров и профессоров, а шпионов, заслуживающих виселицы, не трогают. Похоже на прямую измену. Но кажется, мой строгий тон подействовал на обер-полицмейстера. Полагаю, что ворюга сей порядочно струсил.

В общем, Ивашкин ретировался, а я отправился на Малую Дмитровку – в двух флигельках, примыкавших к дому капитана Уварова, был расквартирован отряд германо-российского легиона.

Да, обер-полицмейстер Ивашкин сообщил мне ряд интересных сведений о полицмейстере Броккере⁷.

На вечере у Ростопчина Адам Фомич в беседе со мною весьма критически оценивал деятельность московского военного губернатора.

Но оказывается, именно по представлению графа Ростопчина 6 июля сего года (то есть два дня назад) отставной почтовый чиновник Броккер был назначен московским полицмейстером. Вообще Адам Фомич чрезвычайно близок

⁷ В 1817 году А. Ф. Броккер был назначен петербургским полицмейстером (позднейшее примеч. Я. де Санглена).

к графу. Тот поручил ему все свои дела и имения. И Броккер неукоснительно выполняет все указания Ростопчина, даже самые безумные. И именно Броккер осуществляет по Москве преследование масонов, подчас принимающее самые возмутительные формы.

Как же согласовать с этим неприязненные отзывы Броккера о своём благодетеле? Вот каковы люди! А ведь Броккер мне поначалу понравился! Критика им действий губернатора была вполне дельной. Думаю, что Броккер хотел подлизаться ко мне. И не исключено, что он это делал, может быть, даже и по инициативе своего патрона.

Командир отряда легионеров подполковник Карл фон Клаузевиц обрадовался мне как близкому и давно ожидаемому другу. Мы пили в гостинной вкуснейший липовый чай, заедали его крепкими, но зато сладчайшими баранками и читали привезённую мною инструкцию – вернее читал де Валуа, а мы слушали. В инструкции подробнейшим образом были определены действия отряда на тот случай, ежели Бонапарт займёт Москву.

Фон Клаузевиц сказал, что сие произойдёт неизбежно – Москве никак не устоять. Но он добавил при этом: «Однако имейте в виду, господин военный советник. Ежели Бонапарт войдёт в Москву и тут же двинется далее, на Санкт-Петербург, у него ещё есть шанс на спасение. Ежели же император Франции хоть на недельку задержится в Москве, он погиб. Стояние в Первопрестольной деморализует Великую армию. Так что молитесь Бога, чтобы упоённый победой он задержался в Москве».

Особая часть инструкции касалась подготовки покушения на Бонапарта. Тут в гостиную были призваны поручик Кемпен и поручик Балакин, которые как раз и были посланы в Москву для осуществления этого покушения. Вот что я рассказал дополнительно сим двум проверенным, закалённым сотрудникам Высшей воинской полиции:

– Господа! Задание готовить покушение на Бонапарта по-прежнему остаётся в силе. Но Великая армия, Слава Господу, пока ещё не в Первопрестольной столице. И я сейчас хочу поставить перед вами задачу, требующую незамедлительного разрешения. Вот в чём дело. Бонапарт тоже не дремлет. Он готовит покушение на нашего Государя, намереваясь войти в обезглавленную Москву. Агенты, коим поручено тем или иным способом лишить жизни Александра Павловича, уже находятся здесь, и их необходимо уничтожить до появления среди нас Государя.

Мои слова вызвали у присутствующих живейший интерес и множество вопросов, и прежде всего их интересовали личности агентов Бонапарта. Особенно интересовался личностями покушающихся на нашего Государя поручик Иван Алексеевич Балакин.

Я сделал на этот счёт подробнейшее разъяснение:

– Я раскрою вам имена тех, кому Бонапарт получил обезглавить Россию. Это – графиня Алина Коссаковская и полковник Сигизмунд Андриевич. Их давно готовили к роли убийц нашего Императора. И несколько раз они уже почти были у цели. Мне удавалось разрушать их коварные замыслы, но сами преступники неизменно ускользали. Имейте в виду, господа офицеры, – теперь этого не должно произойти.

Подполковник Кемпен и поручик Балакин слушали меня внимательно и сосредоточенно. Когда же я закончил, они в один голос закричали:

– Но где же они? Как их обнаружить?

Я почувствовал в голосе Балакина дрожь: он явно был сильно взволнован.

Я отвечал:

– Господа, мне доподлинно известно, что графиня Коссаковская и полковник Андриевич местом жительства своего имеют Сокольники, а именно дачу московского военного губернатора.

Сие известие произвело сильное впечатление, но я продолжал говорить, как бы ничего не заметив:

– Да, господа, они живут у графа Ростопчина, но это совершенно не меняет дела – мне нужны головы Коссаковской и Андриевича.

– Как головы? – закричали несколько изумлённые Балакин и Кемпен.

– Именно головы, – спокойно отвечал я и ничего не стал разъяснять при этом. Но, само собою разумеется, я имел в виду только то, что Коссаковская и Андриевич должны быть уничтожены и сделать это необходимо до приезда Государя. И больше на этот счёт никаких вопросов мне не задавалось.

В завершение беседы я пообещал Балакину и Кемпену, что выделю им в помощь квартального надзирателя Шуленберха и надворного советника Павла Александрыча Шлыкова. Обе эти личности Балакину и Кемпену прекрасно известны ещё по житью в Вильне в апреле и мае сего года. Особенно обрадовался Балакин – он с надворным советником Шлыковым был в весьма приятельских отношениях.

На этом совещание на Малой Дмитровке закончилось.

Затем я отправился опять на Лубянку, 14, где меня уже поджидал обер-полицмейстер Ивашкин. Пётр Алексеич сообщил об исполнении моего приказа – граф де Шуазель и аббат Лотрек уже арестованы. Я тут же написал записку поручику Шлыкову, в коей приказывал ему допросить графа и аббата, старых его знакомцев.

Ужинал я с де Валуа и генерал-адъютантом князем Василием Трубецким в Дворянском клубе.

Там около нас всё время вертелся князь Дмитрий Евсеевич Цицианов, не состоявшийся почт-директор Первопрестольной столицы нашей. Впрочем, в некотором роде Дмитрий Евсеевич всё же является почт-директором, ибо постоянно разносит по Москве всякого рода небылицы, новости-анекдоты. Лживые истории этого грузинского князька, поначалу сочтённые мною весьма забавными, мне кажутся теперь совсем несносными.

Дмитрий Евсеевич рассказывал о своей чудо-шубе, которая так легка, что укладывается в носовой платок и носится по воздуху как перо, так что даже поймать её бывает порою трудно. Глупо! Москвичи, между тем, отчего-то смеются. Может, оттого, что глупо. Или оттого, что князю Цицианову симпатизирует военный губернатор. Мне всё же успех цициановских небылиц не очень понятен.

Был ещё в клубе Сальваторе Тончи. Он – живописец. Родом итальянец. Замечательно рисует портреты знати. Но кроме этого, Тончи ещё страшно забавен и вызывает тут много смеху. Он принадлежит к числу оригиналов, посещающих графа Ростопчина, ублажающих графа и согласных испытывать на себе грубые его насмешки. Легковерность и пугливость его совершенно невероятны. Склонность его к панике невообразима. Он, несмотря на свои лета, немолодые уже лета, необыкновенно ветрен и пуглив. И вот в здешнем обще-

стве Тончи (он совершенно не знает русского) страшат тем, что его народ примет за французского шпиона и растерзает. Или же начинают рассказывать, что Бонапарт поймает Тончи и велит предать казни как всецело предавшегося русским. И от тех и от других историй Тончи дрожит и чуть ли не рыдает.

Придумал сию игру граф Ростопчин и москвичи её с удовольствием продолжают. Даже Николай Михайлович Карамзин, великий наш историограф, с самым серьёзнейшим видом участвовал давеча в запутывании бедного художника.

Так что в Дворянском клубе было совсем не скучно. Меня там только раздражали лживые истории князя Цицианова, которые он распространяет с излишней, как мне кажется, назойливостью. Тончи же очень мил.

Вернувшись с час назад в домик, снимаемый ротмистром Винцентом Ривофиналли, я устроил краткое совещание, на коем объявил, что квартальный надзиратель Шуленберх и надворный советник Шлыков временно переходят в отряд подполковника Егора Кемпена и поручика Ивана Балакина и, соответственно, будут числиться в составе германо-русского легиона. В связи с этим Шуленберху и Шлыкову надлежит завтра с раннего утра, даже не дожидаясь завтрака, отправиться на Малую Дмитровку, в дом капитана Уварова. Их там уже ждут, и с большим нетерпением.

Потом я отозвал Шуленберха и Шлыкова из гостиной в кабинет и конфиденциально сообщил им, что они будут участвовать в поимке графини Алины Коссаковской и полковника Сигизмунда Андриевича. И надворный советник и квартальный надзиратель остались довольны новым заданием, и особенно, конечно, Шлыков, коему в своё время немало досталось от сей чертовки Алины. Надеюсь, Павел Александрыч наконец-то наверстаёт упущенное.

Потом мы сели пить чай с баранками. Позвали к столу князя Василия Трубецкого, страстного поедателя московских баранок. Он может зараз запихнуть в себя их не один десяток.

Теперь вот идём спать.

Июля 9-го дня. 7-й час вечера

Когда я проснулся, Шлыкова и Шуленберха уже не было, Трифон только готовил завтрак, де Валуа уже возился с бумагами, а генерал-адъютант Трубецкой о чём-то задумчиво беседовал с родственником своим полицмейстером Вейсом.

За утренним кофеем князь Василий Трубецкой рассказывал местные новости (у него тут свои агенты), главная из коих касалась Николая Ивановича Тончии.

Итальянец Тончи исчез. Это случилось вчера ночью, после ухода из Дворянского клуба – его, с лёгкой руки графа Ростопчина, всё-таки допутали. Вообще вторжение французов ужасно поразило его. Он впал в какую-то меланхолию. Его преследует несчастная мысль, что подозреваемый в шпионстве, предательстве и неблагорасположении к французам он сделается первой жертвой Бонапарта.

Тончию пришла вдруг несчастная мысль при занятии неприятелем Москвы бежать из города и скрыться в Сокольничий лес. Человек, посланный для его отыскания, начал в лесу кричать: «Мусье! Ау!» Тончи ещё более перепугался от этих криков, приписывая их злодеям, посланным дабы предать его мучи-

тельной смерти. Одержимый страхом, разными странными и нелепыми мыслями и страхась истязаний, представлявших воображению его, Тончи решил упредить своих убийц и, вынудив из записной своей книжки перочинный ножик, решил перерезать себе горло, но не умел или не смог довершить роковое своё намерение. Человек, посланный для его отыскания, нашёл его окровавленным и лежащим без чувств под деревом. Но теперь жизнь Тончи вне опасности.

После завтрака явился Адам Фомич Броккер, новоявленный московский полицмейстер. То, что он поведал, заставило нас забыть о приключении, случившемся с Тончи. Князь Трубецкой вообще не хотел верить в истинность сего происшествия. И надо сказать, что он упорствовал довольно долго, хотя Броккер мало походит на шутника.

Да, кажется, московскому губернатору место всё-таки в Жёлтом доме. Вот что он вытворил. Сам Броккер был явно растерян. Приказав арестовать множество французских поваров и гувернёров, граф Ростопчин затем велел погрузить их на барку и отправить на Волгу, подалее от Первопрестольной столицы нашей. Ещё при этом Фёдор Васильевич произнёс французский каламбур, весьма тонкий и изящный, оттеняющий всю безобразность его губернаторских поступков: «*Entrez danc la barque, et rentrez dans vous merries*» («Взойдите на барку и войдите в самих себя»). Но для высылаемых всё это отнюдь не было шуткою. Полагаю, что Государь будет в ужасе от всей этой истории, да и не он один.

Да, несчастным французам, высылаемым из Москвы, было зачитано следующее обращение генерал-губернатора, издевательское и совершенно возмутительное:

– Французы! Россия дала вам убежище, а вы не перестаёте замышлять против неё. Дабы избежать кровопролития, не запятнать страницы нашей истории, не подражать сатанинским бешенствам ваших революционеров, правительство вынуждено вас удалить отсюда. Вы будете жить на берегу, посреди народа мирного и верного своей присяге, который слишком презирает вас, чтобы делать вам вред. Вы на некоторое время оставите Европу и отправитесь в Азию. Перестаньте быть негодяями и сделайте хорошими людьми, превратитесь в добрых русских подданных из французских граждан, какими вы до сих пор были; будьте спокойны и покорны или бойтесь ещё большего наказания. Войдите в барку. Успокойтесь и не превратите её в барку Харона. Прощайте, в добрый путь.

Господи помилуй! Как же остановить губернаторские неистовства?! Как прекратить эти безумные выходки?

Обедал я у коменданта Кремля генерала Гессе. Со мною были де Валуа и генерал-адъютант Трубецкой. Среди гостей был гражданский губернатор Обресков. Генерал Гессе дико зол на военного губернатора – просто зубами скрежет. И иначе как «изменником» и «трусом» его не называет. Оказывается, граф Ростопчин запрещает москвичам покидать Первопрестольную и не разрешает вывозить ценности.

Генерал Гессе поведал мне, что, когда митрополит Августин после литургии в Успенском соборе пожелал отправить в Вологду церковные богатства, генерал-губернатор сказал, что он не позволяет этого ради сохранения спокойствия среди простых граждан.

Поразительно! Московский главнокомандующий боится москвичей и из страха, видимо, демонстрирует свою ненависть французам. О! Это истинно «сумасшедший Федька» (слова прозорливейшей государыни Екатерины).

Прямо от генерала Гессе я и де Валуа поехали на Лубянку, 14 – я хотел самостоятельно допросить графа де Шуазеля и аббата Лотрека (они содержались под арестом в подвалах губернаторского особняка; прямо отсюда их и отправят через несколько дней в один из глухих уголков Оренбургской губернии).

С надворным советником Шлыковым давеча пленные отказались разговаривать, а вот у меня с ними беседа получилась, ведь всё-таки мы старые знакомые. Я бы даже сказал, что граф и аббат разболтались, выдав мне толику своих профессиональных тайн. В частности, де Шуазель пересказал мне одно письмо Бонапарта, в коем тот приказывал Алине Коссаковской попросить аудиенции у Государя, когда Его Величество прибудет в Первопрестольную, а ежели аудиенция будет дана (а она, несомненно, будет дана), то прелестная Алина должна будет заколоть Александра Павловича.

Какой же всё-таки он мерзавец! И это ведь не разбойник с большой дороги, а император!

Да, указание, которое я дал подполковнику Кемпену и поручику Балакину, было совершенно неизбежно – от Коссаковской и Андриевича необходимо избавиться, и как можно скорее: они представляют крайнюю опасность для судеб нашей Империи.

Вернувшись в домик, снимаемый ротмистром Ривофиналли, я перекинулся парой слов с генерал-адъютантом Василием Трубецким, а потом принялся писать письма к Государю, Аракчееву, Барклаю и барону Штейну (к ним я присовокупил материалы допросов графа де Шуазеля и аббата Лотрека), а также к некоторым своим агентам, находящимся за пределами Первопрестольной.

Теперь же, в ожидании ужина, делаю записи в дневнике.

Июля 9-го дня. Почти полночь

Не успели мы отужинать, как явился квартальный надзиратель Шуленберх. Встретили его такими кликами радости, как будто мы не виделись, по меньшей мере, года два. Когда всё немного успокоились, Шуленберх рассказал следующее.

Подполковник Карл фон Клаузевиц установил регулярное наблюдение за ростопчинской дачей в Сокольниках: четыре солдата и два офицера германороссийского легиона постоянно следят за всеми, кто уходит отсюда и входит туда.

Балакин же и Шлыков постоянно находятся на ростопчинской даче: Балакин сразу же смог устроиться туда садовником, и он содействовал тому, чтобы Шлыкова взяли в штат сокольнической обслуги поваром. Кстати, нанимал их обоих полицмейстер Адам Фомич Броккер, но он не имеет ни малейшего представления о том, что они оба относятся к ведомству Высшей воинской полиции. То, что подполковник Кемпен и поручик Балакин попали в дом к самому графу Ростопчину, это просто отлично! И тут главная заслуга, несомненно, принадлежит Балакину: это именно он первым проник в Сокольники на губернаторскую дачу.

Только бы Алина раньше времени не признала нашего Павла Александры-

ча: на самом деле, сего мне очень даже не хотелось бы. Но покамест всё идёт как по маслу. Надеюсь, так же будет и впредь.

Однако времени у нас остаётся крайне мало: Государь, по имеющимся у меня сведениям, уже должен быть в Смоленске.

Было уже поздно, и мы оставили ночевать Шуленберха в домике ротмистра Ривофиналли, а завтра на рассвете квартальный надзиратель отправится в Сокольники. Перед завтраком Шлыков обещал на минутку выскочить из дому и рассказать ему новости.

Когда все улеглись, я и де Валуа ещё смотрели бумаги, потом я отвечал на донесения агентов (Заксу, Марковскому, Майзлишу).

Де Валуа уже ушёл к себе, а я примусь-ка сейчас, хоть на полчаса, за давно заброшенных мною «Разбойников» Шиллера.

Кстати, в письмеце Яши Закса была новость, необыкновенно позабавившая и одновременно порадовавшая меня. В числе агентов Высшей воинской полиции впервые появилась женщина. Жительница Риги некая Таубе Адельсон направилась в тыл неприятельских войск и пересылает Заксу для нас весьма важные сведения. Де Валуа утверждает (он говорит, будто видел бумаги), что в 1806–1807 годах сия Таубе Адельсон уже оказывала нам содействие.

Так что у Бонапарта есть Алина, а у нас теперь есть неведомая, но, может быть, тоже привлекательная Таубе. В общем, мы не отстаем от передовых французов.

Вклейка:

АГЕНТЫ ВЫСШЕЙ ВОИНСКОЙ ПОЛИЦИИ (северная группа)

Гирш Альперн
Яков Закс
Меер Марковский
Моше Майзлиш
Таубе Адельсон

Писал коллежский секретарь де Валуа

Москва.

Августа 5-го дня.

Июля 10-го дня. 6-й час вечера

Когда я проснулся, квартального надзирателя Шуленберха с нами, естественно, уже не было, – он ещё на рассвете поехал в Сокольники.

Позавтракав в обществе генерал-адъютанта Трубецкого, я и де Валуа тут же отправились на Лубянку, 14. Граф Ростопчин нас ждал. Был он любезен, но французов ругал нещадно, подчас совершенно не стесняясь в выражениях и позволяя себе всякие грубые противу них выходки. Но разговор в первую очередь зашёл о выставленных во всех мелочных лавках Первопрестольной столицы портретах Бонапарта. Товар этот сбывается весьма поспешно, потому что цена

ему одна копейка медью. Дешевизна эта заставляет всякого приходящего покупать изображение проклинаемого всеми завоевателя.

Вот и я, прикупив несколько экземпляров, принёс один графу, сообщив, что по городу носится молва, будто портретики сии были сделаны по приказанию графа Ростопчина в числе десяти тысяч экземпляров, что назначена столь ничтожная цена для того, чтобы умножить число покупателей и ознакамливать тем весь православный народ с чертами Бонапарта. Также рассказывали на московских площадях, будто графом Ростопчиным обещается десять тысяч целковых тому, кто убьёт этого врага рода человеческого.

– Чего только не выдумают на этого бедного Ростопчина, – сказал на это граф, сложа руки и обращая комически глаза к небу, – ведь право похоже, и цена сходная; впрочем, рожа эта не стоит более копейки. Но отчего не сказано тут ничего в честь великого этого мужа? – прибавил граф.

– Значит, надобно вам что-нибудь тут приписать, – отвечал я.

Граф Ростопчин, взявши карандаш, на подаренном ему мною экземпляре пририсовал Бонапарту усы, которых тот никогда не носил, и сделал затем следующую надпись (привожу её, не переменив буквально ни одной буквы):

*Ну, право, дёшево и мило – покупайте
И харей этой свою жопу подтирайте⁸.*

Есть, кстати, у графа Ростопчина насчёт Бонапарта отзывы и похлеще, такие отзывы, что их и в секретном дневнике не хватает духу воспроизвести. Но Бог с ними, с ростопчинскими шуточками, с его дрянными играми в простонародность. Однако поистине ужасно то, что меры, предлагаемые его сиятельством для борьбы с этим супостатом, всё сильнее и сильнее отдают Жёлтым домом. Ей Богу, становится не по себе. Весь ужас нашего положения заключается в том, что граф как московский главнокомандующий свою цель видит в противодействии воображаемому заговору масонов, будто бы стоящих на стороне Бонапарта. И вот гонения на московских масонов наряду с преследованием французских поваров и гувернёров и составляет основное содержание нынешней деятельности Ростопчина.

Обедал я у гражданского губернатора Обрескова, и он мне порассказал такое, что волосы просто встают дыбом. А де Валуа, который был со мною, начисто отказался верить во всё происходящее. Но, увы, гражданский губернатор мало расположен к сочинению небылиц. Он совсем не князь Цицианов.

Оказывается, граф мало того что занят преследованием масонов вместо того, чтобы отыскивать агентов Бонапарта. Его сиятельство ещё объявил, что средоточием масонов является весь Московский университет, и, значит, именно университет загажен шпионами. Вы требуете доказательств? Пожалуйста. Главный аргумент, выставляемый графом, следующий: попечителем университета является Павел Иванович Голенищев-Кутузов, а так как он масон, то следовательно по университету рассеяна масонская зараза. А вся Моховая, на коей расположен университет, объявлена прогнившим местом.

Вот что поведал мне Обресков.

Я отлично знаю Павла Ивановича Голенищева-Кутузова. Это малосимпатич-

⁸ Увы, эта эпиграмма, действительно, принадлежит перу графа Ф. В. Ростопчина (примеч. Филиппа Нора).

ный и, я бы даже сказал, мерзопакостный человек, способный на всякие гнусности, но всё-таки он никак не может являться агентом Бонапарта.

Вообще ростопчинские гонения на университет в это тяжелейшее для нас время не лезут ни в какие ворота. И более всего граф ополчается на профессоров, хотя и студентам порядком достаётся.

После обеда у Обрескова я отправился на Лубянку, 14, в губернаторский особняк, ибо хотел ещё раз допросить графа де Шуазеля и аббата Лотрека перед отправкой их в Оренбургскую губернию. Когда допрос был закончен (длился на сей раз он всего минут сорок), ко мне подошёл Аркадий Павлович Рунич, заведующий канцелярией графа Ростопчина, и меж нами состоялась довольно продолжительная и откровенная беседа, которая, кажется, была полезна для обоих.

Аркадия Павловича довольно многое изумляет в поведении графа. Рунич рассказал мне, что Ростопчин выгнал многих полицейских чиновников, объясняя, что их деятельность бесполезна при нынешних обстоятельствах, а выдвинутый его сиятельством Броккер мало что понимает в полицейской службе, ибо прежде он был чиновником почтового ведомства.

Аркадий Павлович, окончательно разоткровенничавшись, вытащил из своего портфеля сложенный вдвое листок бумаги и дрожащей рукой протянул его мне. То был, оказывается черновик письма (а точнее донос), отправленного Ростопчиным Государю. Это оказался довольно-таки поразительный документ. Я сделал из него выписку. Вот она:

«Все эти дурные слухи, которые имеют целью внушить страх, встревожить вас, обвинить, все происходят от Мартинистов и от Университета, состоящего из профессоров и студентов – отчаянных якобинцев. Кутузов, который отравляет умы, был во времена императора Павла чиновником тайной полиции. Чеботарёв и сектант Дружинин – злые якобинцы. Если армии будут испытывать постоянные неудачи и полиции сделается трудно следить за этими господами, то я прикажу схватить некоторых из них».

После разговора с Руничем я вызвал Адама Фомича Броккера и приказал ему вернуть всех уволенных полицейских чиновников.

– А что скажет его сиятельство? – тут же выпалил Броккер.

– Любезнейший Адам Фомич, – как можно мягче отвечивал я – по закону во время военных действий на прифронтовых территориях все без исключения чиновники воинской полиции прямо подчиняются Директору Высшей воинской полиции, а никак не губернатору, поэтому я приказываю восстановить на службе всех уволенных.

Броккер молча кивнул и вышел. Не прошло, кажется, и часа, как мне принесли записку, в коей Броккер извещал меня, что приказание исполнено.

Поговорив с полицмейстером, я отправился в кабинет к Ростопчину, но там ничего нового не было: граф всё поносил масонов, французов и, конечно, Наполеона Бонапарта. Ну, и конечно разговор шёл о завтрашнем приезде Государя Александра Павловича. Ростопчин сообщил мне, что Его Величество со свитой уже покинул Смоленск.

С Лубянки, 14 (де Валуа как всегда был со мной) мы отправились в гостеприимную обитель ротмистра Ривофиналли. Вскоро после нас прибыл и генерал-адъютант князь Василий Трубецкой, притащивший с собою Дмитрия Евсеевича Цицианова, тут же рассказавшего, что у него есть плащ, взбе-

сившийся от укуса бешеной собаки. Все смеялись. Рассказчик был доволен, но я заметил ему, что это происшествие совсем не с ним случилось, ибо я читал об этом событии в книге господина Бюргера. Однако самонадеянный князёк ничуть не смутился и продолжал лепить свои забавные небылицы.

Июля 10-го дня. 11-й час ночи

Князь Дмитрий Евсеевич Цицианов рассказывал очередную свою лживую историю, прежде мною слышанную (про разноцветных овец в Грузии), когда явился квартальный надзиратель Шуленберх.

Увидев последнего, я просто просиял от радости – появилась законная причина оставить гостиную с этим несносным вралём. Я тут же уединился с Шуленберхом в кабинете, но и сквозь закрытую дверь до нас доносился неестественно громкий хохот князя Трубецкого и пронзительный хохоток его родственника полицмейстера Вейса.

Шуленберх рассказал мне, что в Сокольниках, на генерал-губернаторской даче, всё более или менее спокойно. Никто туда не приезжает и никто оттуда не отбывает, ежели не считать того обстоятельства, что каждый вечер наезжает из города сам граф Фёдор Васильич, всегда в обществе заведующего канцелярией Рунича, адъютантов и секретарей. Причём, надворный советник Шлыков сообщил Шуленберху, что как только граф появляется в Сокольниках, он тут же нежно целует графиню Екатерину Петровну, а затем берёт под ручку Алину Коссаковскую, с одной стороны, а полковника Андриевича, с другой, и они шествуют в его кабинет, где в задумчивой беседе проводят не менее двух часов. О чём говорят они, неизвестно. Граф Ростопчин, кстати, заявил на одном из ужинов, что Алина Корсакова (под этим именем графиня Коссаковская известна в Москве) является его кузиной. Ясно, что это не так, но никто, естественно, не сказал ни слова. Но вот что любопытно: зачем графу это враньё?

Надворного советника Шлыкова как будто прелестная Алина не признала. Надеюсь, что это и в самом деле так. А то ведь сия Алина могла вполне опознать голубчика Павла Александрыча, но ничем не выдать этого – хитрости ведь ей не занимать.

Надворный советник просил мне также передать, что ежели я приеду завтра утром в Сокольники к часам одиннадцати утра, тела Коссаковской и Андриевича будут уже готовы к скорейшему захоронению.

Я ответил Шуленберху, что буду ровно в одиннадцать.

Когда мы выходили из кабинета, князь Цицианов как раз рассказывал одну из очередных своих баек (причём, рассказывал в лицах, представляя себя и одного наивного помещика). Я прислушался – байка была опять же о Грузии, но это, пожалуй, было действительно остроумно. Так что я улыбнулся и даже стал аплодировать. Вот эта небезынтересная история. Излагаю в том виде, в каком мне удалось её запомнить.

Случилось, что в одном обществе какой-то помещик, слывший большим хозяином, рассказывал об огромном доходе, получаемом им от пчеловодства.

«Очень вам верю, – возразил Цицианов, – но смею вас уверить, что такого пчеловодства, как у нас в Грузии, нет нигде в мире». – «Почему так, ваше сиятельство?» – «А вот почему, – отвечал Цицианов, – да и быть не может иначе: у нас цветы, заключающие в себе медовые соки, растут, как здесь кра-

пива, да к тому же пчёлы у нас величиною почти с воробья; замечательно, что когда они летают по воздуху, то не жужжат, а поют, как птицы». – «Какие же у вас улы ваше сиятельство?» – спросил удивлённый пчеловод. – «Улы? Да улы, – отвечал Цицианов, – такие же, как везде». – «Как же могут столь огромные пчёлы влетать в обыкновенные улы?»

Тут Цицианов догадался, что, басенку свою пересоля, он приготовил себе сам ловушку, из которой выпутаться ему трудно. Однако же он нимало не задумался.

– Здесь об нашем крае, – продолжал Цицианов, – не имеют никакого понятия. Вы думаете, что везде так, как в России? Нет, батюшка! У нас в Грузии отговорок нет: хоть тресни, да полезай!

При этих словах «хоть тресни, да полезай» раздался неудержимый, оглушительный хохот всех присутствующих, генерал же адъютант князь Василий Трубецкой извергал из себя самый настоящий рев и трясся почти как вулкан, разве что пламя не извергал. Вся громадная фигура князя изгибалась, корчилась в конвульсиях. И ротмистр Винцент Ривофиналли от него совсем не отставал. Даже камердинер мой Трифон, оказавшийся вдруг среди слушателей, до слёз смеялся.

Князь Цицианов остаётся у нас ночевать. Ривофиналли его поместит в одной свободной комнатке, полной зеркал и прихотливо обставленной в венецианском вкусе. У Дмитрия Евсеевича нет собственного жилья (как правило, он остаётся в Сокольниках на даче у приятеля своего Ростопчина; жена же его живёт приживалкой у какой-то русской барыни) – всё своё огромное состояние князь проел и пропил, и теперь единственное достояние его есть небылицы, всякого рода замысловатое враньё, коим он тешит слушателей своих. Но что мне, собственно, этот забавный грузинский князёк, великий мастер вранья, истинный поэт лжи?! Что мне его остроумные небылицы, байки о скачущем плаще, летающей шубе и тому подобных глупостях?

Гораздо важнее другое: одолеем ли мы завтра эту чертовку Алину Коссаковскую, или же она опять уйдёт от нас, как умудрялась делать всегда прежде? Не прошляпит ли Алину, по своему обыкновению, надворный советник Шлыков? Не перехитрит ли она поручика Балакина? Да, надо, чтобы у нас тоже было бы: «хоть тресни, да полезай!».

Относительно завтрашнего в одном я уверен точно: легионеры Коссаковскую и её спутника из дому не выпустят! На подполковника Клаузевица и его людей я полностью полагаюсь. Клаузевиц не из тех, которые не выполняют возложенную на них задачу или же выполняют её не полностью. А точность исполнения его приказаний легионерами просто немыслимая. Вообще германо-русский легион есть подлинное чудо – иначе сказать я просто не могу. Мечтаю я лишь об одном – только бы Шлыков и Балакин не подвели. Господи, принеси нам завтра удачу! Оборони бесценную жизнь нашего любимого Государя!

! **Вклейка:**

ВЫСОЧАЙШИЙ МАНИФЕСТ

Неприятель вступил в пределы Наши и продолжает нести оружие своё внутрь России, надеясь силою и соблазнами потрясть спокойствие Великой сей Державы. Он положил в уме своём злобное намерение разрушить

славу её и благоденствие. С лукавством в сердце и лестию в устах несёт он вечные для неё цепи и оковы.

Мы призвав на помощь Бога, поставляем в преграду ему войски Наши, кипящие мужеством попать, опрокинуть его и то, что останется неистреблённого, согнать с лица земли Нашей. Мы полагаем на силу и крепость их твёрдую надежду, но не можем и не должны скрывать от верных наших подданных, что собранные им разнородные силы велики и что отважность его требует неусыпного против неё бодрствования.

Сего ради при всей твёрдой надежде на храброе Наше воинство полагаем Мы за необходимость нужное собрать внутри Государства новые силы, которые, нанося новый ужас врагу, составляли бы вторую ограду в подкрепление первой и в защиту домов, жен и детей каждого и всех.

Мы уже воззвали к Первопрестольному Граду Нашему Москве, а ныне взываем ко всем Нашим верноподданным, ко всем сословиям и состояниям духовным и мирским, приглашая их вместе с Нами единоклюбно и общим восстанием содействовать противу всех вражеских замыслов и покушений. Да найдёт он на каждом шагу верных сынов России, поражающих его всеми средствами и силами, не вникая никаким его лукавствам и обманам.

Да встретит он в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном Палицына, в каждом горожанине Минина.

Благородное дворянское Сословие! Ты во все времена было спасителем Отечества.

Святейший Синод и духовенство! Вы всегда тёплыми молитвами своими призывали благодать на главу России.

Народ Руской! Храброе потомство храбрых Славян! Ты неоднократно сокрушал зубы устремлявшихся на тебя львов и тигров.

Соединитесь все: с крестом в сердце и с оружием в руках, никакие силы человеческие вас не одолеют.

Для первоначального составления предназначаемых сил предоставляется во всех губерниях дворянству сводить поставляемых ими для защиты Отечества людей, избирая из среды самих себя начальника над оными и давая о числе их знать в Москву, где избран будет главный над всеми Предводитель.

АЛЕКСАНДР

В главной квартире близ Полоцка, 1812 года июля 6-го дня

Июля 11-го дня. 3-й час дня

Выехали мы рано – не терпелось. С собою я взял коллежского секретаря де Валуа, полицмейстера Вейса и ротмистра Ривофиналли. В Сокольники прибыли мы уже к десяти утра. Встретил нас самолично подполковник Карл фон Клаузевиц. Он сказал, что ещё в начале девятого утра граф Ростопчин, ночевавший на даче, поехал в Москву, и что в доме всё тихо.

Что ж! Мы стали ждать, настроясь на то, что всё свершится только что через час. Но не было ещё и половины одиннадцатого, как выбежал сияющий Шуленберх и знаками стал всех нас звать в дом. Понятное дело, мы тут же ринулись, но не успели подняться на крыльцо, как перед нами выросла фигура надворного советника Шлыкова. Вид он имел в высшей степени торжественный.

Павел Александрович обратился персонально ко мне. Он сказал следующее:

– Господин военный советник! Вы просили головы преступников? Сейчас вам будут головы!

Я оторопел, внутренне дрогнул, но не издал ни звука. Я, действительно, требовал добыть головы Коссаковской и Андриевича, но имел в виду только их тела, даже не помышляя об усекновении голов. Но тут я с ужасом понял, что эти идиоты усвоили всё буквально. Так и оказалось.

Через пару минут на крыльцо выбежал Шлыков. Он нёс перед собой огромное бронзовое блюдо, покрытое тёмной шалью (не Алины ли?), под которой очевидно просматривались два шарообразных предмета... Головы?.. Я не выдержал и застонал. Но когда блюдо приблизилось ко мне, я уже не стонал, а рычал как зверь. А сдёрнув шаль, на мгновение потерял дар речи. Когда же смог вновь говорить, то, хотя и пребывал в состоянии спокойного бешенства, но обратился к Шлыкову тихо:

– Павел Александрыч, но вы же знали эту чертовку, вы же видели её не один раз? Что вы принесли мне? Кого вы убили?

Шлыков непонимающе взглянул на меня, но, когда он перевёл взгляд на блюдо, ноги его подкосились. Он присел, блюдо качнулось, головы скатились с него. Да, увы, это не были головы Алины и Андриевича. Они убили совсем других людей, видимо, невинных, и отрубили им головы.

– Вперёд! – крикнул я, и мы все побежали в дом. Первыми нам встретились поручик Балакин и подполковник Кемпен. Я быстро расспросил их обо всём, и вот что выяснилось.

На рассвете Шлыков зашёл в комнату Алины и задушил её, спящую, платком, потом прокрался в комнату Андриевича и задушил его. Потом отсёк головы – «повар» же. Вроде бы всё прошло гладко.

Я приказал найти кого-то из прислуги. И тут-то выяснилось, что в эту ночь Коссаковская и Андриевич поменялись комнатами со своими слугами. То есть слуги были убиты. Невинные слуги. Значит, Алина признала Шлыкова, только виду не подавала. Как она догадалась (она, а не Андриевич, она, безусловно, она, я уверен), что мы хотим не арестовать их с Андриевичем, а убить?

– А кто-нибудь выходил из дому? – крикнул я.

Балакин отрицательно замотал головой, но в выражении его лица сквозила какая-то неуверенность.

– Искать!

Легионеры во главе с фон Клаузевицем бросились осматривать дом. И уже через полчаса они вели под конвоем живых и невредимых Алину Коссаковскую и Сигизмунда Андриевича. Они были обнаружены в кабинете Рунича, секретаря Ростопчина, – спрятались в полупустом книжном шкафу. Поручик Балакин при виде арестованных Алины Коссаковской и полковника Андриевича смертельно побледнел и прислонился к косяку двери. Руки его дрожали, лицо заливал холодный пот.

Да, а легионеры, как я и предполагал, не подвели. Шлыкова же видеть не хочу! С глаз долой сего паршивого надворного советника!

Всё-таки мы их поймали, но они живы и потому представляют опасность. Но убивать их тут, на глазах у сбежавшейся челяди было невозможно. К тому же следовало сначала допросить их. Я приказал связать Алину и Андриевича, бросить в карету, чтобы отвезти в домик к ротмистру Ривофиналли. Там был весьма основательный погреб, в коем я решил пока держать нашу добычу.

В общем, поехали мы к месту нашего обитания: перекусить и допросить. Перекусить получилось (Трифон был на высоте, впрочем, как всегда), а вот допросить не удалось: пленные начисто отказались со мною разговаривать. Но зато когда Балакин по моему приказу весьма умело их обыскал – при этом он весьма цинически подмигивал графине и её спутнику, – ему удалось добыть несколько весьма ценных бумаг, ознакомление с которыми ещё раз меня убедило, что Бонапарт, и в самом деле, поручил Алине Коссаковской убить нашего Государя.

Июля 11-го дня. 6-й час вечера

Посадив пленников под замок (стеречь их я поручил провинившемуся Шлыкову, а за Шлыковым оставил присматривать квартального надзирателя Шуленберха), я поехал на Лубянку, 14. Там меня уже ждал граф Ростопчин, ждал, дабы обговорить некоторые детали пребывания в Первопрестольной Государя. Но как только я вошёл в кабинет, граф вскочил и кинулся на меня чуть не с кулаками. Выражение лица его отличалось свирепостью. Глаза графа сверкали, изрыгали молнии и, казалось, вот-вот выскочат из орбит.

Помню, его сиятельство кричал мне:

– Господин военный советник, вы перешли всё допустимые границы. Вы вероломно, предательски похитили моих гостей и увезли их в неизвестном направлении. Имейте в виду, я буду жаловаться на вас Государю и графу Аракчееву. И не сомневаюсь: вас незамедлительно сместят с должности Директора Высшей воинской полиции.

– Жалуйтесь, граф, – спокойно отвечал я. – Но только имейте в виду, что мера сия была вызвана именно соображениями Государевой безопасности.

– Но ваши люди убили и обезглавили двух моих слуг, – никак не унимался Ростопчин, кажется, начинавший беситься.

– Это произошло по ошибке, – улыбнувшись, отвечал я.

Ростопчин едва не поперхнулся:

– Как по ошибке? – закричал он. – По какой ошибке? Случайно отрезали головы или отрезали головы не у тех, у кого надо было? Может быть, метили в меня или в мою супругу? Разъясните, господин военный советник.

– Но я накажу виновных, – пробовал я успокоить разошедшегося губернатора.

Не сразу, но граф в конце концов утих и стал расспрашивать, не знаю ли я в точности, когда прибудет Государь. Я отвечал, что мне сие доподлинно известно от генерал-адъютанта Василия Трубецкого, коему сообщил в письме граф Аракчеев.

– Что же вам известно? – вновь заволновался губернатор. – Расскажите мне, Санглен, не томите.

– Государь, – начал я, – не хочет въезжать в Первопрестольную столицу среди бела дня, не желая привлекать к себе особенного внимания народного. Его Величество остановится сегодня в местечке Перхушково и глубокой ночью въедет в Москву.

– Может, поедет в Перхушково и встретим там Государя? – уже почти заискивающе спросил у меня Ростопчин.

На это я сказал, что непременно поеду в Перхушково, ибо именно на меня

возложена забота об охране Его Величества. Затем я добавил, что не имею ничего против того, чтобы граф составил мне компанию. Гордый, заносчивый, вспыльчивый Ростопчин при этих словах буквально просиял. В общем, мы договорились, что к семи часам я и де Валуа заедем за его сиятельством и вместе тронемся в Перхушково. Об отрезанных головах слуг и исчезнувших Коссаковской и Андриевиче речи более не было.

Выходя из ростопчинского кабинета, я столкнулся с директором графской канцелярии Дмитрием Павловичем Руничем. Он сказал мне, что сейчас должен вручить губернатору один пакет, а потом хотел бы переговорить со мною. И уже через пятнадцать минут мы (с нами был ещё де Валуа) сидели в махонькой комнатке Рунича и беседовали. Я чувствовал, что Руничу хотелось излить душу.

И, действительно, Аркадий Павлович, поведал мне, что его ужасно мучает совесть. Оказывается, ещё в июне-месяце по приказу новоиспеченного губернатора он арестовал доктора Сальватора, и тот с тех пор так и томится в яме. Обвиняют же доктора, естественно, в том, что он является агентом Бонапарта. Сальватор умолял Рунича хоть что-то сделать для его спасения, но граф совершенно неумолим, и Аркадий Павлович даже не смеет заговаривать с ним о судьбе несчастного. И вот Рунич обратился ко мне как к единственному, кто может сейчас в Первопрестольной восстановить справедливость.

Я тут же написал записку к полицейскому приставу и послал Рунича за Сальватором. Минут через сорок за дверью руничевской комнатки раздался лязг кандалов, потом я услышал стук в дверь, и вот на пороге стоят трое – пристав, Рунич и несчастный, истерзанный, измученный старик. Пристав, не заходя в комнатку, грубо втолкнул старика. Я прикрыл дверь и усадил доктора в креслице. Рунич и пристав остались стоять за дверью.

Минут десять, не менее, старик горько рыдал и не мог выговорить ни единого слова. Я напоил его тепловатой малиновой водой из стоявшего на столике графина. Постепенно доктор Сальватор успокоился и начал говорить. Но уже из первых произнесённых им фраз я понял, что этот человек не может быть виновен, что его подвело лишь французское происхождение. И в самом деле, доктор ровно никакого отношения не имел к государственным тайнам, ничего не знал о планах военного командования. Только глупец мог сделать его своим агентом, а Бонапарт отнюдь не был глупцом. Да и сам искренний тон докторской речи говорил сам за себя.

Сальватор был глубоко несчастен, и он был невинен. Он ещё говорил и, видимо, даже не подозревал, что мучения его заканчиваются, а я меж тем шёпотом уже диктовал де Валуа приказ об освобождении несчастного узника. Я понял, что де Валуа тоже не по себе от всего увиденного. Звон кандалов да страшный облик старика чего стоили!

А старик всё говорил и говорил, и он уже не мог остановиться. Зрелище, кажется, было довольно-таки жутковатое. Я мягко обнял доктора Сальватора за плечи и, ласково глядя ему в глаза, сказал, что он свободен, но будет всё же лучше, ежели он покинет Москву и незамедлительно. Старик весь задрожал и мне даже показалось, что он вот-вот хлопнется в обморок, но этого, слава Богу, не произошло, но ещё могло произойти. Я поскорее распахнул дверь, вручил приставу приказ об освобождении доктора Сальватора и велел приставу снять кандалы со старика. Мне почудилось, что пристав дрожит не в меньшей

степени, чем его подопечный, уже бывший. Когда они ушли (при этом крайне растеряны были оба), я продолжил свой разговор с Руничем.

Дмитрий Павлович довёл до моего сведения целый ворох, увы, совершившихся фактов, страшных фактов. Книгопродавец Алларт и типографщик Семён (губернатор объявил их масонами) высланы из Москвы в один из сибирских городов. Некто Турнэ – о ужас! – наказан плетью и выслан в Тобольск. Турнэ подвергся каре за то, что рассуждал публично о превосходных качествах французского ума. Учитель фехтования Массон наказан и выслан за некоторые подозрительные знакомства (а может, и фамилия его не пришлась по душе). Француз Токе наказан двадцатью ударами плетей и в кандалах отправлен в Нерчинск. Оказывается, он сказал кому-то, что Бонапарт будет обедать в Кремле. И за это в Нерчинск, на край света?! Невообразимо!

Да, кстати, на барку погрузили не только французских поваров и гувернёров. Среди высылаемых оказался и режиссёр французского театра Арман Домерг со своим помощником. И они тоже агенты Бонапарта? Рунич вспомнил, что как-то на обеде у графа Апраксина граф Ростопчин, пристально глядя на сего Домерга, сказал: «Я не буду доволен до тех пор, пока не выкупаюсь в крови французов». И это было сказано губернатором совершенно публично и, естественно, на французском языке.

Ещё об одном событии (к счастью, не свершившемся) рассказал мне Рунич. Оказывается, Ростопчин в одном из своих писем предлагал Государю не выпускать за пределы нашей Империи ни одного иностранца (не выдавать им паспортов), ибо каждый иностранец есть предатель и, выехав, тут же разболтает обо всём виденном врагам нашим.

Что я мог на всё это отвечать? И что на это ответишь? Да, граф тяжело больной человек, и он крайне опасен, ибо облачён властью. Но он не просто безумец, он одновременно ещё и страшный интриган.

И вот о чём ещё я думаю, какие вопросы себе задаю.

Верит ли сам Ростопчин в те страхи, которые он старательно внушает окружающим? Верит ли он в заговор московских масонов, кои на самом деле глубоко враждебны и Франции, и французской революции? Ежели действительно верит, то это лишь показывает его поразительную недалёкость и даже, ежели говорить без обиняков, тупость. А не так ли получается, что графу Ростопчину совершенно всё равно, кого заподозривать в измене?! Его сиятельству надобно лишь запугать Государя угрозой революции, внушить доверие к себе и показать, что только он один может справиться на таком важном посту в Москве, где чуть ли не половина населения, по его словам, состоит из одних сплошных бонапартистов. Московский главнокомандующий есть подлинный Дон Кишот шантажа. Он создаёт фантом революции, с которым борется во имя самодержавия, самовосхваления.

Припоминается интересный фактик. 3 июля, за три дня до моего приезда и за девять дней до приезда Государя в московских газетах было объявлено, что в Первопрестольной существует заговор. И под это дело граф вышлет кучу народу и потом заявит, что раскрыл и уничтожил заговор. Несомненно, так и будет.

Когда закончился разговор с Руничем, шёл уже 5-й час. Я предложил де Валуа съездить на Малую Дмитровку, к Карлу фон Клаузевицу и его ребятам. Там можно будет перекусить и поговорить. Хочу задать подполковнику

фон Клаузевицу несколько вопросов. Мучает меня Ростопчин, хочу разобраться в нём. В общем, поехали мы на Малую Дмитровку.

Встретили нас там отменно. Только подполковник Кемпен и поручик Балакин ходили понурые, особенно не в себе поручик – видно совесть его особенно мучает. Конечно, более всего виноват надворный советник Павел Александрч Шлыков, но ведь и на этих голубчиках, Кемпене и Балакине, доля вины, что мы в очередной раз едва не прошляпили эту чертовку Алину. Но, слава Господу, графиня Коссаковская находится под замком – так что у нас есть теперь возможность с нею разделиться. Попалась птичка, наконец-то ты попалась нам. И надеюсь, что уже от нас не уйдёшь.

Обед был, конечно, не то что у моего Трифона, но вполне сносен. Я ещё успел и с командиром легионеров поговорить и теперь вот ещё делаю записи.

У подполковника фон Клаузевица, в будущем несомненного военного гения, есть своё мнение о графе Ростопчине, и это достаточно особое мнение. Вот что считает подполковник.

Московский главнокомандующий чрезвычайно активно играет в патриота, но это именно игра, и не более того. Графиня Екатерина Петровна приняла католическое вероисповедание, и обратили её в католицизм именно братья иезуиты. Но это не всё. По утверждению фон Клаузевица, с иезуитами связан и сам граф Ростопчин, и в некотором роде он даже является их агентом⁹. Иезуиты же, как известно, находятся в страшной вражде с масонами, и проявления этой вражды можно поминутно наблюдать в московской жизни. И именно по заданию иезуитов, как полагает фон Клаузевиц, граф всеми силами и пытается скомпрометировать московских масонов, представляя их чуть ли не как якобинцев и союзников Бонапарта. Ну, и, естественно, губернатор на этом ещё хочет заработать очки в глазах Государя.

Да, звучит убедительно, и всё-таки это слишком уж неожиданно: российский патриот – наймит иезуитов?! Надо будет серьёзно подумать над этим. Звучит слишком невероятно: московский главнокомандующий радуется не о своём отечестве, а о выгоде братьев иезуитов?!

Кстати, припоминаю теперь, что в довольно бессвязной исповеди доктора Сальватора несколько раз мелькали фразы, смысл которых можно свести к тому, что он попал в яму благодаря проискам иезуитов. Так может всё-таки существует иезуитская интрига, которую пробуют прикрыть патриотической риторикой? В связи с этим, кстати, вспоминается то обстоятельство, что при прежнем губернаторе доктор Сальватор был гонителем иезуитов, и вот теперь братья чрез графа Ростопчина ему и отомстили жестоко. Новый губернатор выставил доктора агентом Бонапарта и даже подвергнул его аресту. Он писал о шпионстве Сальватора Государю. Более того, в газетном сообщении о заговоре, мне кажется, явно содержался намёк на доктора (да, а заправлял всей этой историей, так сказать, творил «дело» Сальватора никто иной как Адам Фомич Броккер, который вначале передо мною таким ангелом выставился). Так что иезуитский след в поведении нынешнего губернатора вполне возможен

⁹ Между прочим, после назначения Ф. В. Ростопчина московским военным губернатором иезуит аббат Сюрюг писал: «Перемена губернатора будет для нас выгодна. Я имел случай представиться ему и был им принят хорошо. Обещание графа оказывать нам особенное покровительство даёт самые счастливые надежды» (Русский Архив, 1875, книга 7-я, с. 275) (примеч. Никиты Безохотина).

и даже, видимо, реален, увы, реален. Я всё более начинаю соглашаться с подполковником фон Клаузевицем.

Но не стану пока торопиться с окончательными выводами – надобно ещё как следует подумать, взвесить все имеющиеся в нашем распоряжении факты. В любом случае, наш московский главнокомандующий, как выясняется, – тёмная лошадка, весьма тёмная. И рьяным патриотизмом своим он, судя по всему, только пыль в глаза пускает. Патриотизм графа – явление чисто внешнее, совершенно не соответствующее сути его натуры.

Кому же всё-таки на самом деле он служит? Неужели подлинные хозяева его сиятельства есть иезуиты?! Выходит, он арестовывает и высылает масонов, думая о пользе иезуитов, а не нашего страждущего отечества? Страшно сознавать, что, может быть, придётся в это поверить. Ужасно не хочется в это верить.

Что же московский главнокомандующий может, действительно, оказаться изменником?!

Июля 11-го дня. Почти полночь

Ровно в семь я стучался в дверь ростопчинского кабинета. На сей раз я был один. Де Валуа отправился ужинать к гражданскому губернатору Обрескову. Туда же, сколько я знаю, были приглашены ростопчинские балагуры – живописец Тончи и враль князь Цицианов. Ожидался также директор Кремлёвской экспедиции Валуев и предводитель дворянства обжора Арсеньев.

В дороге граф Ростопчин не умолкал ни на одно мгновение. Он постоянно сыпал каламбурами, вообще был исключительно любезен со мною, чуть ли даже не заискивал, что было совершенно понятно. Военный губернатор Москвы, конечно, понимал, что Государь будет расспрашивать о положении дел в Первостольной, а я буду отвечать Его Величеству. Так что сейчас ссориться со мною резона ему никакого не было. Сейчас стоило со мною дружить. Естественно, на французов граф, демонстрируя свой патриотизм, нападал, ругал их нещадно, но делал это как-то слишком уж театрально. А в защите им русских начал всё более явно сквозила некоторая натяжка, звучала фальшь. Чувствовалась демонстрация, хотя зрителем был один я. Да, сейчас, по дороге в Перхушково губернатор работал на одного зрителя, но этот зритель был Директором Высшей воинской полиции – вот Ростопчин и старался.

И вообще забавно, что и французов граф атаковал и Святую Русь расписывал на чистейшем, изысканнейшем французском. А когда губернатор переходил на русский, то звучало это ужасно грубо, плоско и неестественно – отечественные ругательства, без всякого сомнения, были выписаны в тетраточку, а потом выучены назубок. Московский барин, держащий француза-повара, изъясняющийся и переписывающийся только на французском, понимает проявление патриотизма в виде самых грубых выходок. Ей-Богу, в самую пору принять графа за агента Бонапарта. Во всяком случае, так вполне решил бы человек, явившийся со стороны. Ростопчин, понятное дело, не агент Бонапарта, но вот иезуитам сей известный патриот, может быть, и в самом деле служит.

Да, ещё Фёдор Васильич убеждён, что при малейшем волнении в народе лицемеры-масоны явятся открытыми злодеями. Он вообще занят ловлей призраков, созданных в его воображении и донесениями окружающих его шпионов. Но ужаснее всего то, что московский главнокомандующий пытается всеми

силами разжечь ненависть к иностранцам, по своему обыкновению не стеснялся никакими мерами.

Приблизительно в середине пути нас нагнал генерал-адъютант князь Василий Трубецкой и пересел в большую, поместительную губернаторскую карету. Граф совсем оживился (добавился второй зритель и слушатель), и общая наша беседа потекла ещё живее и искромётнее. Ростопчин блистал – он был незаурядный артист.

Так незаметно мы и прибыли в Перхушково.

Государь появился, как потом выяснилось, примерно часа за полтора до нас.

При въезде в село нам попался флигель-адъютант Александр Чернышёв. Он вынырнул из лесной опушки на дорогу и сосредоточенно оглядывался по сторонам – он явно кого-то ждал, но не нас. Тем не менее Чернышёв исправно ответил на все вопросы: Император вместе с камердинером своим Зиновьевым и генералом Аракчеевым остановился в избе старосты, все же остальные разместились по крестьянским избам, кои, как нам издали показалось, выглядели совсем не ветхо.

Избу старосты мы довольно быстро и безошибочно обнаружили. Помог нам в этом сам Александр Павлович, собственной персоной. Его Величество стоял перед широким, но довольно-таки безобразным двухэтажным строением, увенчанным кривобоком раскрашенным коньком, и о чём-то оживлённо беседовал с министром полиции Балашовым.

Увидев, что остановилась карета и из неё выбралась троица – граф Ростопчин, князь Трубецкой и я, – Государь сначала помахал нам рукой, а потом прервал разговор со своим министром и прямым движением двинулся в нашу сторону.

Александр Дмитрич Балашов покорно посеменил за Государем, но мина его выражала полнейшее недовольство. «Ничего, терпи, голубчик», – подумал я.

Государь каждого из нас обнял, облобызал, а потом пригласил в дом. В первой горнице в плетёном креслице сидел генерал Аракчеев, углублённый в чтение каких-то бумаг, но привставший при входе Императора.

– Идём, идём дальше, – сказал нам Александр Павлович, – не будем мешать графу работать.

Граф Ростопчин и князь Трубецкой прошли за Императором во вторую горницу, но меня Аракчеев знаком попросил остаться.

Алексей Андреевич взглядом указал мне на второе плетёное креслице в углу, я придвинул его и сел.

Граф отодвинул бумаги и, внимательно глядя мне в глаза, начал расспрашивать, что же удалось за эти дни сделать в Москве.

Я рассказал, что граф де Шуазель и аббат Лотрек по моему приказанию высланы из Москвы, а графиня Коссаковская и полковник Андриевич арестованы и содержатся в погребе домика, снимаемого ротмистром Ривофиналли.

Граф Аракчеев сердечно поблагодарил меня, заметив также, что он весьма доволен действиями Высшей воинской полиции, но только прибавил, что Коссаковскую и Андриевича стоит перевести в более надёжное укрытие, дабы не сбежали. Я отвечал, что завтра же с утра займусь этим.

– Что ж, завтра доложите мне об исполнении, – сказал Аракчеев и возвратился к чтению своих бумаг.

Когда я вошёл во вторую горницу, там шёл импровизированный спектакль: граф Ростопчин с пафосом и с каламбурами рассказывал, какой в Москве ца-

рит патриотизм, как все там готовы жизнь отдать за Государя и отечество, как много выловлено агентов Бонапарта. Но с особым воодушевлением губернатор рассказывал о масонском заговоре, который он с успехом разоблачает.

На губах Императора играла лёгкая скептическая усмешка, в огромных сияющих глазах его прыгали смешинки, но Его Величество не издавал ни звука, хотя и давился от смеха. Как только появился я, Александр Павлович всё же прервал губернаторские излияния и прямо обратился ко мне:

– Санглен, а что скажешь ты? Как там в Москве, спокойно? Нет, лучше поговорим с тобой особо.

Государь взял меня за руку, и мы вышли во двор. Я чувствовал, как в спину мне устремился напряжённый взгляд Ростопчина.

В общих чертах я рассказал Александру Павловичу о работе, что успел за эти дни проверить, и особенно об аресте двух агентов Бонапарта, томящихся ныне в домике ротмистра Ривофиналли. Государь был весьма доволен, он лишь заметил:

– Смотри – не прощлянь их, охраняйте как следует. Это крайне важно. – И после паузы спросил: – Да, а как тебе, кстати, губернаторство Ростопчина? – Скажи пока в двух словах.

Я ответил честно, как думал:

– Ваше Величество, граф, конечно, – умный и энергичный человек, но он заигрывает с чернью и пытается воздействовать на самые низменные её побуждения, а это, на мой взгляд, директора Высшей воинской полиции, никуда не годится. Граф, при содействии московского полицмейстера Броккера и некоторых иных личностей, добивается, дабы миролюбивые москвичи воспылали бы ненавистью к иноземцам и стали бы, по меньшей мере, избивать и изгонять их.

Государь при этих словах сокрушённо покачал головой.

Вскоре появился неторопливо вышагивающий начальник Императорского Штаба князь Пётр Михалыч Волконский, мой давний недруг. Затем к дому старосты стала приближаться стайка генерал-адъютантов, а также подбежал флигель-адъютант Чернышёв, и мы с Государем беседу нашу решили завершить уже в Москве, в спокойной кремлёвской обстановке.

Потом подошёл государственный секретарь Шишков – мы сердечно обнялись. И, наконец, появился барон фон Штейн, которому мне есть немало что сообщить. И особенно я должен ему похвалить солдат и офицеров германороссийского легиона и прежде всего подполковника фон Клаузевица.

Со Штейном, кстати, был майор Бистром, коего я оставил в распоряжении барона. Бистром вручил мне целый пакет. Я тут же вскрыл его. В пакете были письма от полковников Розена и Ланга, а главное – целая пачка с донесениями от наших лазутчиков у Бонапарта (Марковского, Майзлиша и Закса).

Подбежал запыханный, вспотевший флигель-адъютант Чернышёв. Из дому вышел граф Аракчеев, коему я передал донесения наших лазутчиков.

Следом за Аракчеевым появился и Ростопчин, лицо которого казалось растерянно-напряжённым. Он подошёл ко мне, заискивающе улыбнулся. Ещё бы! Он знал, что Государь ждёт моего подробнейшего отчёта о Москве.

В общем, постепенно собралась вся свита, и Александр Павлович, обратившись ко всем, сказал, что можно, пожалуй, уже отправляться в Первопрестольную: пока доедем, как раз и наступит ночь.

Скоро все и двинулись. Я проводил Государя до Кремля.

Его Величество попросил, чтобы завтра я пришёл пораньше, часам к 8-ми утра, и с чувством поблагодарил за проявленную заботу: в глазах его были слёзы (впрочем, их Александр Павлович мог легко вызывать, когда ему этого хотелось – сие мне отлично известно).

Когда я подъехал к дому, в коем квартирует ротмистр Ривофиналли, то взору моему предстало странное, необычное зрелище: на ступеньках лежал де Валуа, и его худое изогнутое тело всё сотрясалось от рыданий. Я осторожно тронул его за плечо. Де Валуа обернулся: всё лицо его было залито слезами. Он, ни слова ни говоря, взял меня за руку и повёл в дом.

Первое, что я увидел, это – холодное, бездыханное тело камердинера моего Трифона. С проломленным черепом. Поблизости валялась чугунная каминная решётка, обильно политая кровью. Де Валуа взглянул на каминную решетку и упал без чувств. Я же двинулся далее.

В соседней комнате лежали с головы до пят обкрученные лентами, нарезанными из моего новенького халата, надворный советник Шлыков и квартальный надзиратель Шуленберх. Они стонали и, значит, были живы.

Дверца погреба была прорублена турецким клинком (изувеченный он валялся тут же).

Графини же Коссаковской и полковника Андриевича, конечно, и след простыл.

Это была самая настоящая катастрофа! Я не выполнил приказы Государя и Аракчеева стеречь эту проклятую парочку покрепче. Сам мог бы догадаться!

Что стоило оставить Коссаковскую и Андриевича на Малой Дмитровке, у легионеров: они-то бы их уж не выпустили?

И что я скажу завтра Государю Александру Павловичу? И кого покажу графу Аракчееву – он самолично хотел допросить арестантов?

Однако времени на особые раздумья у меня сейчас не было. Я рванул на Малую Дмитровку. Рассказав вкратце обо всём подполковнику фон Клаузевицу, я приказал завтра к половине 8-го утра всем солдатам и офицерам германского легиона под его командой явиться в Кремль.

Всё. Ставлю точку и – на боковую. Необходимо хоть немного выспаться. Да, день сегодняшний так хорошо начался и так несчастливо закончился. Надо хотя бы завтра быть на высоте, ведь дело идёт о спасении Государя и судьбе Отечества.

Июля 12-го дня. Полдень

Ровно в 8 утра камердинер Зиновьев ввёл меня в Государев кабинет. Император уже был не один. Его Величество стоял у стены, откинув голову и скрестив кисти рук. Взор же его просто излучал веселье. А по кабинету бегал, трясся кудрями, Сергей Глинка, бешеный патриот и издатель журнальчика «Русский вестник», и страстно жестикулируя, говорил, нет, кричал:

– Ваше Величество, всюду. Всюду измена! Судите сами. Сколь вы знаете, в Первопрестольной столице нашей образованы два комитета – Комитет ратнический, занимающийся после получения Высочайшего манифеста набором ополчения, и Комитет пожертвований. Так вот в последнем два главных чиновника, принимая пожертвования, разговаривали по-французски! Это же кошмар, Государь, подлинный кошмар! И вот результат. Добрые граждане, поспе-

шавшие возлагать на алтарь отечества сотни, и тысячи, и десятки тысяч, слыша французское бормотанье, со скорбным лицом удалялись, и с удивлением поглядывая друг на друга, восклицали: «Господи Боже наш!» Необходимы решительнейшие меры, направленные супротив всего французского. Как Вы считаете, Ваше Величество?..

Издатель «Русского вестника» всё бегал и разглагольствовал, дико вращая глазами.

Между тем, дверь кабинета тихонько приоткрылась и в неё просунулась голова камердинера Зиновьева. Он глазами поманил меня. Когда же я подошёл к двери, Зиновьев шепнул мне, что меня ожидают внизу по весьма важному делу. Он довёл меня до привратницкой, и навстречу мне тут же кинулись трое офицеров. Это были подполковник фон Клаузевиц, подполковник Кемпен и поручик Балакин. Балакин и Кемпен буквально сияли (правда, в лице поручика было что-то натянутое, неестественное), а фон Клаузевиц был как всегда сух, спокоен и деловит, взгляд его выражал лишь настороженное любопытство.

Завидев меня, фон Клаузевиц отдал честь и отрапортовал:

– Господин военный советник, докладываю: полковник Сигизмунд Андриевич арестован и под надёжной охраной отправлен на Малую Дмитровку.

– Слава Богу! – вздохнул я, а потом уже принялся благодарить господ-офицеров.

Придя постепенно в себя, я спросил их:

– Где же вы обнаружили полковника?

– Здесь, в Кремле, – отвечал фон Клаузевиц. – Находился в толпе зевак, ожидающей выхода Государя. Был одет в купеческое платье. А опознали его подполковник Кемпен, с выводами коего поручик Балакин поначалу не соглашался, но под конец сдался. Так как в Кремле была страшная давка, полковник Андриевич не смог убежать и не смог оказать нам ни малейшего сопротивления, только ругался.

Ответы были сжатые и исчерпывающие – молодец!

Я ещё раз сердечно поблагодарил офицеров, велел оставаться им в толпе кремлёвских зевак, а сам поднялся к Государю. Сергея Глинки уже не было.

– Скажи, Санглен, – обратился ко мне Александр Павлович. – Говорю сейчас с тобой как с Директором Высшей воинской полиции. Что ты думаешь о мерах противу шпионов, принимаемых московским военным губернатором?

– Государь! – отвечал я. – В Первопрестольной есть немало агентов Бонапарта. Но их никто не ловит и не думает ловить. Обер-полициймейстер Ивашкин занят лишь возведением своего дома в Новинском, а полициймейстер Броккер объявляет шпионами лиц, неудобных графу Ростопчину. Вообще граф выдумывает шпионов. И это – беда Москвы. Выдумывает же он их потому, чтобы расправиться со своими недоброжелателями, коих у него немало, а с другой стороны, для того, что увеличение числа шпионов даёт его сиятельству возможность открыто самоуправничать. Дабы пострадать сейчас, даже не нужно быть объявленным шпионом. Граф открыто заявляет: «Я сажаю болтунов в Жёлтый дом». И сажает. Действительно. Так попал в больницу для умалишённых студент Московского университета Урусов. Есть и другие случаи в этом же роде. И вот что ещё, Ваше Величество, характерно для действий графа. У его сиятельства есть несколько своих агентов (как правило это закоренелые пьяницы; я знаю одного из них, это некто Яковлев). Они по наущению полициймейстера Броккера

ходят по кабакам и призывают громить французские лавки и колотить всех французов, которые под руку попадутся.

Государь сокрушённо покачал головой, но ничего не сказал.

Между тем пробило девять часов утра. Пора было спускаться к народу.

Да, прибежал ещё министр полиции Балашов и сказал, что он никак не может оставить Государя. Так мы и двинулись к Красному крыльцу: впереди я, за мною Александр Павлович, замыкал же шествие Балашов. Но по пути к нам присоединилось ещё несколько генерал-адъютантов (я запомнил Василия Трубецкого и Петра Волконского).

Давка, действительно, стояла совершенно невообразимая. Вообще ажиотаж был совершенно непередаваемый. Я такого никогда не видел прежде.

Государь поклонился народу – в ответ раздался радостный, восторженный рёв. Потом, когда на какой-то миг всё стихло, на чью-то спину влез огромный, ражий мужик и крикнул:

– Веди нас куда хочешь. Веди нас, отец наш. Умрём или победим.

На каждой ступени Красного Крыльца со всех сторон сотни торопливых рук хватались за ноги Государя, за полы мундира, целовали и орошали их слезами. Генерал-адъютанты пытались раздвигать ряды, но Император, кланяясь во все стороны, говорил:

– Не троньте, не троньте их, я пройду.

Двигаться было крайне тяжело. Мы принуждены были составить из себя род оплота, чтобы довести Императора от Красного Крыльца до собора. Нас можно было уподобить судну без мачт и кормила, буруеваемому на море волнами.

Между тем, громогласное «ура» почти заглушило звон колоколов.

Это шествие продолжалось очень долго, и мы едва не выбились из сил.

Но вот, наконец, мы подошли к Успенскому собору. При вступлении Государя в храм певчие, по распоряжению преосвященного Августина, воспели: «Да воскреснет Бог и расточатся врази его».

Я, Клаузевиц, Балакин, Кемпен остались стоять на паперти, пока Государь со свитой находились в Успенском соборе. В общем, мы стояли, переговаривались, ждали.

Оглядывая входившую в храм государеву свиту, я, кстати, обратил внимание на отсутствие барона фон Штейна, а ведь он на протяжении последних месяцев безотлучно находился при особе нашего Императора, ибо Александр Павлович постоянно ждёт его советов. И в сельце Перхушково вчера я видел барона, но в Москве его почему-то не оказалось. Фон Клаузевиц ничего не знал, добавив что отсутствие патрона его чрезвычайно волнует.

И тут моё внимание привлекла одна нищенка. Хотя головка её и была замотана драным выцветшим платком, было очевидно, что красоты она просто неопикуемой. И тут вдруг до меня дошло, что это ведь никто иная, как Алина Коссаковская, столь трагически упущенная вчера недотёпой Павлом Александровичем Шлыковым.

– За мною, господа, – еле слышно шепнул я стоявшим подле меня офицерам и ринулся, как внезапно налетевшая буря, к прелестной нищенке. Мне кажется, что Алина меня заметила, но, думаю, что она никак не ожидала, что я начну атаку сразу и на виду у многолюдной толпы, прямо на церковной паперти. Подлетев к графине, я заломил ей руки за спину, молниеносно связал их шейным платком и, увы, повалил нежную девицу прямо на паперть. Все вокруг

охнули, раздалась жалобные причитания и даже угрозы (при этом офицеры сомкнулись вокруг нас стеной). А вот мнимая нищенка не издавала ни звука, даже не пытаясь закричать или позвать на помощь. Но вдруг каким-то чудом эта чертовка высвободила руку и в ней блеснуло лезвие ножа. Балакин тут же подбежал, выбил нож ногой.

Когда Государь со свитой вышел из храма, ни Алины, ни офицеров на паперти уже не было. Полагаю, в это время агент Бонапарта графиня Алина Коссаковская лежала связанная на полу кареты, которая направлялась на Малую Дмитровку, в дом капитана Уварова. Так что полковнику Андриевичу, надеюсь, скоро будет совсем не скучно.

Я вздохнул с облегчением. Слава Богу, ужасное покушение было предотвращено и графу Аракчееву будет теперь кого допрашивать (сегодня же или завтра свезу его на Малую Дмитровку).

Государь и его свита, как я заметил, с ужасом смотрели, что толпа отнюдь не поредела и, значит, теперь придётся продираться назад с такими же сложностями, как и сюда. Уныние, полагаю, было всеобщим. Мне даже показалось, что министр полиции Балашов близок к истерике. А вот великан-уродец князь Василий Трубецкой глядел довольно-таки весело. Генерал Аракчеев безразлично морщился, но готов был продираться и защищать своего Государя. Общий же вид свиты по выходе её из Успенского собора был, можно сказать, грустен.

Но тут произошло чудо, на которое никто не рассчитывал: толпа вдруг истончилась, исчезла¹⁰. Причина же сего события была следующая.

Пронёсся неизвестно кем пущенный слух, что запирают кремлёвские ворота и будут брать каждого силой в солдаты. И буквально в несколько минут Кремль опустел. Толпа, только что рвавшаяся погибать за царя и отечество, постыдно побежала, испугавшись, что от неё потребуют немедленных действий.

Пущенный слух был, конечно, совершенно вздорен. Нет никакого сомнения – никто не собирался закрывать ворота. Однако вместе с тем жители Первопрестольной столицы прекрасно знают следующее, и это уже, увы, чистейшая правда. Граф Ростопчин, коему поручено собирать ополчение, не остановится перед самыми вопиющими мерами насилия. Безобразиям, творимым им, и в самом деле нет никакого предела. Москвичи прекрасно осведомлены, что мещане и господские люди, взятые в смиренный и рабочий дома за пьянство и распутство, забираются в рекруты. Москвичи осведомлены, что графу Ростопчину разрешено зачислять в армию за проступки всех, не имеющих ремесла, жилища и состояния, отставных офицеров и низших классов чиновников праздношатающихся.

Потому-то так легко паника нынче в Кремле и возникла. Народ поверил, что сейчас запрут ворота, а их всех заберут в солдаты. Граф, конечно, и запер бы ворота, только в присутствии Александра Павловича он этого не станет делать. Но толпа об этом не подумала, ибо вообще не в состоянии думать. И восторженная встреча закончилась всенародным бегством. Но зато путь был свободен. Государь вернулся к себе по совершенно обезлюдившему Кремлю. Толпа, испугавшись солдатчины, вмиг схлынула, даже не схлынула, а как будто даже растворилась в воздухе.

¹⁰ Лев Толстой в «Войне и мире» этот совершенно реальный эпизод почему-то опустил (примеч. А. Зорькина).

Хотя всё совершенно успокоилось, я с оставшимися в Кремле легионерами (Балакин и Кемпен уехали с пленниками) сопровождал до конца Александра Павловича со свитой.

Да, граф Ростопчин навёл-таки страх на Первопрестольную столицу, а ведь его губернаторству всего чуть больше месяца¹¹. И заигрывания графа с чернью, увы, не проходят даром: иностранцев москвичи уже бьют – под воздействием бешеной пропаганды графа миролюбие стало оставлять их.

А молебствие забавное всё-таки получилось: встретили нашего Государя кликами необыкновенной радости, а потом в ужасе все разбежались. Дай-то Бог, дабы о сем происшествии не прознали наглые борзописцы Бонапарта, а то они так ещё всё распишут в своих газетёнках, что хоть святых выноси! Ославят ведь нас на целый свет!

Любопытно, какой каламбур по этому случаю выдаст наш губернатор-балагур граф Ростопчин?! Что-нибудь да придумает – он ведь не может без каламбуров.

Вклейка:

ЗАМЕТКИ О НЕКОТОРЫХ ОФИЦИАЛЬНЫХ МОСКОВСКИХ ЛИЦАХ

(августа 12-го дня 1812 года)

Полицмейстер Адам Фомич Броккер, родом швед, был чиновником почтового ведомства, из-за служебных неприятностей вышел в отставку. Полицмейстером был назначен июля 6-го дня сего, 12-го, года, а июля 12-го дня сего же года переименован из коллежских советников в полковники. Конфидент, друг и верный пёс графа Ростопчина.

Статский советник Обресков, гражданский губернатор, является человеком весьма умным, тонким и понимающим людей. Он вышел в отставку ещё в царствование императора Павла I, а потом вновь вступил в службу. Хотя он довольно молод, но с сильно расстроенным здоровьем, от бессонных ночей, проводимых за игрою в карты, в которой он очень счастлив.

Вице-губернатор Арсеньев тоже не без способностей, но слишком уж огрубел от употребления крепких напитков.

Комендант Кремля Гессе служил офицером в морском батальоне, который император Павел, будучи ещё великим князем, образовал в Гатчине. Потом мало-помалу он дослужился до чина генерал-лейтенанта. Это прекраснейший человек, честный и беспристрастный. Однако он хорош только до 6 часов вечера, после чего пунш и трубка совершенно им завладевают.

Начальник московского гарнизона Брозин известен своими грабительствами и слишком явным попользованием всем от полка в свою собственность.

Обер-полицмейстер генерал Ивашкин слишком мягок, находится постоянно под влиянием жены своей, робкий, болезненный, но точно исполняющий предписания графа Ростопчина.

Предводитель дворянства Василий Арсеньев, толстый, ограниченный, обжора и всепокорнейший слуга генерал-губернатора.

**(Писал коллежский секретарь де Валуа под мою диктовку.
Яков де Санглен. Генварь 1864 года.)**

¹¹ Указ о назначении графа московским главнокомандующим и военным губернатором был подписан в Вильне 24 мая (позднейшее примеч. Я. де Санглена).

Июля 12-го дня. 12-й час ночи

Из Кремля я поехал на Малую Дмитровку: собирался отдохнуть, а потом допросить графиню Коссаковскую и полковника Андриевича. В домик, снимаемый ротмистром Ривофиналли, ехать я никак не мог: воспоминания о верном моём Трифоне (светлая ему память!) жгли мне душу. Не в состоянии был я видеть и надворного советника Шлыкова, по вине которого всё произошло (боялся, что прибью Павла Александрыча, ибо осерчал на него сильно).

В общем, я отправился в собственный дом капитана Уварова. Правда, с отдыхом вышла небольшая накладка да и с допросом тоже – ни до отдыха, ни до допроса руки не дошли в этот день.

Корнет барон фон Майдель – один из новобранцев германо-русского легиона, открыл мне дверь и ввёл прямо в гостиную, где я увидел подполковника фон Клаузевица, мирно беседующим с бароном фон Штейном и майором Бистромом. Барон как раз рассказывал о причинах своего столь позднего появления в Первопрестольной столице. Пока мы обменивались приветствиями, фон Клаузевиц попросил фон Майделя принести чаю и баранок, а барон, меж тем, продолжил свой рассказ.

Вот что, оказывается, случилось.

Когда мы все отправлялись из сельца Перхушково в Москву, то все вопросы, связанные с отъездом, решал граф Ростопчин и подъехавшие полицмейстер Броккер и обер-полицмейстер Ивашкин. Именно последние где-то в окрестных местах добывали для императорской свиты свежих лошадей.

Так вот Ростопчин приказал Броккеру лошадей барону не давать пока, а дать лишь после отъезда всей свиты в Москву. Всё дело в том, что граф, бог знает почему, решил, что барон фон Штейн, заклятый враг Бонапарта и сторонник тайной борьбы против него, является масоном и, значит, возможным пособником французов. Следственно, для Первопрестольной могут быть опасны сношения барона с московскими масонами. Исходя из этой безумной идеи, губернатор приказал задержать фон Штейна в Перхушково на несколько часов, а за это время из Москвы должны были удалить наиболее опасных масонов. Вот такая была затеяна катавасия!

Рассказывая об этом, барон залиvisto смеялся, но подполковник фон Клаузевиц не на шутку рассердился и строго сказал:

– Но вот это ведь настоящий безумец!

– И что с того! – заметил барон. – Он всё равно останется губернатором, пока не натворит всего, на что способен. Мы тут ничего не изменим. Так что займёмся-ка лучше делами легиона: тут мы можем ещё что-то изменить к лучшему.

Так разговор подошёл к важному для всех нас пункту. Мы стали обсуждать дальнейшее укрепление связей Высшей воинской полиции с германо-русским легионом. И конечно, особенно много было говорено о том, как наша общая работа будет проходить в Первопрестольной столице в ближайшие два месяца, которые предстоят очень трудными.

Барон фон Штейн сообщил, что, по его договорённости с Государем, подполковник Карл фон Клаузевиц возвращается в штаб третьего кавалерийского

корпуса генерал-майора Петра Петровича Палена¹² (там его тактические знания и способности в ближайшие недели потребуются как никогда). Это – Первая западная армия. Несомненно, Клаузевица вытребовал Барклая. И его можно понять.

Командирами же московских легионеров мы решили утвердить кандидатуры подполковника Кемпена и майора Бистрома (последний отлично себя зарекомендовал на посту полицмейстера Ковно). Правда, ежели Бонапарт и в самом деле займёт Москву, работёнка тут предстоит посложнее ковенской. Но всё равно и Кемпен, и Бистром опытейшие полицейские чиновники и должны справиться. В этом нас заверили и они сами.

Надворный советник Шлык, полицмейстер Вейс, ротмистр Ривофиналли, квартальный надзиратель Шуленберх и поручик Балакин составят совсем небольшую группу (мы ещё к ней добавили корнета барона фон Майделя), которая будет заниматься только покушением на Бонапарта.

Подчиняться все московские легионеры будут лично мне и барону Штейну.

Таковы те основные решения, что были приняты в этот июльский вечер.

Потом мы опять пили чай с баранками и вели нескончаемые разговоры о Бонапарте, о Барклае, о том, что как мудро поступил Государь, оставив действующую армию. Подполковник фон Клаузевиц говорил менее всех, слишком сжато и сухо, но замечания его били всегда точно в цель.

Пришёл секретарь барона фон Штейна Эрнст-Мориц Арндт и сразу же по своему обыкновению начал говорить о том, что только при наличии тайного союза русских и германцев можно будет одолеть злодея.

Когда пробило 7 часов вечера, я и барон начали собираться: как это ни грустно, но ночевать мне придётся в домике, снимаемом ротмистром Ривофиналли, там, где произошла недавняя трагедия. А фон Штейн направлялся в Кремль, к Государю.

Я прибыл как раз к ужину, который приготовил самолично Винцент Ривофиналли. Из гостей был один князь Василий Трубецкой (жил он теперь в Кремле вместе с остальными генерал-адъютантами) – за ним на правах родственника вовсю ухаживал полицмейстер Вейс. Как только князь выдерживал такую густую заботливость, – не ведаю.

Кстати, он любезно предложил мне на время одного из своих лакеев, пока я не найду для себя нового камердинера. Я с признательностью принял сие предложение. Вообще надо признать, что при всей своей уродливости и громогласности, князь довольно-таки мил.

Надворный советник Шлык и квартальный надзиратель Шуленберх сидели как в воду опущенные, и это понятно. Я с ними не разговаривал и в их сторону даже не глядел, что только усиливало их мучения. Что ж, иногда полезно и помучаться.

После ужина, прошедшего довольно кисло, я и де Валуа ушли в кабинет и стали разбирать бумаги, коих скопилось достаточное количество.

Потом я смотрел и сортировал корреспонденцию. Были, кстати, весьма ценные донесения от Марковского, Майзлиша и Закса (в пакетик, присланный Яшей, была вложена записка от нашей агентши Таубе Адельсон, и небезынте-

¹² Впоследствии дослужился до генерал-лейтенанта. В 1814 году за участие в сражениях при Фер-Шампенуазе и под Парижем получил орден Св. Георгия 2-го класса (позднейшее примеч. Я. де Санглена).

ресная), так сказать, с французской стороны – завтра же покажу их графу Аракчееву, а копии отправлю Барклаю.

Я предупредил коллежского секретаря де Валуа, что завтра с утра мы пойдём на Малую Дмитровку снимать допрос с Алины Коссаковской и полковника Андриевича. Нашим пленникам придётся-таки заговорить. На сей раз я не отступлюсь, господа.

Теперь же почитаю я на сон грядущий «Разбойников» Шиллера. Нет, лучше-ка в честь моего несчастного Трифона, безвинно погибшего вчера, возьмусь я сейчас за какой-нибудь готический роман, скажем, за «Удольфские тайны» Анны Радклиф. Нет, дучше я остановлю свой выбор на «Монахе» Мэтью-Грегори Льюиса – это именно там есть леденящие кровь преступления. А Радклифф только что пугает, на самом же деле у неё ничего такого не происходит, что заставляет всё твоё существо обмирать от страха. Настоящая готика – это страшные кровосмесительные тайны, жуткие убийства, подземелья, полуразложившиеся трупы, ползающие черви. Это всё есть как раз у Льюиса. В общем, принимаюсь за «Монаха».

Господи! Чем был виноват Трифон? Зачем они его убили? Будь прокляты вы! И вы будете прокляты!

Алина Коссаковская. Сигизмунд Андриевич. Знайте: вам двоим ни за что не уйти от возмездия. Рано или поздно, но оно настигнет вас. А я уж посодействую, дабы провидение на сей раз не оплошало.

Вклейка:

Германо-российский легион

Шефы:	барон фон Штейн и граф Ливен
Советник по военному управлению:	генерал-лейтенант Гессе (Москва)
Советники по сыску:	экс-полицмейстер Берлина генерал Грунер (Прага), военный советник де Санглен (Москва)
Командиры легиона:	полковники Вальмоден и Тетенборн
Московский отряд легионеров	Командир отряда: полковник Кемпен Начальник штаба: майор Бистром
Офицеры отряда:	полицмейстер Вейс квартальный надзиратель Шуленберх ротмистр Ривофиналли корнет фон Майдель

Писал коллежский секретарь де Валуа

Москва. Августа 10-го дня 12-го года

Июля 13-го. 11 часов утра

Мы ещё спали, а уже явился к нам Прокофий Артемьич – камердинер, коего безвозмездно одолжил мне добрейший князь Василий Трубецкой. Шёл 6-й час утра. Прокофий Артемьич оказался бодрым, необыкновенно живым и да-

же юрким старичком. Он быстро собрал нам завтрак, и мы помчались на Малую Дмитровку.

Я и де Валуа расположились в гостиной. Туда корнет барон фон Майдель и привёл графиню Коссаковскую. Она была спокойная, улыбающаяся и, я бы даже сказал, весёлая, но рта раскрыть упорно не желала.

– Графиня, вы собирались убить нашего Государя прямо на паперти храма? – в ответ молчание и улыбка.

– Но ведь вас толпа тут же бы растерзала. С вашей стороны, это было бы самоубийством, Вы понимали на что шли? – Опять молчание и улыбка, перерастающая в презрительную усмешку.

– Значит, вы собирались насильственно прекратить жизнь коронованной особы? Но ведь вы дворянка, аристократка. Как же вы решились на это?

И тут графиня прервала молчание:

– Но ведь и ваш государь прекратил жизнь коронованной особы, жизнь своего отца императора Павла I. Отчего же, господин военный советник, вы в этом праве отказываете мне?

Я едва не задохнулся от возмущения, услышав это нахальнейшее заявление, но одновременно я был счастлив от сознания того, что чертовка Алина наконец-то заговорила.

– Графиня, вы никак не можете себя равнять с Императором: то, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку, – так отвечал я, как мне кажется, вполне резонно.

Однако Алина при этих словах громко захохотала, и это явно был издевательский смех. Вдоволь отсмеявшись, она сказала:

– Я – не бык, господин военный советник, и ни с кем себя не равняю. Я всего лишь стараюсь выполнять задания, которые получаю. Прикажут убить вас, буду убивать вас. Но пока что мне приказано убить Александра Павловича, так что не обессудьте.

Да, графиня отвечала в высшей степени заносчиво. В её словах была и совершенно неприкрытая угроза: «не обессудьте» – раз приказано, убью и Александра Павловича.

И всё-таки я был чрезвычайно рад, что она говорит, когда человек говорит, даже если он так же умён, как Алина, она рано или поздно пробалтывается.

– Графиня, послушайте, но ведь ежели бы на паперти перед Успенским собором вас не схватили, ежели бы ужасное преступление удалось вам совершить, то толпа ведь растерзала бы вас. Вы не понимали этого, не думали об этом? Простите моё любопытство – вам совсем не было страшно?

Алина ответила мне, не раздумывая, и ответила с вызовом:

– Господин военный советник. Вам должно быть известно, что император Франции обещал даровать свободу моему страждущему в российской неволе народу. И я готова исполнить любое желание императора.

Что на это было отвечать? Отвечать было нечего. Я ощущал, что весь покрываюсь холодной испариной.

Но нужно было хоть что-то выведать у Алины, и я продолжал расспрашивать.

– Итак, графиня, вам приказано было заколоть Государя? И приказ был отдан лично императором Франции?

Коссаковская молча кивнула – взгляд её был холоден и сосредоточен, но ещё я в нём прочитывал неугасимые огоньки ненависти.

– А что же тогда должен был делать полковник Андриевич? Он что вас просто охранял или выступал в качестве наблюдателя, дабы сообщить потом, как вы действовали?

Я прикинулся малосведущим в шпионском деле, и это сработало. На Алину просто напал довольно долгий приступ хохота. Успокоившись, она сказала:

– Господин военный советник, я никак не ожидала от вас таких... – она помедлила, – странных вопросов. Мне казалось, это и так ясно. Покушение должен был совершить полковник Андриевич, поэтому он и был поставлен в первом ряду толпы перед Красным крыльцом. И только ежели бы это не удалось, мне надлежало выступить на паперти перед Успенским собором, куда я заблаговременно и направилась.

– Ну, а если бы и ваша попытка не удалась? – с самым невинным видом спросил я. – Более запасных вариантов не было?

– Господин военный советник, – улыбаясь, заметила Алина, – кажется у вас всё-таки неверное представление о том, как поставлено розыскное дело у Бонапарта. Был, был запасной вариант. Ежели бы и мне не удалось ничего сделать на паперти у Успенского собора, то перед Красным Крыльцом над возвращающимся из Успенского собора Государем должен был занести орудие возмездия поручик Бал...

Тут графиня запнулась, и лицо её перекошилось от испуга, а потом она сердито хлопнула себя по губам.

– Я пошутила, господин военный советник, никакого третьего не было, – забормотала она, заискивающе поглядывая на меня.

Но я, ни слова ей не говоря, тут же вызвал корнета барона фон Майделя и приказал увести Алину. Меня терзали тяжелейшие раздумья. Неужто графиня Коссаковская, действительно, проговорила, а не пошла на сознательный обман? По страшному испугу, охватившему её, она и в самом деле проговорила. Но что же тогда получается?

А получается тогда какая-то чепуха и даже не чепуха, а получается самый настоящий ужас. Ежели графиня проговорила, то третий покушающийся на жизнь нашего Государя есть никто иной, как наш поручик Балакин, чиновник Высшей воинской полиции, есть тот самый поручик Балакин, который на паперти Успенского собора выбил нож из руки Алины. Значит, выбил нож, чтобы через некоторое время занести его над нашим Государем? Неужели сие возможно?

И возникает ещё более чудовищный вопрос: что же выходит – в рядах Высшей воинской полиции измена?! А ведь это я был тот человек, который вытребовал перевод Балакина из министерства полиции в штат Высшей воинской полиции! Неужели уже тогда Балакин был агентом Бонапарта? Или же он предался врагу, став ковенским полицмейстером? Ничего, всё теперь скоро выяснится.

Как всё-таки замечательно, что Алина Коссаковская проговорила. Я просто благословляю дамскую болтливость! Она так полезна!

Я решил временно отложить допрос подполковника Сигизмунда Андриевича и кинулся к фон Клаузевицу. Последнего мой рассказ необычайно удивил и озадачил. Фон Клаузевица даже на какой-то миг покинуло обычное его спокойствие, которое прежде никогда не изменяло ему. Мне даже показалось, что в глазах подполковника мелькнула тревога. Ещё бы! Как не появиться тревоге!

В доме, занятом нашими легионерами, находится агент Бонапарта. И значит, французы знают, что тут штаб-квартира германо-российского легиона, знают и то, что мы готовим покушение на их императора (ха! ха! Балакин был утверждён одним из его участников). Да, было от чего потерять равновесие.

– Что же делать? – спросил я подполковника.

Фон Клаузевиц уже пришёл в себя и ответил мне чрезвычайно спокойно и кратко:

– Его ни в коем случае нельзя пока арестовывать. У нас нет ни одного доказательства, кроме того, что графиня обмолвилась, но ведь она уже отказывается от своих слов.

Выйдя от Клаузевица, я решил всё же допросить полковника Андриевича.

Допрос, впрочем, был весьма непродолжителен. Дело в том, что полковник был нем как рыба. И вступать в какие бы то ни было объяснения со мной наотрез отказался. Только в самом конце нашего, с позволения сказать, «разговора» я в сердцах крикнул:

– Понимаю, вам надобно было бежать из-под стражи, понимаю, вы оглушили каминной решёткой сотрудников Высшей воинской полиции, но зачем понадобилось убивать несчастного старика – моего камердинера? Он что дрался с вами?

И тут Сигизмунд Андриевич сладчайше улыбнулся и выдал из себя следующие слова, внимательно и насмешливо глядя прямо мне в глаза:

– Ну что вы, господин военный советник! Какое там дрался! Угощать нас чем-то хотел. Я прибил его с одной единственной целью: уж очень хотелось хоть чем-нибудь да досадить вам!

Я зарычал и выскочил вон из гостиной под скрежещущий смех полковника Андриевича. Корнет барон фон Майдель, увидя, что я спешно покинул гостиную, тут же пошёл за Андриевичем и отвёл его в чулан.

Мне ужасно жаль бедного моего Трифона, но на самом деле катастрофа с Балакиным перекрывает всё. И ведь последствия ещё пока непонятны: мы не знаем, что этот изменник выболтал врагу, а мог он выболтать весьма и весьма многое.

Немыслимо: агент Бонапарта оказался в штате Высшей воинской полиции, и если бы не болтливость пани Алины Коссаковской, мы так бы ни о чём и не узнали или узнали бы, когда уже было бы слишком поздно. Спасибо тебе, Алина! Спасибо, любезная болтунья.

Нужно теперь очень плотно и одновременно аккуратно следить за поручиком Иваном Балакиным. Предупрежу фон Клаузевица, хотя, конечно, он и сам всё понимает. Но предупредить всё-таки надо. Сейчас хоть чуть-чуть отдохну, сделаю кой-какие записи, соберусь с мыслями и побегу в Кремль, к Государю.

Господи! Как же я расскажу теперь обо всём случившемся Его Величеству и графу Аракчееву, а ведь сказать-то придётся, непременно придётся!!! Такую измену не скроешь, да и нельзя её скрывать.

Вот Балашов-то будет радоваться, мерзавец, хотя это именно он когда-то принял Балакина на службу в министерство полиции и даже определил в особую канцелярию министерства, под моё начало. Ладно, пусть радуется Александр Дмитрич, пусть лжёт, клеветает и доносит на меня, пытаюсь свалить на нас свою собственную вину. Главное, что агент Бонапарта обнаружен, всё-таки это, как ни крути, наша несомненная победа. То, что в рядах Высшей воинской

полиции есть изменник, это поистине ужасно, но то, что случай нам помог открыть его, – это просто потрясающе, это истинное везенье. Полагаю, что в общем итоге император Александр Павлович будет мною доволен, да и граф Аракчеев тоже; только бы – молю Господа – теперь не проворонить Балакина, только бы не упустить предателя.

Июля 13-го дня. Полночь

Поразительно, но гроза миновала меня, чего я никак не ожидал. Государь был чрезвычайно рад, узнав, что раскрыт агент Бонапарта, работавший в Высшей воинской полиции. Граф же Аракчеев сердечно благодарил меня за верную службу и обещал представить к награде (правда, к какой именно, не сказал), вообще смотрел на меня поощрительно и ласково. Да, Аракчеев особо похвалил меня за умелое ведение допроса графини Коссаковской и полковника Андриевича. Я передал графу донесения моих замечательных агентов (Закса, Майзлиша, Марковского и Таубе Адельсон). Он при мне же их просмотрел и признал их исключительную ценность, добавив, что прикажет снять копии и отошлёт Барклаю, коему сии донесения должны весьма пригодиться.

Видел я мельком князя Василия Трубецкого, благодарил его за отличного лакея. Другой генерал-адъютант, князь Пётр Волконский, с важным видом давал мне советы, как должным образом надобно охранять особу Государя.

Налетел на меня Балашов и всё пытался, спрашивал меня, интересовался ловлей по Москве шпионов. Слава Богу, министр полиции ещё ничего не знает про историю с поручиком Балакиным, бывшим своим подопечным. Да, Государь и Аракчеев дали слово мне, что никому ничего не скажут, пока сей агент Бонапарта не окажется под тюремным замком. Но Балашов всё наседал на меня, проклятый. Пристал как банный лист и никак не хотел отцепиться. Когда он отошёл наконец, я вздохнул с облегчением.

Серьёзную, основательную беседу имел я с бароном фон Штейном и секретарём его Эрнстом Морицем Арндтом. Барона не на шутку испугала история с Балакиным. Он сказал мне, что необходимо срочно подобрать домишко, куда надо будет переселить легионеров сразу же после ареста Балакина.

Я тут же отправился на поиски и нашёл запущенный, пустующий двухэтажный особнячок на Варварке, принадлежащий купчихе Мокроусовой. Разыскал и саму купчиху (она живёт неподалеку), договорился с нею, вручил ей задаток и с подробнейшим отчётом направился к барону фон Штейну. Барон остался чрезвычайно доволен моей распорядительностью и исполнительностью.

Ночевать я отправился на Малую Дмитровку – не хотелось надолго оставлять без моего присмотра поручика Балакина. Предварительно запиской я вызвал на Малую Дмитровку де Валуа и нового камердинера своего Прокофия, приказав последнему принести с собою некоторые мои вещи, бумагу, чернильный прибор и стопку книг.

На вечер я и де Валуа ездили к графу Ростопчину, в Сокольники. Там всё то же: живописец Тончи демонстрировал свою наивность и путливость, а князь Цицианов приставал ко всем со своими бесчисленными лживыми историями (мне он уже тошен до невозможности, но публика со всею своею неистребимой потребностью в буффонах, кажется, была довольна).

Де Валуа о чём-то всё беседовал с графиней Екатериной Петровной. Сам же

граф беспрестанно сыпал своими французскими каламбурами, целившими, естественно, во французов. А уж масонам-то доставалось, и не передать. Получалось, что ни масон, так шпион, что ни шпион, так масон. «Но я выкорчую эту заразу», – крикнул в запале Ростопчин, провожая своих гостей.

Усиленно подъезжал ко мне полицмейстер Адам Фомич Броккер: всё хотел откровенничать со мною, дабы потом всё пересказать своему патрону, но я уже не поддавался.

Вернувшись от Ростопчина, я вызвал к себе Балакина и имел с ним долгую доверительную беседу, ибо боялся, как бы он не заподозрил чего. Но кажется, он совсем не подозревает, что мы уже обо всём догадались. Кажется, не подозревает, ежели только не хитрит. Дабы всё выглядело как настоящее, я позвал подполковника Кемпена и корнета барона фон Майделя, и мы вчетвером обсуждали детали покушения на Бонапарта. Все наблюдения и предположения Балакина были в высшей степени дельные. Господи! Неужто он и в самом деле изменник?! До сих пор не хочется в это верить.

Потом я долго беседовал с фон Клаузевицем – говорили, понятное дело, всё о Балакине. Подполковник обещал мне стеречь майора как зеницу ока.

Когда же фон Клаузевиц ушёл к себе, я стал разбирать вместе с де Валуа корреспонденцию. Просидели с ним не менее часа. Особенно порадовало донесение Майзлиша: он взял из штабной канцелярии план кампании и в точности перерисовал его.

Отпустив де Валуа, засел за чтение готики и всё время думал о том, как же удастся нам выбраться из истории с Балакиным. Не провёл бы он нас! Конечно, Клаузевиц очень надёжен, бесспорно. Но устоит ли немецкая логика против пронырливости? Не уверен! Я ужасно боюсь какого-нибудь подвоха. Даже страшно идти спать: как бы ночью не случилось чего! Но спать идти скоро придётся, ибо в 9 я уже должен быть с докладом у Государя.

Июля 14-го дня. 6-й час вечера

Ночь прошла на удивление спокойно. Происшествий не было совершенно никаких. Так что мои дурные предчувствия пока не оправдывались, но настроение у меня почему-то всё не поднималось.

Я быстро прожевал завтрак, молниеносно поданный Прокофием, глотнул чаю и помчался в Кремль. Пока я собирался и завтракал, поручик Балакин ещё из своей комнаты не выходил (я решил, что он спит). Подполковник фон Клаузевиц, подполковник Кемпен и коллежский секретарь де Валуа отправились на утреннюю прогулку.

Я подошёл к чулану и прислушался: там тоже вроде всё тихо. Можно было спокойно уходить, и я отправился, наказав корнету барону фон Майделю зорко стеречь пленных.

Государь был бодр, весел и свеж. Он внимательнейшим образом выслушал мой весьма обширный доклад о положении в Москве (говорил я часа полтора – никак не менее). Потом к нам присоединились Аракчеев и Балашов и генерал-адъютант князь Волконский. Граф Алексей Андреич задал несколько весьма дельных вопросов. Волконский расспрашивал меня об охране Кремля, как будто даже расставшись на время со своим обычным высокомерием. Министр же полиции только крутил носом и с лица его не сходила презрительная

усмешка, которую он и не собирался скрывать (наглость сего субъекта, кажется, растёт день ото дня). Но самое главное, что Государем Александром Павловичем мой доклад был принят исключительно хорошо, так что даже князь Волконский, видя это, меня потом похвалил. Да, а с графом Аракчеевым я договорился, что после обеда он явится на Малую Дмитровку, в дом капитана Уварова, для допрашивания пленных, чтобы самолично потом доложить потом Государю.

Из Кремля я отправился напрямик на Лубянку, 14, но нужен был мне на сей раз совсем не граф Ростопчин. Меня в губернаторском особнячке дожидались полицмейстер Броккер и обер-полицмейстер Ивашкин: они должны были представить мне панораму последних происшествий по граду Москва.

Расставшись с полицмейстерами, я поехал на Малую Дмитровку, ибо на сердце у меня было беспокойно. И не зря было беспокойно. Наверное, мне не надо было никуда уезжать и даже надо было написать Государю и ввиду новых чрезвычайных обстоятельств отменить назначенную аудиенцию. Но легко рассуждать, когда ты знаешь что случилось.

Дверь одного флигеля была распахнута настежь. Но испугало даже не это, а обильно просочившиеся на порог красные капельки. В глазах у меня помутилось, но всё равно я тут же вошёл, нет, просто влетел вовнутрь и чуть не растянулся на полу. В растёкшейся луже крови лежали даже не разрубленные, а искромсанные бездыханные тела поручика Ивана Балакина и полковника Сигизмунда Андриевича. Чуть далее валялась сабля, залитая кровью («вражеской кровью», – подумал я), а ещё далее на крошечной кушетке, примостившейся около вешалки, лежал корнет барон фон Майдель. В дальнем углу комнаты лежали неподвижные тела двух легионеров.

Корнет был ранен в голову, и над ним суетился мой Прокофий. Завидев меня, Прокофий вытянулся и хотел уже бежать в мою сторону. Но я махнул рукой – мол, делай своё дело, – попросив только рассказать о случившемся.

И вот что поведал мой Прокофий.

Утром, как только за мною закрылась дверь, из своей комнаты выскочил поручик Балакин, схватил каминные щипцы и кинулся к чулану. Щипцами сбил замок с двери, что вела в чулан, крикнул:

– Выходите и бегите.

После этого Иван Алексеич стал наносить удары этими же щипцами по подбежавшим легионерам и сбил их с ног.

В это время появился корнет фон Майдель. Холодно, чётко он изрубил возникшего в дверях чулана великана Андриевича и кинулся затем на поручика, продолжавшего размахивать каминными щипцами. Но не долго Балакин размахивал ими. Как-то так получилось, что поручик вдруг оказался на какой-то миг стоящим спиной к корнету. И фон Майдель тут же разрубил изменника своею безжалостною саблей.

А графиня, прелестная графиня Коссаковская в это время как ни в чём не бывало упорхнула из флигеля и исчезла, исчезла чертовка. Это просто несчастье какое-то. Я чуть не зарыдал, слушая рассказ Прокофия.

Кого же теперь будет допрашивать граф Аракчеев – мёртвого Андриевича и исчезнувшую графиню Коссаковскую? Некого теперь. Не-ко-го. Да, была у нас роскошная добыча, и нет её; исчезла она враз. Но кто же мог представить, что Балакин попыбует освободить пленников?!

А граф Аракчеев таки явился в дом капитана Уварова. Тело убитого Андриевича он ещё увидел, а вот прелестной графини ни тени, ни выцветшего платочка псевдонищенки. Было видно, граф сильно потрясён всем происшедшим: он явно не ожидал подобного поворота.

– Я недоволен, – сказал он, поворотился и вышел. Правда, дойдя до порога, Аракчеев оборотился и сказал: – Хорошо, что хотя бы этого Андриевича прикончили – он был чрезвычайно опасен. И изменник, Балакин, Слава Господу, мёртв и более вредить нам не сможет. Корнета фон Майделя надо будет представить к награде. А вы, Санглен, землю носом роите, но сыщите нам графиню. Имейте в виду: допрос её откладывается, но он отнюдь не отменён.

Июля 14-го дня. 12-й час ночи

Придя немного в себя, просмотрев корреспонденцию и сделав записи в дневнике, я поехал в Кремль, на ужин к барону фон Штейну. К столу был приглашён один лишь секретарь барона Эрнст Мориц Арндт. Обо всём случившемся они уже знали от графа Аракчеева. Фон Штейн всячески утешал меня, усиленно налегая на то, что Андриевич и Балакин уже мертвы и что здесь, в Москве, для жизни Государя, судя по всему, главной угрозы нет, ибо графиня Коссаковская, зная, что её тут усиленно ищут, по логике вещей должна была покинуть Первопрестольную.

Затем мы перешли к обсуждению действий корнета барона фон Майделя, и все трое оценили поведение корнета в утреннем деле чрезвычайно высоко.

Барон спросил меня, когда мы переезжаем с Малой Дмитровки. Я отвечал, что всё приготовлено и что на рассвете мы съезжаем.

Наконец, дошёл черёд и до моих вопросов. Я стал подробнейшим образом расспрашивать об устройстве германо-русского легиона, и какие цели перед ним стоят.

Фон Штейн рассказал следующее. Оказывается, ещё до начала боевых действий, 8 июня, находясь в Вильне, он представил Государю новую записку (ибо прежде он уже подавал проект об учреждении легиона), в коей указывал на способы привести в исполнение предложенные им меры.

Барон предлагал избрать нескольких лиц и поручить им главное управление всеми способами действий на территории Германии. Кроме того, он считал, что необходимо снабдить тайными наставлениями и деньгами Грунера (сего человека я отлично знал: это был начальник Берлинской полиции, не раз оказывавший содействие нашей Высшей воинской полиции, по настоянию Наполеона он был отправлен в отставку и переехал на житьё в Прагу). Грунер может располагать многими людьми, которые только ожидают подобной деятельности и которые составят эти шайки из недовольных прусских, гессенских и ганноверских солдат. Грунер должен выйти на связь с производителями тайной торговли на богемской границе, дабы распространять различные издания, направленные супротив французов, в Германии, и приготовить все средства для печатных известий о военных действиях, которых содержание будет ему сообщено отсюда.

Что касается до призыва перебежчиков, заметил барон, то кроме назначения для них особых начальников и сборных мест, предложено составить воззвание и распустить его в иностранных войсках Бонапарта.

– Герр Арндт, будьте так добры: ознакомьте с сим документом нашего гостя,

ибо он знает его лишь в кратких извлечениях, – обратился фон Штейн к своему секретарю.

Вот этот потрясающий документ (я попросил для себя копию, и она тут же была мне выдана с позволения барона):

ВОЗЗВАНИЕ

«Немцы!

Зачем вы воюете с Россиею, перешли её границы, вражески относитесь к её народонаселению, тогда как, в продолжение многих столетий, она постоянно находилась в дружеских к вам отношениях, принимала к себе тысячи ваших соотечественников, вознаграждала их дарования и поощряла их занятия торговлею и промыслами?

Что побудило вас на это несправедливое нашествие, которое грозит гибелью вам самим и может окончиться или смертью ста тысяч вас самих, или совершенным порабощением для вас?

Впрочем, вы не по своему желанию решились на это нашествие. Ваш здравый ум, ваше чувство справедливости не допустили бы вас до этого; вы – несчастное орудие в руках иноземного властолюбия, которое неуклонно стремится к порабощению всей Европы.

Немцы!

Жалкое и постыдное орудие чуждого властолюбия, образумьтесь, вспомните, что в продолжение столетий вы были великим народом в истории, отличившимся успехами в науках и искусствах во время мира и доблестью в войне. Возьмите за образец Испанию и Португалию, где сила воли целого народа успешно противодействует иноземному порабощению. Вы угнетены, но не выродились и не унизились: многие из вас, принадлежащих к высшим сословиям, забыли свои обязанности в отношении к отечеству, но большая часть из вашего народа честны, храбры, недовольны чужеземным порабощением, верны Богу и отечеству.

Вы, которых завоеватель пригнал к границам России, оставьте знамёна рабства и соберитесь под знамёнами отечества, свободы, народной чести, которые будут подняты под защиту русского императора, моего милостивого повелителя. Он обещал нам помощь всех храбрых русских людей из 50 миллионов своих подданных, решившихся вести войну до последнего издыхания за свою независимость и народную честь.

Его Величество император Александр поручил мне всех храбрых немецких солдат и офицеров, которые перейдут к нам, помещать в немецкий легион...

Если же борьба и не увенчается полным успехом, то мой милостивый Государь обещает обеспечить ваше существование в южных областях России.

Немцы!

Избирайте одно из двух: или последуйте за призывом отечества и чести и потом наслаждайтесь за мужество и подвиги, – или пригибайтесь более и более под то иго, которое вас угнетает к стыду, унижению и насмешке иностранцев и проклятию ваших потомков.

БАРОН КАРЛ ФОН ШТЕЙН».

Уже уходя, я сказал:

– Барон, мне всё теперь более или менее понятно, и я согласен совершенно

со всем, что узнал, но что же легионеры будут делать в Москве в том случае, ежели город возьмёт Бонапарт?

– Они будут истреблять офицеров и генералов Великой армии, – таков был ответ барона фон Штейна.

Яснее не скажешь. На этой ноте и закончился наш ужин.

А я думал, отправляясь к себе: «Грунер – отличный, безупречный, опытный полицейский, не зря его испугался Бонапарт. Ежели он нам и в самом деле поможет организовать из боевых офицеров сеть разбойничьих шаяек, это нам, уверен, поможет одолеть супостата. И замечательна сама идея – мы непременно должны ею воспользоваться».

Когда я вернулся на Малую Дмитровку, меня там ждали совершенно неожиданные гости, такие гости, появления коих я даже не мог предполагать: то были сам граф Ростопчин, полицмейстер Броккер и обер-полицмейстер Ивашкин.

Не успел я появиться в дверях гостиной, как Ростопчин буквально выскочил из кресла и ринулся мне навстречу. За ним бросились и господа полицмейстеры.

– Всё ли у вас готово к завтрашнему? – сходу закричал мне граф, совершенно дико вращая глазами, пританцовывая и наседа на меня. Но он не столько нападал, сколько сам был напуган.

Завтра с утра в Слободском дворце (это дом графа Безбородко, превращённый ныне в Дворянское собрание) Государь должен встретиться с дворянством и купечеством.

Я отвечал губернатору в том духе, что у нас всё готово и что совершенно нет повода для волнений.

– Голубчик, – продолжал кричать Ростопчин. – Не подведите, обороните нашего Императора, а то масонов тут развелось более, чем полицейских у меня; опасаясь, как бы они чего не выкинули. За народ я спокоен. Напрасно Бонапарт прельщает его вольностью, вольности у нас никто не хочет, о ней лишь изредка толкуют пьяницы. Но масоны – вот наша истинная беда, наше подлинное несчастье. Ох, как они мутят воду. Боюсь завтра вылезут пред Государем и начнут свои глупости болтать. Сделайте же что-нибудь, господин военный советник, не пускайте этих изменников во дворец.

Ростопчин ещё рассказал, что он приказал за болтовню выслать в Вятку артиста и содержателя известных московских бань Силу Сандунова, но врагов в Первопрестольной остаётся пока немало – к завтрашнему утру он просто не успевает всех выслать.

Я с трудом пряча улыбку, заверил графа, что никакие масоны и вообще враги Отечества в Слободской дворец завтра допущены не будут, что его сиятельство может спать спокойно, что я ручаюсь головой за безопасность Государя. Ростопчин как будто утихомирился. Он перестал дико вращать глазами, сладчайше улыбнулся и со своими клеветами, со своей полицейской свитой быстро ретировался из дома капитана Уварова (а дом сей, увы, из-за этого проклятого поручика Балакина уже почти перестал быть нашей обителью) и полетел к себе в Сокольники, на дачу – резвиться, каламбурить, ругать по-чём зря масонов и выслушивать глупости луна князя Цицианова. Да, он есть истинно «сумасшедший Федька», но ещё и интриган, и пускатель пыли в глаза, искатель чёрной кошки в комнате, в которой её нет.

Когда за троичей закрылась дверь, все находившиеся в гостиной начали дружно смеяться. Не выдержал даже подполковник фон Клаузевиц, который обычно даже улыбаться себе не позволяет. Коллежский секретарь де Валуа и корнет фон Майдель стонали от смеха, корчились и чуть ли не рыдали (им даже сделалось дурно). А Прокофий мой, так тот просто ржал и бился.

Так что этот печальный день закончился, можно сказать, почти что весело, во всяком случае довольно комично. Грозный и бешеный московский губернатор оказался вдруг ужасно смешон.

Но самое удивительное, что вскорости после ухода Ростопчина, появился новый гость, и он был совсем уж неожиданным – я и сейчас не могу прийти в себя от изумления. В одиннадцатом часу ночи (де Валуа уже ушёл к себе, а я набрасывал перевод одного монолога Франца Моора из «Разбойников» Шиллера) домик капитана Уварова посетил министр полиции Балашов; да, да – собственно персоною. За ним высилась тройка безмолвных адъютантов. Балашов никогда тут не был прежде и вообще последние месяцы меня сторонился и ежели заговаривал со мною, то только для того, чтобы сказать какую-нибудь пакость. А что он передаёт обо мне – рука не поворачивается записать. И вот Александр Дмитрич у меня в гостях. Было чему удивиться. Но, конечно, и виду не подал и принял его визит как само собою разумеющееся.

Видно было, что Балашов не в своей тарелке. Печать заботы, перемешанной с испугом, лежала на его белом, холёном лице. В ближайшие минуты всё разъяснилось, ибо министр тут же перешёл к делу. Оказывается, его, как и Ростопчина, страшно волновало завтрашнее посещение Государем Слободского дворца. Он, как и Ростопчин, не очень надеялся на силы министерства полиции. Только о масонах речи не было – они его мало волнуют, вообще Александр Дмитрич – человек в высшей степени практический.

Я, отнюдь не пытаясь придать своей особе какого-нибудь повышенного значения (а ведь мог бы это сделать), прямо рассказал Балашову, что Слободской дворец прямо будет находиться под охраной легионеров – они же никого подозрительного не пропустят; в этом можно не сомневаться), внутри же дворца будут следить за безопасностью полицмейстер Вейс и ротмистр Ривофиналли, да и я там буду.

Сообщённые мною известия успокоили министра. Он ласково улыбнулся мне и, прощаясь, выразил совершенную признательность за принятые меры.

Александр Дмитрич Балашов ушёл (за ним тенями выскользнули и адъютанты), а я опять принялся за любимых своих «Разбойников».

Да, ну и гости стали меня посещать. Кажется, особа моя приобретает вес. Ну и что с того? Гордиться тут совершенно нечем. Алину-то я упустил. Не могу себе этого простить!

Июля 15-го дня. 6-й час вечера

В начале 6-го утра к дому капитана Уварова на Малой Дмитровке подъехало десять карет, зашторенных чёрными занавесями – все они были присланы по распоряжению графа Аракчеева. И начался переезд. Для меня, де Валуа, Прокофия, наших вещей и, главное, бумаг, относящихся до канцелярии Высшей воинской полиции, была выделена отдельная карета, самая большая и поместительная. А ровно без десяти семь мы уже были обитателями особнячка

на Варварке. К началу 8-го туда подъехал новый командир московских легионеров майор Бистром, чуть позже прибыли полицмейстер Вейс, квартальный надзиратель Шуленберх и надворный советник Шлыков, и мы все двинулись к Слободскому дворцу.

Как только мы подошли, легионеры во главе с корнетом бароном фон Майдемом тут же оцепили здание, а я, подполковник фон Клаузевиц (он отбывает в действующую армию через два дня), майор Бистром, ротмистр Ривофиналли и надворный советник Шлыков, полицмейстер Вейс и квартальный надзиратель Шуленберх поднялись по парадной лестнице и, разбившись на группы (одну возглавил я, а вторую – фон Клаузевиц), стали осматривать Слободской дворец.

Клаузевицу, полицмейстеру Вейсу и Бистрому досталась зала, в коей толпились купцы, огромные, осанистые, длиннородые. Крошечный Вейс в окружении этих бесчисленных бород легко потерялся. Но и высокий, сухопарый Клаузевиц в купеческой зале был мало заметен.

Мне же досталась для осмотра зала, в коей пестрели дворянские мундиры, ленты и ордена. Я тут же заметил, как к стенке жмётся вконец напуганный коротышка Сальватор Тончи (тут его называют Николай Иванович), цепляющийся за край великолепного мундира начальника Кремлёвской экспедиции Петра Степановича Валуева, своего патрона¹³. Зрелище было поистине умиротворительное. Но долго я не мог задерживаться на этой картинке.

Блеск звёзд дворянской залы поистине ослеплял, но я всё выискивал глазами графиню Алину Коссаковскую, однако её, конечно, нигде не было: как сквозь землю провалилась. Впрочем, я и так понимал, что графиня из Москвы давно улепетнула, но всё равно надобно быть предусмотрительными: а вдруг?.. Чем чёрт не шутит, тем более, что Алина – девица неслыханной смелости и мастерица неожиданнейших поступков и замысловатых решений. И всё-таки в Слободском дворце графини Коссаковской не было, так что сегодня неприятностей ждать не приходится. И Слава Богу!

Надворный советник Шлыков также высматривал Алину и, видно, был разочарован, что её нет нигде. Ясное дело, Павел Александрович мечтает о рванше, но в состоянии ли он справиться с Алиной, ведь даже мне это пока так и не удалось?!

Конечно, в Слободском дворце сейчас не было ни единой дамы, и казалось, как бы тут взяться Алине?! Но мы-то, имевшие с нею уже дело, знали, что ежели бы она решила, то непременно бы появилась, хотя бы в дворянском мундире или в экстравагантном наряде павловского отставного фаворита, с огромными ботфортами и нелепой косою. Однако судя по всему, она пока решила не появляться в Слободском дворце и решила так отнюдь не из трусости, а потому что это просто не входило в её расчёты. Возможно, графиня ждала новых распоряжений от Бонапарта. Так или иначе, но, слава Богу, её тут не было.

В обеих залах стоял гул голосов, и вдруг он разом, как по мановению волшебной палочки, смолк. Воцарилась мертвящая тишина. В дворянскую залу влетели крошечный, сухопарый, носатый полицмейстер Адам Фомич Броккер и крошечный же, но необыкновенно раздавшийся в ширину обер-полицмейстер Пётр Алексеич Ивашкин: оба они выглядели необыкновенно растерянными.

¹³ Н. И. Тончи был причислен к Кремлевской экспедиции по живописной части (позднейшее примеч. Я. де Санглена).

ми и даже испуганными. За ними тут же вбежал граф Ростопчин, с вытаращенными глазами, весь в холодном поту, и с дрожью в голосе крикнул:

– Государь идёт!

ПОЗДНЕЙШИЕ ПРИПИСКИ, СДЕЛАННЫЕ АВТОРОМ ДНЕВНИКА НА ОБОРОТЕ ПЕРВОЙ МОСКОВСКОЙ ТЕТРАДИ

Августа 26-го дня 1812 года. Полночь

Граф Ростопчин на званных вечерах своих самонадеянно кричит, что это именно он, а не Кутузов даст отпор Бонапарту, кричит, что будет вооружать жителей Первопрестольной и сам поведёт их на французов. Видимо, находились простаки, которые верили в то, что губернатор возглавит народный бунт.

Забавно, что на какое-то время в число этих простаков попал и сам Михайла Ларионыч Кутузов, а он-то уж хитёр как чёрт. Главнокомандующий попросил у московского губернатора оружия и получил ответ, что оно роздано москвичам. Михайла Ларионыч согласился с этим и больше с подобными просьбами не выступал.

Роздано-то роздано, но что именно? Вопросец непростой, хочу заметить, очень даже непростой. Перо с трудом поворачивается, чтобы написать ответ. Дух захватывает. Новёхонькие ружья по-прежнему стоят в арсенале, хотя Бонапарт через день-другой уже может появиться в Первопрестольной. По приказу графа московский люд получает вооружение задёшево (это правда, совсем не по купеческой цене): ружьё или карабин отдаётся за 2 рубля, сабля идёт по рублю. Но вот в каком состоянии это вооружение? Ружья или без замков, или без прикладов, или стволы у них согнутые, сабли без эфесов, у других сломаны клинки или зазубрены. Страшное дело! Как же с этим воевать? Это похоже на явную насмешку. Но я скажу иначе: пахнет явною изменой. И в народе постепенно зреет возмущение. Московскому главнокомандующему перестают доверять.

А сегодня, в день этой несчастной битвы, нами явно проигранной французам, граф устроил новую жуткую буффонаду, мистификацию, которая означала циническую насмешку над патриотическим воодушевлением нашего народа.

Вот что было сделано. Его сиятельство вызвал из Троице-Сергиевой лавры престарелого митрополита Платона. За колокольной Ивана Великого был воздвигнут амвон, сюда были вынесены иконы из соборов и отслужен молебен в присутствии генерал-губернатора. По окончании молебна один из дьяконов стал рядом с немощным Платоном и стал говорить от его имени. Дьякон умолял народ не волноваться, покориться, доверяться начальству.

– Владыка желает знать, – продолжал дьякон, – насколько он успел вас убедить. Пускай все те, которые обещают повиноваться, становятся на колени.

Все встали на колени. Митрополит плакал.

Потом выступил граф Ростопчин. Он обратился к народу со словами:

– Коль скоро вы покоряетесь воле императора, я объявляю вам его милость. В доказательство того, что вас не выдадут безоружными неприятелю, он вам позволяет разбирать арсенал: защита будет в ваших руках.

И началась бесплатная раздача оружия. Но что это было за оружие?

Всё та же рухлядь, которую не успели по дешёвке сбыть. Ей-богу, хочется плакать.

Кто-то назвал поведение Ростопчина в этот день чистейшей буффонадой. Однако я полагаю, что то была не буффонада, а обман, направленный супротив воли нашего Государя. Кошмар какой-то! Именем Государя народу выдаётся оружие, но оно совершенно никуда не годится!

Что же это как не измена? Иначе просто и не скажешь.

Февраля 3-го дня 1857 года. Москва. 9-й час утра

Весь арсенал (прекрасные новые ружья) достался вошедшему в Москву неприятелю. До сих пор – хотя уже столько лет прошло – не знаю, как это понимать. Факты же таковы: граф Ростопчин не отдал арсенал светлейшему князю Михайле Кутузову, но зато лучшую часть арсенала подарил Бонапарту: 80 тысяч ружей и до 60 тысяч холодного оружия.

Однако беда случилась не с одним арсеналом. Почти полностью было утрачено имущество артиллерийского и комиссариатского департаментов. Впоследствии по личному распоряжению императора Александра было начато расследование «О потере в Москве артиллерийского и комиссариатского имущества». Чем оно закончилось, мне не ведомо. Полагаю, что ничем.

Поговаривали, что московский военный губернатор боялся вооружать простолюдинов и потому предпочёл сдать запасы оружия врагу. Данное объяснение, самое приятное из всех, упирает на трусость графа Ростопчина.

Однако возможно и гораздо менее приятное объяснение, лежащее в коротком, но страшном слове «измена». Впрочем, измена всё равно была, но, может быть, графа подвигнула на неё трусость.

У меня нет до сей поры окончательного ответа на вопрос, что же сделало графа предателем: страх, личные обстоятельства, предосудительные и достаточно прочные связи с орденом иезуитов (а они, несомненно, имели место) или, может быть, что-нибудь ещё... Но предателем он был несомненно.

Марта 24-го дня 1863 года. Москва. Полночь

Я всё ещё продолжаю довольно много размышлять о графе Фёдоре Васильевиче Ростопчине. Образ его сиятельства до сих пор не даёт мне покоя, хотя прошло уже не одно десятилетие со времени его печального мо-

сковского правления. Кем же всё-таки на самом деле был граф? В каких словах можно дать сжатую оценку его администраторской деятельности в 1812 году?

И вот мой ответ: «Он создал атмосферическое давление страха и сам же подпал под него. Он пугал других, но, видимо, в какой-то момент поверил в свои собственные страшилки и начал пугаться сам. Это был сумасшедший губернатор несчастной Москвы». ■

Мир

рассказ

культурологическая эссеистика





Михаил КОРОЛЬ

📍 Анатот, Израиль



Фото: Юрий Мечитов

Родился в 1961 году.

Израильский поэт и культуролог, пишущий на русском языке. Автор семи поэтических сборников, а также ряда культурологических и краеведческих книг: «Королевские прогулки по Иерусалиму», «Святые места Иерусалима», «Храм Гроба Господня в Иерусалиме», «Путеводитель по следам Ирода Великого в стране Израиля», «Мир библейских животных», «Дер Эмес фун Лина».

Живёт в иерусалимских предместьях, в посёлке Анатот, где когда-то родился пророк Йермияху (Иеремия). Кстати, поэт Анри Волохонский так однажды отозвался о М. Короле: «Пишет он о херувимах, о разных пророках и сам понимает, о чём пишет».

В настоящее время выходит из печати новая книга – «Полигимния в Иерусалиме».

Тигр в пустыне

(Враньё Бегемота)

– Тигров нельзя есть, – сказала Гелла.

– Вы полагаете? Тогда прошу послушать, – отозвался кот и, жмурясь от удовольствия, рассказал о том, как однажды он скитался в течение девятнадцати дней в пустыне и единственно, чем питался, это мясом убитого им тигра. Все с интересом прослушали это занимательное повествование, а когда Бегемот кончил его, все хором воскликнули:

– Враньё!

– И интереснее всего в этом вранье то, – сказал Воланд, – что оно – враньё от первого до последнего слова.

– Ах так? Враньё? – воскликнул кот, и все подумали, что он начнёт протестовать, но он только тихо сказал: – История рассудит нас.

Ночь оторвала и пушистый хвост у Бегемота, содрала с него шерсть и расшвыряла её клочья по болотам. Тот, кто был котом, потешавшим князя тьмы, теперь оказался худеньким юношей, демоном-пажом, лучшим шутком, какой существовал когда-либо в мире. Теперь притих и он и летел беззвучно, подставив своё молодое лицо под свет, льющий от луны.

М. А. Булгаков. Мастер и Маргарита

Молодой человек по имени Скотина с отвращением оглянулся на закрывающиеся Шушанские ворота. Солнце только-только поднялось над горой Помазания, и на створках зажглись медные крылья львиных крувов (херувимов) – тех самых, что в Парасе и Мидьяне считались стражами городских стен. «Чтоб они всех левитов сожрали!» – мелькнула кровожадная мысль. Молодой человек и сам был родом из колена Леви, но истово ненавидел соплеменников, как, впрочем, и самого себя. Ведь мог бы сколько угодно раз сбежать из дома родителей в Альмоне, и не сбежал. Мог бы отвертеться и от этой отвратительной ему ежегодной службы в Храме, и что? Покорно отправился в Город Западного Бога. Мог же взять и сказать Великому Жрецу, что тот вонючий козёл, и не сказал... И теперь можно лишь самого себя успокаивать словоблудным оправданием, что, дескать, не хотелось обижать полорогое животное. Да, любовь к животным и вывела Скотину этим, уже мёртвым от зноя, новогодним утром в ущелье Горшечной Глины. «Раз ты так страдаешь о душах жертвенных агнцев и горлиц, раз так переживаешь из-за крови телиц, то безо всякого жребия отправляю тебя, Скотина сын Волка из колена Леви, во владения Азаэля, то есть в пустыню к Солёному морю, искать останки изгнанного козерога, дабы убедиться в том, что грехи народа Израиля искуплены и прощены», – так сказал сам Помощник Главного Жреца. В День Искупления Главный Жрец бросает жребий (он вообще почти ни одного решения принять не может, не метнув жребий) между двумя годовалыми козликами, и каждому из них не везёт... Одного отправляют на жертвенник, а второго один из левитов выводит через эти самые, с грифонами, восточные врата Храма и сопровождает почти до самого Гирканиона. Ну, конечно, не до самого, а стадий тридцать не доходя, – там есть очень удобный утёс в ущелье Горшечной Глины, откуда и сбрасывают несчастных козлов. А сразу после праздника Кущей туда посылают самого нерадивого из левитов-новобранцев, чтобы он разыскал труп искупленца и снял с его рогов шерстяные нити для предъявления в Храме. Если эта пряжа, выкрашенная в багряницу, осталась красной, то – беда! – не был прощён народ Израиля в наступившее Новолетие. Однако левиты, к всеобщей радости, возвращались с белоснежными нитками, и с облегчением вздыхал нервный Главный Жрец, совсем недавно переживший все ужасы Дня Искупления, когда готов был умереть, войдя, привязанный за щиколотку, в Святая Святых. Но и в этот раз он не умер, и принёс на следующий день все полагающиеся жертвы, и благословил народ, а через пару недель призвал к себе Помощника и велел отправить гонца за шерстью, притороченной к рогам козла Искупления. Помощник этот, несколько дней подряд уже страдающий от новичка из Альмона, даже и гадать не стал, кого он пошлёт в пустыню. Бывали, да, бывали случаи, когда не возвращался посланный, и тогда весь народ оставался в полном неведении, прощены или нет их грехи... «Кому же, как не тебе, сын мой, я могу поручить столь важное дело, – говорил Помощник, призвав к себе юношу и с ненавистью глядя на его босые исцарапанные ступни, – Ты же у нас лучше всех знаешь повадки животных и птиц, и это, возможно, говорит в тебе кровь Великого Шломо сына Давида, который, как известно, понимал язык всех существ. И как потомок пророков, истинно говорю тебе, ученик, недаром прозван ты Бехемот бен-Зеев, то есть Скотина сын Волка, ибо послужит тебе знание обо всех полза-

ющих и плавающих, и летающих, и жующих жвачку для прославления имени Всемогущего. Господь ведаёт, что из семени твоего взойдёт дерево воистину царское, и один из потомков твоих запишет слова Всевышнего о тварях сущих, упомянутых в Священном Писании¹. Ныне же ты, ученик, ступай в Пустыню Азаэля, и да приведёт тебя Милосердный Бог обратно с нитями, принявшими, по воле Небес, цвет белоснежный...»

За порогом Храмовой горы молодой человек обулся в кожаные сандалии, обмотал голову влажной тряпицей, поудобнее устроил за плечами бурдюк с водой, мысленно плюнул на грифонов и двинулся вместе с солнцем в сторону Солёного моря.

...Кости козла Скотина нашёл быстро, уже к исходу второй стражи, когда вышел по каменистому жёлтому плато на крутой обрыв над ущельем. Увы, там внизу шерстяные нити на рогах алели, как алеют ранней весной цветы Адониса. Скотина понимал, что возвращаться назад с таким трофеем – истинное безумие. Как назло, запихать себе за пояс пучок белой пряжи он не успел, хотя и собирался. «Ничего, – подумал юноша, любясь с вершины смертоносного утёса обглоданными костями бедного козерога, – у меня есть хороший способ отбеливать ткани и шерсть, и он всегда со мной. Правда, понадобится несколько дней, чтобы моча загустела и приобрела все необходимые отбеливающие свойства. Но я же никуда не тороплюсь, не так ли?»

Он устроился поудобнее на краю пропасти, прижавшись спиной к обломку скалы, дающему подходящую тень, отпил немного из своего бурдюка и прежде, чем сорваться в пропасть, успел увидеть прыгнувшего на него огромного зверя, горящего пламенем на фоне божественно синего неба...

Первое, что, очнувшись, увидел молодой человек, это была красная шерсть на жёлтом черепе козла. Только этой шерсти было как-то очень много в глазах. Скотине показалось, что он сам опутан багровыми нитями. И тут же понял, как ему больно. Крови было очень много. Ею пропитался хитон, заплечная сумка и бурдюк. Кровь пузырилась на камнях у ног упавшего. Скотина попытался вскочить, но закричал от боли и рухнул на козлиный скелет. Сандаля соскочил с левой ноги, и сама стопа представляла кошмарное зрелище – раздувшаяся, чёрно-синяя, но при этом с до зелени побелевшими ногтями. Тут ещё кое-что привлекло его внимание. Сбоку, на камнях распласталась огромная мохнатая туша невероятного, небывалого зверя. Она была ярко рыжего цвета и при этом сплошь покрыта тёмно-коричневыми, почти чёрными, полосками, которые казались строками какого-то неведомого письма. Тело зверя содрогалось в конвульсиях. Голова была разможжена сорвавшимся с вершины камнем. Как замороженный смотрел Бехемот бен-Зеев на кровавую пену, на оскаленную пасть, на круглые твёрдые уши и рыжую бороду животного, до невероятности похожую на бороду Главного Жреца...

Вместо того, чтобы воздать Всевышнему благодарственную хвалу за чудесное спасение, Скотина всхлипнул, не в силах оторвать взгляд от утасающих янтарных глаз зверя. Да, он понял, что за неведомый хищник забрёл во владения Азаэля. Парфяне, армяне, персы и ассирийцы часто рассказывали на базарах

¹ М. Король. Энциклопедия библейских животных. Иерусалим, 2017.

небылицы про этих зверей; их называли жульбарсами, или йолбарсами, или джульбарсами, а по-гречески тигрисами. Про них рассказывали, что за день они без труда могут пройти шестьсот стадий и что одним ударом лапы повергают дикого кабана оземь, и что сам Искандер Мукдон убил за один день своим дротиком тридцать джульбарсов. Скотина понял, что раненый зверь испытывает жуткие страдания, и рыдая, пополз по камням к тигрису. «Потерпи, потерпи, дружок, – хрипел юноша, – сейчас, сейчас...» Под руку попался острый осколок кремня; им незадачливый левит нанес удар. Зверь выгнулся дугой и затих. Скотина снова потерял сознание, уткнувшись головой в рыжую шерсть.

А потом потянулись кошмарные дни. Уже на третий вода в бурдюке закончилась. К концу этого же дня Скотина закончил свежевать тушу своим случайным кремневым ножом. Здесь, почти на дне ущелья, нашёлся неглубокий грот, где молодой человек кое-как устроился. Ходить он не мог, и поэтому приходилось все время, как аспиду, пресмыкаться на брюхе. Ему удалось набрать целый ворох местных колючек, которые набатеи называют «горючими корабликами», и по ночам он жёг костерок, и на раскалённых камнях пёк мясо убитого зверя. Он понимал, что впервые в жизни вкушает нечто запрещённое законом отцов, но нисколько от этого не расстраивался. Ему казалось, что тигрис сам просит съесть его, и потом самому превратиться в огромное пламенное животное, изрезанное чёрными письменами. Мясо было жёстким, жилистым, но по-своему вкусным. Когда в первый раз Бехемот впился крепкими зубами в эту плоть, в памяти вдруг всплыла неведомо откуда взявшаяся цитата: «На всей территории своего ареала тигрис является вершиной пищевой пирамиды». Юноша не совсем понял смысл этой фразы, но отчего-то решил, что эта истина важнее тех, что вбиты в его голову с детства.

...Смесь из собственной мочи, золы и печени зверя парень втирал в шкуру и неистово скреб её кремнем. А про шерсть, которая по-прежнему оставалась алой, он забыл. Но вот прошёл ещё один день, и Скотина понял, что пора умирать от жажды. Однако Владыка мира услышал молитвы жрецов в Храме, и сгустились тучи над Городом Западного Бога, и хлынул ливень. И скоро, очень скоро жёлтые потоки устремились вниз по ущельям к Солёному морю, смывая кости козла Искупления и злополучного полосатого барса. Прямо под гротом левита образовалась солидная лужа, и три часа молодой человек полз к ней, чтобы утолить жажду и выжить.

И он выжил. Прошло две с половиной недели. Нога заживала, мясо заканчивалось, а шкура становилась мягче и мягче. Понимая, что в город ему по ущелью Горшечной Глины никак не подняться, Скотина продолжил путь по ущелью вниз и на север, к Гирканиону. Там уже проходили торговые пути, и можно было выбирать, куда держать путь, то ли в Город Западного Бога, то ли в Город Лунного Аромата, то ли в Город Множества Людей... Никто не знает, какой путь выбрал молодой человек. Никто. Только с этих пор по всему Плодородному полумесяцу купцы стали разносить вместе со своим разномастным товаром немыслимые сказки о непобедимом сыне индийского царя, мрачном и молчаливом юноше, никогда не снимающем служащую ему верхней одеждой тигровую шкуру... А вы говорите, что тигров нельзя есть! ■

Главы из новой книги «Полигимния в Иерусалиме»

На всякий случай предупреждение по Фрейду: не путать с полигамией!

В своё время александрийские учёные, ошеломлённые размахом сочинения Геродота, именуемого «Историей», разделили сию книгу на девять частей, каждую назвав именем одной из муз, дочерей Зевса и Мнемосины. На чём основывался выбор тех или иных муз к тем или иным частям «Истории», нам неведомо, но, согласитесь, до чего же это изящно: взять деяния рода человеческого под опеку олимпийских пизэрид, божественных девственников, понимающих истинный толк в прекрасном.

Безусловно, подобная эллинская эстетика повлияла и на риторику Вавилонского Талмуда: «Десять мер красоты отпущено миру: девять достались Иерусалиму, а одна – остальному миру» (трактат «Кидушин», 49б). Так и хочется соотнести меры красоты с девятью сёстрами-музами. Из них шесть отвечают за изящную словесность: Каллиопа – муза эпоса, Мельпомена – муза трагедии, Талия – муза комедии и буколической поэзии, Эрато – муза любовной поэзии, Эвтерпа – муза лирической поэзии и *Полигимния* – муза красноречия и гимнической поэзии. Вот и получается, что изначально Иерусалиму предназначено стать городом исключительно поэтическим, чем и объясняется непреодолимая во все времена тяга многонациональных литераторов к нашему городу. И да, пусть за все перипетии, коллизии, коллапсы, метаморфозы и ренессансы попавших в этот город писателей отвечает муза Полигимния, как наиболее серьёзная и вдумчивая из сёстер. Всё-таки, сочинение гимнов – дело ответственное. И недаром же именно ей приписывается изобретение самого поэтического музыкального инструмента – лиры.

Поэт, попадающий в Город городов, в Центр мира, Святой град, пребывает в волнительной уверенности, что он находится на пороге некоего откровения, что ещё чуть-чуть и наступит момент истины, что именно тут его осенит небывалое

вдохновение... А на самом деле Полигимнии всё это нужно только для того, чтобы побольше гимнов слагалось во славу Иерусалима, а нам всё это нужно, чтобы представить почтенной публике своеобразный новый путеводитель со старыми маршрутами, по которым нас ведут зачарованные нашим городом великие служители муз, среди которых и нобелевские лауреаты – не редкость.

Для этой книги были выбраны 12 героев, и символика такого числа тоже вполне иерусалимская (колена Израилевы, апостолы, камни из нагрудника Первосвященника, знаки Зодиака, в конце концов). Вот они: Давид-псалмопевец, Шота Руставели, Франсуа Рене де Шатобриан, Уильям Теккерей, Николай Васильевич Гоголь, Гюстав Флобер, Герман Мелвилл, Марк Твен, Сельма Лагерлёф, Иван Алексеевич Бунин, Андрей Белый (Борис Бугаев) и Томас Манн.

«Тайные тропы» предлагают вниманию читателей две главы из «Полигимнии в Иерусалиме».

Гоголь в Иерусалиме

В 1841 году М. Ю. Лермонтов, в Палестине никогда не бывавший, в хрестоматийном стихотворении «Спор» отразил, тем не менее, общее паломническое впечатление того времени от Святой земли:

«Вот у ног Ерусалима,
Богом сожжена,
Безглагольна, недвижима
Мёртвая страна».

Так классически и стереотипно представляется и весь итог поездки в Иерусалим Николая Васильевича Гоголя (1809–1852). Современный исследователь истории Иерусалима Саймон Себаг Монтефиоре в монографии «Иерусалим. Биография» всю историю пребывания Гоголя в нашем городе преподносит следующим образом:

«Не все русские паломники были солдатами или крестьянами, и не все они находили в Иерусалиме успокоение, которого искали. 23 февраля 1848 года в Святой город въехал русский паломник: типичный в своём религиозном рвении и совершенно уникальный в своей гениальности. Писатель Николай Гоголь, прославившийся пьесой «Ревизор» и поэмой «Мёртвые души», прибыл в Иерусалим на осле в поисках «духовного хлеба», душевного умиротворения и божественного вдохновения. Он задумывал «Мёртвые души» как трилогию, но вторая часть давалась ему с трудом. Бог явно препятствовал его литературному труду в наказание за грехи. И единственным местом, где можно было снискать искупление, он, как многие русские, считал Иерусалим. «Пока я не побываю в Иерусалиме, — писал Гоголь, — я едва ли смогу сказать кому-либо что-нибудь утешительное». Однако визит в Иерусалим обернулся катастрофой: он провёл целую ночь в молитве у Гроба Господня, однако нашёл храм грязным и вульгарным. «Прежде чем у меня появилось время собраться с мыслями, срок моей поездки вышел». Величие святых мест и унылый ландшафт окрестных холмов надломили его дух ещё больше: «Скажу вам, что ещё никогда не был я так мало доволен состоянием сердца своего, как в Иерусалиме и после Иерусалима». По возвращении Гоголь отказывался рассказывать о Иерусалиме, но подпал под влияние некоего мистически настроенного священника, который убедил писателя

в ложной направленности его сочинений. Гоголь сжёг свои рукописи, а затем довёл себя голодом до смерти — или, возможно, до состояния комы: когда в XX веке его гроб вскрыли, тело писателя лежало лицом вниз».

Под свою версию «гоголевского восприятия» Монтефиоре подводит научное обоснование: дескать, русский писатель страдал одним из «подтипов иерусалимского синдрома» — психопатической декомпенсацией, основанной на религиозном патологическом разочаровании городом. Этой депрессией и объясняется отсутствие рассказов о путешествии в Палестину. Подтверждается сия теория и воспоминаниями сестры Гоголя, Ольги Васильевны Гоголь-Головни, писавшей в «Семейной хронике»: «Мне кажется, брат был разочарован поездкой в Иерусалим, потому что он не хотел нам рассказывать. Когда просили его рассказать, он сказал: «Можете прочесть “Путешествие в Иерусалим”». Книга, к которой Гоголь отсылает родственников, им прорекламирована ещё полтора десятилетия назад в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». В новелле «Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка». Вот текст рекламы:

«— Читали ли вы, — спросил Иван Иванович после некоторого молчания, высовывая голову из своей брички к Ивану Фёдоровичу, — книгу «Путешествие Коробейникова ко Святым Местам»? Истинное наслаждение души и сердца! Теперь таких книг не печатают. Очень сожалательно, что не посмотрел, которого году. Иван Фёдорович, — услышавши, что дело идёт о книге, прилежно начал набирать себе соусу. — Истинно удивительно, государь мой, как подумаешь, что простой мещанин прошёл все места эти. Более трёх тысяч вёрст, государь мой! Более трёх тысяч вёрст. Подлинно, его Сам Господь сподобил побывать в Палестине и Иерусалиме. — Так вы говорите, что он, — сказал Иван Фёдорович, который много слышал о Иерусалиме ещё от своего денщика, — был и в Иерусалиме?.. — О чём вы говорите, Иван Фёдорович? — произнёс с конца стола Григорий Григорьевич. — Я, то есть, имел случай заметить, что какие есть на свете далёкие страны! — сказал Иван Фёдорович, будучи сердечно доволен тем, что выговорил столь длинную и трудную фразу. — Не верьте ему, Иван Фёдорович! — сказал Григорий Григорьевич, не вслушавшись хорошенько, — всё врёт!»

Итак, «Путешествие в Иерусалим» — это несомненно «Путешествие московского купца Трифона Коробейникова с товарищами во Иерусалим, Египет и к Синайской горе в 1583 году». Почему несомненно? Практически все итинерарии называются «путешествиями», и Гоголь мог иметь в виду сочинения и Муравьева, и Теккеря, и Шатобриана, и Мишо, и Ламартина. Но Коробейников со товарищи стоит особняком, и прежде, чем приступить к доказательству того, что именно коробейниковское «Путешествие» следует признать «истинным наслаждением души и сердца» Николая Васильевича, обратимся к некоторым нюансам его собственного путешествия в Иерусалим в 1848 году. Константин Михайлович Базили (1809–1884), в прошлом соученик и приятель Гоголя по гимназии в Нежине, а ныне [в 1848 году] генеральный консул Российской им-

перии в Сирии и Палестине, — вот кто является инициатором и организатором гоголевского восхождения в Иерусалим из Бейрута. Сопровождал друзей в пути «через Сидон и древний Тир, и Акру» отставной генерал Михаил Иванович Кругов. В письме к Василию Андреевичу Жуковскому от 28 февраля 1850 года Гоголь делится впечатлениями:

«Видел я как во сне эту землю. Подымаясь с ночлега до восхождения солнца, садились мы на мулов и лошадей в сопровождении и пеших и конных провожатых; гусём шёл длинный поезд через малую пустыню по мокрому берегу или дну моря, так что с одной стороны море обмывало плоскими волнами лошадиные копыта, а с другой стороны тянулись пески или беловатые плиты начинавшихся возвышений, изредка поросшие приземистым кустарником; в полдень колодец, выложенное плитами водохранилище, осенённое двумя-тремя оливами или сикоморами. Здесь привал на полчаса и снова в путь, пока не покажется на вечернем горизонте, уже не синем, но медном от заходящего солнца, пять-шесть пальм и вместе с ними прорезающийся сквозь радужную мглу городок, картинный издали и бедный вблизи, какой-нибудь Сидон или Тир. И этакий путь до самого Иерусалима».

И ещё (по записи Л. И. Арнольди):

«Природа в Палестине не похожа нисколько на всё то, что мы видели; но тем не менее поражает своим великолепием, своею шириною. А Мёртвое море — что за прелесть! Я ехал с Базили, он был моим путеводителем. Когда мы оставили море, он взял с меня слово, чтоб я не смотрел назад прежде, чем он мне не скажет. Четыре часа продолжали мы наше путешествие от самого берега, в степях, и точно шли по ровному месту, а между тем незаметно мы поднимались в гору; я уставал, сердился, но всё-таки сдержал слово и ни разу не оглянулся. Наконец Базили остановился и велел мне посмотреть на пройденное нами пространство. Я так и ахнул от удивления. На несколько десятков вёрст тянулась степь всё под гору; ни одного деревца, ни одного кустарника, всё ровная, широкая степь; у подошвы этой степи или, лучше сказать, горы, внизу, виднелось Мёртвое море, а за ним прямо, и направо, и налево, со всех сторон опять то же раздолье, опять та же гладкая степь, поднимающаяся со всех сторон в гору. Не могу описать, как хорошо было это море при заходе солнца. Вода в нём не синяя, не зелёная и не голубая, а фиолетовая. На этом далёком пространстве не было видно никаких неровностей у берегов; оно было правильно-овальное и имело совершенный вид большой чаши, наполненной какой-то фиолетовой жидкостью».

И вот 16 февраля (по старому стилю) Гоголь сообщает Жуковскому из Иерусалима:

«Прибыл я сюда благополучно, без всяких затруднений, едва приметив-



Иллюстрация: Марина Белкина

ши, что из Европы переступил в Азию, почти без всяких лишений и даже без утомления».

И вот Гоголь в Храме Гроба Господня. Но то, что для Монтефиоре представляется катастрофой, Николай Васильевич всё же несколько по-другому воспринимает:

«Я говел и приобщался у самого гроба господня. Литургия совершалась на самом гробовом камне. Как это было поразительно! Пещерка или вертеп, в котором лежит гробовая доска, не выше человеческого роста; в неё нужно входить, нагнувшись в пояс; больше трёх поклонников в ней не может поместиться. Перед нею маленькое преддверие, кругленькая комнатка почти такой же величины с небольшим столбиком посередине, покрытым камнем (на котором сидел ангел, возвестивший о воскресении). Это преддверие на это время превратилось в алтарь. Я стоял в нём один; передо мною только священник, совершавший литургию; диакон, призывавший народ к молению, уже был позади меня, за стенами гроба; его голос уже мне слышался в отдалении. Голос же народа и хора, ему ответствовавшего, был ещё отдалённее. Соединённое пение русских поклонников, возглашавших «Господи, помилуй!» и прочие гимны церковные, едва доходили до ушей, как бы исходившие из какой-нибудь другой области. Всё это было так чудно! Я не помню, молился ли я. Мне кажется, я только радовался тому, что поместился на месте, так удобном для моления и так располагающем молиться; молиться же собственно я не успел. Так мне кажется. Литургия неслась, мне казалось, так быстро, что самые крылатые моления не в силах бы угнаться за нею. Я не успел почти опомниться, как очутился перед чашей, вынесенной священником из вертепа, для приобщения меня, недостойного» (письмо В. А. Жуковскому от 06.04.1848, Бейрут).

То есть совершенно не обязательно представлять себе писателя в Иерусалиме подавленным, сломленным и депрессивным. Таким он будет казаться уже по возвращении в Россию, но утверждать, что поездка явилась причиной тяжёлого психического состояния, было бы неверно. Также ошибочно считать, будто Гоголь не оставил описаний Иерусалима. Да вот, пожалуйста, опять же из переписки с Жуковским:

«Как сквозь сон, видится мне самый Иерусалим с Элеонской горы, – одно место, где он кажется обширным и великолепным: поднимаясь вместе с горою, как бы на приподнятой доске, он выказывается весь, малые дома кажутся большими, небольшие выбеленные выпуклости на их плоских крышах кажутся бесчисленными куполами, которые, отделяясь резко своей белизной от необыкновенно синего неба, представляют вместе с острями минаретов какой-то играющий вид. Помню, что на этой Элеонской горе видел я след ноги Вознесшегося, чудесно вдавленный в твёрдом камне, как бы в мягком воске, так что видна малейшая выпуклость и впадина необыкновенно правильной пя-

Где в Иерусалиме остановились на постой Гоголь и Базили? Есть ли какой-либо конкретный адрес? На этот вопрос, если бы наши паломники прибыли в город до 1847 года, ответить было бы сложнее... Но после того как в 1847 году в Иерусалиме была основана Русская Духовная миссия во главе с архимандритом Порфирием (Успенским), для русских пилигримов был открыт постоялый двор в Архангельском монастыре, и нет сомнения, что Гоголь провёл там несколько ночей. Монастырь Архангела Михаила (находится он на ул. св. Франциска сразу же за монастырём св. Георгия) был основан в 1303 году сербским королем Стефаном Урошем II, снискавшим себе довольно скандальную славу. В историю этот король вошёл как многожёнec, вояка и фальшивомонетчик. Считается, что это именно о нём пишет Данте в «Божественной комедии»:

«И не украсят царственного сана
Норвежец, португалец или серб,
Завистник венецейского чекана» (19:139).

Тем не менее, сербской церковью он канонизирован как святой... В начале XIV века мамлюки, которым необходим был свободный выход в Чёрное море, пошли на соглашение с Византией и в обмен на передвижение по Босфору вернули Константинополю возможность попечительствовать над святыми местами Иерусалима. В это же самое время король Стефан, благодаря очередной женитьбе, заключил союз с Византией и получил право на возведение сербского монастыря неподалеку от Храма Гроба Господня. Место в северной части Западного склона было выбрано неспроста: в те времена, когда эта часть города практически не была застроена, отсюда открывался панорамный вид на Храмовую гору, которая топографически находится ниже монастыря почти на 50 метров. Это обстоятельство позволило отождествить участок с тем самым местом, где Архангел Михаил остановил истребление Иерусалима, по слову Господа:

«И послал Бог Ангела в Иерусалим, чтобы истреблять его. И когда он начал истреблять, увидел Господь и пожалел о сем бедствии, и сказал Ангелу-истребителю: довольно! теперь опусти руку твою. Ангел же Господень стоял тогда над гумном Орны Иевусеянина. И поднял Давид глаза свои, и увидел Ангела Господня, стоящего между землею и небом, с обнажённым в руке его мечом, простёртым на Иерусалим; и пал Давид и старейшины, покрытые вретисцем, на лица свои. И сказал Давид Богу: не я ли велел исчислить народ? я согрешил, я сделал зло, а эти овцы что сделали? Господи, Боже мой! да будет рука Твоя на мне и на доме отца моего, а не на народе Твоём, чтобы погубить его. И Ангел Господень сказал Гаду, чтобы тот сказал Давиду: пусть Давид придёт и поставит жертвенник Господу на гумне Орны Иевусеянина» (1 Пар.21: 15-18).

Гумно Орны Иевусеянина – это будущая Храмовая гора. А будущий Архангельский монастырь – как раз над ней, «между небом и землей». В XVI веке местные иноки перебрались в лавру св. Саввы Освящённого, а монастырь Архангела

Михаила стал выполнять функции православного городского подворья, оставаясь в сербском владении. В 1623 году патриарх Феофан выплатил долги сербов, и монастырь перешёл во владение Иерусалимской патриархии. А в 1847 г. правительство России, сформировав Русскую Духовную Миссию в Иерусалиме, осуществило ранее разработанный план, по которому Архангельский монастырь становился плацдармом для богомольцев-паломников, то есть первым в городе «русским подворьем». По сей день во внутреннем дворе можно обнаружить эпитафии, вырезанные на камнях постояльцами. Например:

ИЗДЕСЬ НАХОДИЛСЯ ИЗ РОССИИ ГОРОДА ВОРОНИЖА
ПАЛОМНИКЪ ИВАНЪ БИРИЗОСКИЙ 1857
КУРСКОЙ СЕЛА КУДЕНИЦИНА Г. ИВАНЪ ДОРОХОВЪ 1857

Как знать, может, внимательно изучая эпиграфику на камнях Архангельского монастыря, будущий исследователь обнаружит и инскрипцию «ГОГОЛЬ 1848»...

Но вот что интересно: про этот монастырь упоминал не кто иной, как Трифон Коробейников, побывавший здесь в 1593 году. И не просто упоминал, а поведал целую мистическо-детективную историю:

«...И в том монастыре трапеза была каменная, коей верх разоривши, турки долгое время не допускали заделать оного. В лето же по Рождестве Христове 1552 посланы были в Москву два монаха — к государю царю и великому князю Иоанну Васильевичу всея России и к митрополиту Макарию, кои просили всероссийского государя, дабы он благоволил подать милостыню на сооружение трапезы; государь, пожаловав множество злата, к которому ещё несколько присовокупил и митрополит Макарий, отпустил сих двух монахов; а они, приняв с благоговением злато, оставя Москву, прибыли в Царьград, где, давши оного турецкому султану, требовали позволения, дабы он повелел заделать верх означенные трапезы. Султан, принявши от сих монахов злато, приказал им дать грамоту к Санчаку, которую взявши, прибыли они в монастырь. По сем показав Санчаку означенную грамоту и приняв от него позволение, приступили к деланию верха трапезы и собственными своими руками с превеликим трудом окончили оный. Санчак же, может быть досадуя на то, что не получил из дара царёва части злата, а для того презрев султанскую грамоту, приказал своим подчинённым вторично разломать верх трапезы, что видя иноки, и не могши сему воспротивиться, оплакивали горестное своё состояние и, с сими слезами представ пред образом Архистратига Михаила, просили сего Бесплотных Сил Начальника о прекращении Санчковой злобы. Сей небесный воин, вняв их усердному молению, чудесным образом умертвил сего злобствующего Санчака; ибо в ту же ночь, пришед к сему начальнику, покоящемуся с своею женою, неизвестный человек, и поднявши его с ложа, сошёл с ним со двора так, что не только люди, в покоях находящиеся, но и самые стражи, у ворот

стоящие, не могли видеть ни того, ни другого. Но как скоро по наступлении дня узнали, что их начальник в продолжение ночи неведомо куда сокрылся, то в ту же минуту по разным местам начали искать Санчака, коего наконец и нашли мёртвого, лежащего пред воротами монастыря Архистратига Михаила, изъязвленного мечом. Сыскавши же и взирая на Санчака, удивлялись, каким образом возмог он, утаясь от стражи, сойти с своего двора. Наконец положили, что монахи, отмищая ему за разорение верха трапезы, его умертвили. Утвердясь в таких мыслях, решились омыть смерть Санчакову кровью иноков тогда, ежели у них какое-либо найдено будет смертоносное орудие. Посем, вступивши в монастырь и взойшед в самый храм, увидели молящихся иноков, коих обыскавши и не нашед никакого смертного орудия, вострепетали и, исполнившись превеликого страха, в ту же минуту оставили монастырь, не препятствуя уже более монахам в заделании верха трапезы, которая с того времени даже и доднесь молитвами святого Архистратига Михаила стоит в целости».

В память об этом событии была написана икона с изображением поверженного Архистратигом турецкого наместника...

Не мог пройти Николай Васильевич мимо такой истории! Вот почему вместо рассказов про своё проживание в Архангельском монастыре он предлагает читать «Хождения купца Трифона Коробейникова по святым местам Востока».

На причины нежелания Гоголя подробно расписывать свои приключения на Святой земле проливает свет и свидетельство Михаила Александровича Максимовича, ректора Киевского университета Святого Владимира, который пишет, что после его уговоров Гоголя осветить своё путешествие в Палестину, тот отвечал: «Может быть, я описал бы всё на четырёх листках, но я желал бы написать это так, чтоб читающий слышал, что я был в Палестине». Возможно, со временем и появились бы «Хождения Гоголя», но в 1852 году писателя не стало...

Но вот что удивительно: его смерть, ставшая предметом множества мистических слухов, тоже связана с Иерусалимом. Вот что сообщает известный автор исторических романов Григорий Петрович Данилевский в мемуарах «Знакомство с Гоголем»:

«Я остановился в соседнем хуторе Воронянщина вследствие соскочившей колёсной гайки, которую ямщик пошёл отыскивать. Я присел в тени, на призбе ближайшей хаты. Её хозяйка, с грудным ребёнком на руках, приветливо разговаривалась со мною из сеней, где в прохладе сидели её другие дети. Зашла речь о её соседе, Гоголе-Яновском.

– То не правда, что толкуют, будто он умер, – сказала она, – похоронен не он, а один убогий старец; сам он, слышно, поехал молиться за нас, в святой Иерусалим. Уехал и скоро опять вернётся сюда».

Флобер в Иерусалиме

Разные писатели по-разному входили в Иерусалим. Кто пешком, кто на осле, кто через Яффские ворота, а кто и через Дамаские, кто в состоянии религиозного трепета, а кто в великой радости. Но никто не вступал в Град Святой более оригинально, нежели Гюстав Флобер 8 августа 1850 года:

«Мы входим через яффские ворота, и на самом пороге города я непроизвольно порчу воздух; подобное вольтерьянство со стороны моего заднего прохода меня даже раздосадовало. Едем вдоль стены греческого монастыря; улочки крутые, чистые и безлюдные. Гостиница».

Сей смелый текст вошёл в книгу «Путешествия на восток», которая увидела свет уже после смерти Флобера и стала в одном ряду с лучшими его произведениями. В книгу вошли записи о различных путешествиях в разные годы, в том числе и рассказ о «паломничестве» на Святую землю в 1849–1851 годах компании с Максимом Дюканом (1822–1894), журналистом и первым французом, фотографировавшим Ближний Восток. Собственно, Дюкан и был инициатором этой поездки. Желая помочь другу, он сумел добиться, чтобы поездка Флобера получила статус государственной командировки, и в результате на Гюстава была возложена миссия по сбору сведений для министерства сельского хозяйства Франции. Стоит ли говорить, что к сему поручению писатель отнёсся точно так же, как и за четверть века ранее А. С. Пушкин отнёсся к поручению графа Воронцова написать доклад о нашествии саранчи в Херсонской губернии. Отчёт поэта вошёл в анналы мировой словесности:

«Саранча:
23 мая – Летела, летела;
24 мая – И села;
25 мая – Сидела, сидела;
26 мая – Всё съела;
27 мая – И вновь улетела.

Коллежский секретарь Александр Пушкин».

Флобер же не снизошёл даже до формального исполнения возложенной на него миссии. Урожай, который он соберёт на ближневосточной ниве, к сельскому хозяйству не будет иметь никакого отношения, но славу принесёт Флоберу всемирную. Именно во время этой поездки рождается замысел, и вызревает сюжет нового романа. «Я нашёл! Эврика! Эврика! Я назову её “Эмма Бовари”», – в ажиотаже кричит писатель, забравшись на гору Абузир в Египте.

Итак, Флобер ищет на Ближнем Востоке истоки вдохновения для новых произведений, а Максим Дюкан, жертвуя комфортом ради занятия громоздкой и хрупкой фотографической алхимией, создаёт чуть ли не самые первые фотографии Святой земли. И вот мы имеем дело с первым в мире иллюстрированным фотографией дневником путешествия. И, несмотря на то что в Иерусалиме Дюканом сделана всего лишь дюжина снимков, в нашем распоряжении удивительные документы, позволяющие взглянуть на город глазами парижских гедонистов середины XIX века.

Итак, въехав через Яффские ворота в Иерусалим, первым делом парижане отправляются в гостиницу. Флобер отмечает, что с хозяином отеля они знакомятся ещё на подъезде к городу (понятно, что предприимчивый хозяин выезжает навстречу паломническим процессиям с целью перехватить клиентов):

«Через три минуты – ИЕРУСАЛИМ. ...Мы почти достигли стен; вот, наконец, и он! Говорим мы про себя. – Г-н Стефано, с ружьём на плече, предлагает нам свой отель».

Через пару дней писатель отмечает в дневнике и название гостиницы – «Пальмира». Это одна из самых первых иерусалимских гостиниц. К сожалению, здание, где она располагалась, не сохранилось, да и вообще у нас очень мало информации об этом отеле. Известно, что «Пальмира» была расположена в Старом городе совсем недалеко от Яффских ворот. А то, что упоминаемый нами в разных очерках французский археолог Фелисьен де Сольси (1807–1880) поместил «Пальмиру» возле Шхемских ворот, – скорее всего, ошибка, точнее, описка самого учёного. Вряд ли там был филиал отеля. (В скобках заметим, что ошибаться де Сольси умел виртуозно. Так в 1851 г. византийская церковь на Масаде была принята им за дворец, а «царские гробницы» (Елены из Адиабены) за гробницы дома Давида...) Хозяином «Пальмиры» был некто Стефано Бари (Барри). Фредерик Артур Нил, британский атташе в Сирии, так пишет о своём пребывании в гостинице «Пальмира» в 1850 году:

«Я с удовольствием пообщался с длиннорылым немцем, который итальянски говорил достаточно хорошо, чтобы объяснить (как еретик-француз, у которого язык длиннее веры), что он не только открыл очень хороший отель, но и что этот отель находится буквально в двадцати ярдах от меня. Ну, я крикнул ему по-французски, и он быстро ответил. Попав под его опеку, я уже через несколько минут благополучно поселился в очень удобной гостинице. Эти впечатления были усилены после того, как я получил возжеленный стакан слабого эля...»

Нилу была представлена карточка с рекламой на французском языке:

«Отель де-Пальмир под управлением Стефано Барри, Иерусалим». Вот как на ней была описана локация гостиницы: «Отель расположен в нескольких ярдах от Яффских ворот Иерусалима в чистейшей, но самой узкой улице. Люди, живущие напротив, могли бы заглянуть в вашу столовую, если бы окна не были забраны решётками...»

Возможно, это указание на улицу Тарик Харат аль-Вари. При входе в город через Яффские ворота это первая улица, уходящая налево в христианский квартал.

Нил так оценивает гостиницу:

«... Я могу искренне сказать, что как господин и госпожа [Барри] были очень добры и любезны, так и проживание и расположение гостиницы были, учитывая местность, превосходными...»

В 1850 году археолог Фелисьен де Соси решил, что он и его сын Эдвард остановятся в отеле «Пальмира» по прибытии в Иерусалим:

«Некоторые друзья рекомендовали нам отель Пальмира, который держал Стефано Барри. Поскольку он расположен недалеко от Дамасских ворот, мы нашли его сразу... Добравшись до отеля, узнали, что хозяин в отлучке, что его жена больна и что на жильё нам рассчитывать нечего...»

Американский писатель ирландского происхождения Джон Росс Браун (1821–1875), автор сатирической повести «Юсеф, или Путешествие из Франкии. Крестовый поход на Восток», прибыл в Иерусалим в 1851 году и тоже остановился в «Пальмире»:

«Только мы устроились в нашей квартире в гостинице сеньора Стефано, как тут же были атакованы торговцами всевозможных реликвий. Среди них кресты из жемчуга и оливкового дерева, фруктовые бусы из Мекки, серьги из грязи Мёртвого моря, полированный кремль и окаменевшие маслины из Гефсиманского сада и с Елионской горы, и маленькие свинцовые побрякушки из монастыря Саввы Освящённого...»

Флобер же не оставил описания гостиницы, но зато рассказал о некоторых её работниках: «Старик Юсуф из гостиницы «Пальмира» в Иерусалиме – маленький, худощавый человечек в платье цвета пыли с бледными фиолетовыми цветочками; огромный грязный тюрбан, под ним огромный нос и густые брови, в целом очень комично. Помню, какой оригинальной грации – никогда я не видел ничего подобного – были исполнены его движения, когда он рассказывал Стефано, как в Иерусалиме при Ибрагиме-паше люди, которые хотели пробраться под развалины, гнали перед собой собаку; по движению его рук и мимике я смог понять весь рассказ от начала до конца».

Ещё писатель вскользь упоминает, что хозяин гостиницы организовывал прогулки к Царским гробницам, Масличной горе, Силоамской купели, к дому первосвященника Каифы и сам принимал в них участие... Пожалуй, даже если и были изначально у Флобера желания описывать гостиничное жильё, то они уже на второй день пребывания в Иерусалиме были вытеснены иными впечатлениями:

«Всё закрыто из-за Байрама.... Иерусалим производит на меня ощущение укрепленной скотобойни; здесь тихо гниют старые религии.



Иллюстрация: Марина Белкина

! Мы идём по говну, и видны лишь развалины: неизмеримая печаль...»

И далее:

«Повсюду развалины, могильный дух и запустение, точно проклятье божье витает над городом, священным городом трёх религий, околевающим в тоске, немощи и забвении».

В письме от 20 августа к поэту и драматургу Луи Буйе Флобер пишет:

«Всё здесь гниёт: мёртвые собаки на улицах, религии в церквях».

И в своих дневниках:

«На нашей улице по самой середине лежит и разлагается труп жёлтой собаки, и никому в голову не приходит оттащить её в сторону».

Сам того не зная, Флобер открыл новую иерусалимскую тему – тему городского тотема XIX–XX веков, тему Жёлтой собаки, тем самым подтверждая, что Иерусалим, будучи соткан из мифов, преданий, иллюзий, фантазий, при этом остаётся абсолютно реален и материален. Город состоит сплошь из символов и сам является символом... Итак, начиная именно с Флобера, на литературных улицах Иерусалима появляется противоречивый дух вечного града. Спустя десять лет после посещения Иерусалима Флобером Жёлтую собаку, причём вполне жизнерадостную и живую, встречает русский писатель Николай Васильевич Берг. Сначала он просто обращает внимание на её иерусалимское присутствие:

«Не очень трудно обежать весь Иерусалим, по крайней мере все главные его улицы. Везде одно и то же, со стороны чистоты и порядков: московские мостовые, верблюжьи шкуры, разостланные по ним, сор, жёлтые собаки, спёртый воздух. Дома то белые, то жёлтые, без малейшего напоминания о какой-либо архитектурной задаче».

Но вот Жёлтая собака становится героем небольшого этюда:

«...Насчёт кваску Господь услышал молитву православных, послал сказанных двух солдатиков, которые (...) устроились под аркой древних ворот, на бойком месте, поставили две большие кади, приладили скамеечку, чтобы на ней спать, завели жёлтую собачонку и варят что-то кисленькое, из апельсинов и лимонов, по копейке кружка. ...Когда Иерусалим засыпает, что происходит довольно рано, и уже никого на улице не видно, кроме жёлтых собак, тишина невероятная, — под аркой, где квасок, ведутся, иной раз далеко за полночь, русские разговоры, и собачонка проворчит на вас, если вы пройдёте мимо».

Жива курилка, жива; и она, и её потомство! Обратите внимание, во французской литературе она – дохлая, а в русской – наоборот. Но истинный расцвет

образа Жёлтой Собаки наступит лишь в середине XX века в еврейской, ивритской, литературе, и произойдёт это благодаря израильскому лауреату Нобелевской премии Шаю Агнону. В удивительном его романе «Совсем недавно» («Тмоль-шильшом») Жёлтая иерусалимская собака – один из главных героев. Точнее, – «уличный пёс, с короткими ушами, и острым носом, и жиденьким хвостом, и шерсть его то ли белая, то ли коричневая, то ли рыжеватая; из тех собак, что бродили по Иерусалиму ещё до того, как вошли англичане в Эрец...» Другой герой романа маляр Ицхак Кумар написал на шкуре этого бедного зверя «келев мишуга», то есть «сумасшедшая собака». Представляете, какой фурор произвела Жёлтая Собака в Иерусалиме. А директор школы Альянс прочитал слово «собака» неправильно, наоборот, и получилось имя Балак²... Пересказывать все невероятные приключения Балака, его иерусалимские маршруты, его мифологическую родословную, его поэзию, философию, его притчи – нет времени и смысла. Читайте «Тмоль-Шильшом» и наслаждайтесь. Жёлтая Собака со страниц Агнона перебегает в XXI век в прекрасный иерусалимский роман Давида Гроссмана «С кем бы побегать» и превращается в золотистую умницу-ретривершу Динку:

«Собака мчится по улицам, а за ней торопится мальчишка. Длинный поводок, соединяющий их, цепляется за ноги прохожих, те возмущённо ворчат, и мальчишка вновь и вновь бормочет: «Простите, простите», а между извинениями кричит собаке: «Стой! Стоп!», а однажды, к стыду его, вырвалось ещё и «Тпру!», а собака всё бежит и бежит. Она летит вперёд, проскакивает оживлённые перекрестки на красный свет. Её золотистая шерсть то исчезает, то возникает снова меж ногами людей, мелькает перед глазами мальчишки, словно посылая тайные сигналы».

Глубинный, вне контекста сюжета, смысл этих сигналов таков: образ Жёлтой Собаки сооткался в нашем городе ещё, наверное, во времена царей Израильских, впитав в себя как цвет и свет Иерусалимского камня, так и память о главном городском тотеме и символе колена Иуды – льве... И вот когда, со времён крестоносцев окончательно исчезли в наших палестинах гривастые кошки, перебитые рыцарями-охотниками, на улицах города начинают появляться жёлтые собаки. Недаром же наш царь Соломон говаривал: «Кто находится между живыми, тому есть ещё надежда, так как и псу живому лучше, нежели мёртвому льву» (Екклесиаст, 9:4). Получается, что, Жёлтая собака – реинкарнация Иерусалимского Льва, городского герба. В общем, спасибо старику Флоберу за поднятие сей темы.

...Пытаясь представить своё отношение к Иерусалиму, как критически-киническое, тем не менее Гюстав Флобер не может скрыть свою зачарованность городом и его какой-то извечной тайной, какой-то ускользающей истиной:

² «Собака» – на иврите «келев». Соответственно, при чтении не справа налево, как положено в иврите, а наоборот, слева направо получилось «Балак» («в» в начале слова озвончается, а внутренняя флексия, то есть изменение гласных – один из способов словообразования в иврите). Балак – это имя героя Священного Писания, царя Моава, отказавшегося пропустить через свою землю евреев, шедших из Египта в будущую Страну Израиля.

«Иерусалим, по мере того как его покидаешь, погружается в зелень олив у Царских гробниц, и с северной стороны прямые линии его стен опускаются и выделяются через листву. Я думал увидеть его ещё раз и попрощаться с ним, обернувшись к нему; небольшой холм полностью для меня его скрыл, и когда я повернулся, он полностью исчез». ■



«Колодцы и горизонты.

Поиск человечества в себе
или себя в человечестве?»

Итоги

«Горячий снег» давно написан, или Банальности общенародного сознания

При подведении итогов конкурса рассказа, объявленного в 3-м номере «Тайных троп», можно было бы обыграть его название – «Колодцы и горизонты» и порассуждать, что, мол, предложенная тема предполагала, чтобы плоды вдохновений отличались достаточной глубиной и неоглядной ширью. Безбрежности, дескать, хотим, коей, как известно, отличается душа русского человека. В общем, объявили и стали ждать.

И получили мы целых 28 материалов от 20 авторов. (Достойно упоминания – в скобках, – что один из первых присланных текстов так и назывался «Колодец». И оказался он не только сгустком чистого зла, но и... впрочем, обойдёмся без спойлера – немного терпения, господа.) С Алтая и из Италии, из Санкт-Петербурга и Тирасполя, само собой из Москвы и Санкт-Петербурга, с Урала и из Сибири, с Верхней Волги и Нижнего Поволжья и иных мест России, Украины.

Тексты поражали нас, удивляли, заставляли задаться вопросом: значит, и так можно писать? В одних рассказах авторы бродили по закоулкам ревности. В других попадали в тупики предательства. В третьих интересовались сложностью и многогранностью человеческой души, такой сложностью, перед которой пресловутое раздвоение личности выглядит детским лепетом, не более. А ещё говорилось о трагичности бытия и трагичности смерти...

Однако же особенно нам хочется сказать о текстах, которые никак не могут рассматриваться в качестве претендентов на успех. Это тексты, от которых за версту разит старым добрым нафталином. В них было то же, что мы, учившиеся давным-давно в советской школе, читали сорок, пятьдесят и больше лет назад. В них Прекрасная Девушка ждала с фронта своего Бойца, горели Танки, но ещё ярче горела Любовь, Отчий Дом ждал Детей, которым Зачем-то приспичило Куда-то Уехать – и так далее. Разумеется, тема Второй мировой не закрыта для литературы, писать о ней можно и нужно. Но нельзя писать второй (третий, десятый) «Горячий снег», или «Танки идут ромбом», или «Живи и помни». Люди, в сотый раз пишущие о Девушке и Бойце, привыкли, что такой подход поощряется, приветствуется. Но это не творчество, не литература.

А ещё есть тексты, в которых – совершенно вопреки желанию авторов – проявляются некоторые знакомые характерные черты российского общенародного сознания.

Например, рассказывает автор о рыбаках, которые весной, когда лёд уже начал таять, отправились на море на подлёдный лов. Ну и, натурально, льдину оторвало от берега и стало уносить в сине море-окиян (дело под Петербургом происходит). И настала бы тем рыбакам гибель, но тут прилетели спасатели на вертолётах и всех спасли. Вместе со снастями. А спасши, зачем-то доставили в полицию, где потенциальных утопленников заставили подписать бумагу, что больше они так делать не будут. После чего отпустили. И что же сделали спасённые? Правильно! Отправились назад к морю, а там... их льдину назад к берегу прибило. Ну они и кинулись к своим лункам – рыбачить по новой. Кто там будет вспоминать бумаги,

которые подписывал? Кто будет благодарить за спасение? Ведь главное в жизни – это улов. И так это по душе автору рассказа, вернее, зарисовки с натуры.

А в другом тексте рассказывалось (иносказательно, в сказочном таком, «лесковском» духе) о некоем брате из большой дружной семьи, которому на родине не жилось, а манила его заграница. Поехал он счастья искать. И что же? А ничего не вышло, никакого счастья он не нашёл. Потому что русскому человеку солнце светит только «середь берёзок». А там, у «либерастов», и кусок в горло не лезет.

И ещё важный момент. Мы, господа конкурсанты, не случайно вас просим ответить на «контрольный» вопрос. Потому как это естественное условие – иметь хотя бы общее представление об издании, с которым вы своим сокровенным – плодом вашего творчества – делитесь. Хотя, как ответил нам один из отправивших текст на предыдущий конкурс, «я же пишу сказочные рассказы, в которых элемент сокровенности отсутствует»... Почти «искусственный интеллект».

А теперь итоги конкурса «Колодцы и горизонты».

ЛОНГ-ЛИСТ

(в алфавитном порядке):

Яна Мацота из Тирасполя (Молдова) – Всеволожска Ленинградской обл., «Моё море»,

Яна Мацота, «Рыцарь и Радостная Дама»,

Глеб Океанов из Москвы, «Колодец»,

Маргарита Пономарёва из Поджомарино (Италия), «Я тебя никуда не отпущу»,

Маргарита Пономарёва, «Париж ценой жизни»,

Николай Хрипков из села Калиновка Карасукского района Новосибирской обл., «Ревность с первого взгляда».

ШОРТ-ЛИСТ:

Яна Мацота, «Моё море»,

Яна Мацота, «Рыцарь и Радостная Дама»,

Глеб Океанов, «Колодец»,

Маргарита Пономарёва, «Я тебя никуда не отпущу»,

Все участники лонг- и шорт-листов получают памятные дипломы.

И, наконец, лауреаты конкурса.

Лауреат третьей степени – Глеб Океанов, «Колодец».

Лауреат третьей степени – Маргарита Пономарёва, «Я тебя никуда не отпущу».

Лауреат второй степени – Яна Мацота, «Моё море» и «Рыцарь и Радостная Дама».

Лауреата первой степени жюри конкурса решило не определять.

Мы поздравляем наших лауреатов.

Редакция ■



Яна МАЦОТА

Тирасполь, Молдова –
Всеволожск, Ленинград-
ская обл., Россия



Фото: Андрей Романченко

О себе:

С детства ощутила стремление писать. И писала фантазийные истории, сказки. По ночам, сидя на подоконнике, считала звёзды. Искала магию жизни. Но подсчитывание звёзд магии не прибавляло.

Когда началась взрослая жизнь, тогда и магия из всех углов полезла. Только я не знала, как мне с нею быть: всё такое интересное и непонятное.

Писала о том, что происходит в моей жизни, о том, что думаю по этому поводу. Это писательство и думание привело к некой философии и определённому пониманию жизни и происходящего в ней.

Чему я рада. И своей способности писать благодарна.

Сейчас пробую писать о том, что, трогая меня, приносит законченные мысли. Ими и хочу делиться. И делюсь.

Моё море

Со мной случилась неприятная история. Не хотела выглядеть грубой или глупой, но мне хотелось ударить того, кто меня вывел из себя. Хотелось наговорить ему гадостей.

Да что уж там, чего я прилизываю снова?

Да, мне очень плохо, я готова растерзать его. Непонятный букет во мне поднялся настолько, что готов снести мою голову. Да и голова жутко разболелась, а я так ничего и не предприняла: не ударила, не сказала, не обидела, не кинула ничего в него.

Наверно, я старею. Я решаю остановиться и закрыть глаза.

Я устала. Я не знаю, как мне жить дальше. Внутри столько всего. Снаружи столько всего. Но что мне «наружу», когда я внутри до 35 лет не разобралась.

Сейчас бы на море. Лежать на берегу. А потом войти в воду, нырнуть в прохладу и смыть всё, что накопилось за всю жизнь...

♦ ♦ ♦

А в книжке прочитала как-то, что нужно посчитать до десяти, глубоко подышать и наблюдать за своим состоянием в таких ситуациях. Рекомендация так себе, но почему бы и не попробовать?

Так и сделала. Даже глаза закрыла.

Ощущение, будто опускаюсь на дно морское в костюме аквалангиста в первый раз. Всё здесь необычно, ново. Местами темно.

И вот чувствую в области сердца движение. Будто кто-то колотится сильно-сильно. Решила понаблюдать и спрашиваю:

— Привет. Ты кто?

— Привет. Я Злость.

Представляю её себе поджарой, суховатой старухой с горящими глазами. Вся красная от Гнева и Ярости. Так и норовит кого-то стукнуть или укусить. Она просто горит от своей же злости.

- Ты пришла ко мне из-за этой ситуации?
- Угадала, — рычит.
- Ну хорошо, не буду мешать. Располагайся. Чувствуй себя как дома.

Наблюдаю дальше.

- Мне нужно хорошенько позлиться. Ничего?
- Да-да, ни в чём себе не отказывай.

Погружаюсь глубже, наблюдаю за происходящим.

— Ты же понимаешь, что сейчас самое время хорошенько позлиться, побушевать? Тебя так оскорбили, так несправедливо. Я бы убила. А ты вот сдерживаешься, дышишь, считаешь, у-у-у-у.

— Согласна. Именно это я сейчас и чувствую. Но убить, к сожалению или счастью, не могу. И не хочу, — быстро добавляю. Озираюсь по сторонам.

Чувствую сильное волнение. Будто на море начинается шторм.

— Вот поэтому я здесь. Чтобы напомнить тебе, что с собой так поступать нельзя. Что есть у тебя чувство собственного Достоинства. Да и вообще, это противозаконно так поступать со свободным человеком. Ты же свободный человек?

— Не знаю.... Наверное... — задумываюсь.

Сейчас я погружаюсь ещё глубже и наблюдаю, что же там внутри у меня происходит. Чем дальше от поверхности, тем спокойнее я себя ощущаю. Не так спокойно, как хотелось бы, но закономерность я уловила.

В груди начинает бушевать и клокотать, руки чешутся что-нибудь ударить или разбить.

В этот момент я позволяю себе побить подушку или грушу, которую, по моей же просьбе, повесил в прихожей муж. Мне становится легче. Сажусь, наблюдаю дальше.

Гостья говорит:

- Спасибо за приём. Мне пора.
- Уже? Так скоро?
- Да, мне было у тебя хорошо. Чего уж тут расслаиваться? Ты меня приняла, дала мне место. Что ещё нужно для счастья? — улыбается. — А к тебе ещё гости.

Действительно. В области сердца стало легче. Но в горле я почувствовала ком.

- Тук-тук. К вам можно?
- Здрасте. А вы кто?
- Обида.
- Да, конечно, проходите. Вы, наверное, в горлышке?
- Верно, мне тут сейчас комфортно.
- Да, а мне как раз трудно говорить и дышать.
- Ну, это я просто большая. В твоём-то положении...

Теперь я рассматриваю свою Обиду и признаю, что она действительно есть. Да, она большая, это правда. Она похожа на добрую тётушку лет пятидесяти.

Вся в оборках и кружевах. В синих одеждах, липких, как паутина. Уселась у меня прям в горле и сидит. Прилипла.

Рядом примостились ещё две тётушки: чёрная Печаль и серая Грусть. Тощие и костлявые.

— Знаешь, я к тебе не просто так пришла, — Обида продолжает. — Ведь ты расстроена, и я видела, как от тебя только что вышла Злость. Это значит, что мне тут нужно погостить. Такой у нас, у эмоций, порядок. Тебя ведь обидели несправедливо, как мне показалось. Так нельзя. На это обязательно нужно пообижаться. Не так ли?

Недолго думаю. Пытаюсь понять, из-за чего она пришла. И, действительно, прихожу к светлой мысли, что меня обидели смертельно.

Слёзы в глазах. Я готова разреваться.

— Ты реви, реви, Душенька. Нечего тут сдерживаться, — участливо предлагает Обида.

Я начинаю реветь, чувствую себя маленькой и беззащитной. Но вспоминаю, что я уже взрослая и что можно не переживать из-за того, что я беззащитна. Поэтому плачу вволю и скоро успокаиваюсь.

Тётушки Грусть и Печаль подвывают мне в такт. Все режут и стонут. Мне тоже стало как-то обидно, грустно и печально.

— Знаете, Обида, — говорю, — А ведь я вам премного благодарна. В той ситуации, в какой я оказалась, Обида очень уместна. Вы и Злость меня защищаете, подсказываете, что со мной поступили несправедливо. Сама бы я вряд ли догадалась, без вашей помощи. А теперь мне нужно подумать над этим.

Я погружаюсь в свои мысли ещё немного глубже.

Обида какое-то время осматривается, теснится в моём горлышке и прощается. Провожая удивительных гостей, утираю сопли и жду, кто же пожалует ко мне после них.

Долго ждать не приходится. Кто-то робко стучит в области сердца. Приглашаю гостя. Это Жалость. Предлагаю расположиться и отдохнуть.

Сгорбленная, бесформенная, вся в слезах и с опухшими от слёз глазами, Жалость разливается по всему телу. Тут непонятно, кто кого жалеет: то ли я себя, то ли Жалость меня.

— Мне вас так жаль, Деточка, — говорит, — спасибо, что пустили. Ведь вас так жаль, так жаль... Вас срочно нужно утешить. Никогда, запомните, никогда человека нельзя отпускать в мир без должного утешения после нанесённой Обиды.

Это ведь она со своими девочками только что от вас, верно?

— Да, они самые. «Вот имели честь познакомиться поближе», — говорю. — А в этой ситуации мне даже жаль, что так получилось, спасибо, что зашли. Без вас я бы и не поняла.

— Всегда пожалуйста. Утешать после Обиды — это моя работа. Спасибо, что признали.

Мы сидим. Молчим. Она гладит меня по голове и по сердцу своей нежной ладошкой. Ладошка будто размером с меня. Такая уютная и напоминает маму. Мне становится спокойно и хорошо.

Вот Жалость уже собирается уходить. Вся растроганная. В тонких и мокрых, от наших слёз, одеждах.

В сердце становится тепло. Утешение от Жалости к себе такое тёплое, светлое. В сторонке примостилось Спокойствие. Кивнуло мне и задремало.

Я умиляюсь нежности Жалости, спускаюсь ещё глубже. Но уже кто-то стучит в моё сердце. Это Равнодушие.

— Здравствуйте — говорю.

— Да мне всё равно.

Гость явно не расположен к живому общению. Бесцветный, ничего не выражающий взгляд. Все движения размеренны. Выглядит, будто лужа или растёкшаяся по полу вода. Ощущения в теле такие же.

Лениво располагается по всему пространству груди и равнодушно взирает по сторонам. Даже меня где-то заражая своим состоянием.

Вспоминаю ситуацию, которая привела ко мне всех этих гостей, и мне становится всё равно.

— Ну как? Устали, поди, от гостей уже? — спрашивает.

— Да, действительно, — замечаю я. — Я устала от всех этих переживаний. От гостей, знаете ли, тоже устаёшь. Но я не жалуюсь. Это нормально.

Рядом садится Усталость. Она так же ленива и спокойна в движениях, как Равнодушие.

— И это честно, — добавляет Усталость.

Равнодушие продолжает:

— Вот и хорошо. Сами подумайте, разве в вашей ситуации стоят все эти обидчики внимания и нервов? Не проще ли махнуть на всё рукой и послать их ко всем чертям? Полежите с нами, расслабьтесь, отдохните.

Немного прихожу в себя. Приходит мысль, что всё верно придумано в моём теле и внутреннем мире. Всё как-то гармонично между собой связано и справедливо устроено. Было тебе потрясение — получи разбор полётов и успокоение.

— Знаете, дорогое Равнодушие, — говорю, — а я вам благодарна. Сейчас, когда я отдохнула, перевела дух и немного успокоилась, я понимаю, что отпустила эту ситуацию, из-за которой вы все пожаловали ко мне. Думаю, что ещё долго я бы крутила в голове мысли, связанные с ней. А теперь мне, действительно, всё равно.

— Спасибо. Мы вам тоже благодарны. Потому что вы нас приняли, уважили. А когда есть внимание, значит, и мы есть. Хотя мне всё равно, не забывайте, — подмигивает.

Эмоции прощаются и уходят.

Я остаюсь одна. Но нет.

Замечаю, что-то во мне есть. Осталась Пустота.

— Погодите-ка, а вы когда вошли?

— А меня Равнодушие оставило. Обычно я после него прихожу, подчищаю тут всё. Чтобы ничего не осталось. Чтоб чисто-чисто стало. Ведь скоро чувства придут. А им чистота нужна. С вашего позволения, я тут приберу и всё лишнее соберу...

Пустота выглядела прозрачной. Но если вглядываться, то чернела в своей глубине. Будто дыра такая, чёрная и пустая. Бр-р-р.

— Да-да, конечно, — говорю.

Чувствую всепоглощающую Пустоту. Даже как-то неловко. Чёрная дыра уже во всём теле. Да и меня тянет всё глубже и глубже на морское дно моего Внутреннего Мира.

Немного некомфортно и даже страшно. Но рассуждаю так: «Когда идёт большая уборка, комфортного мало. Нужно немного подождать. Для моего блага же старается».

Пока наблюдаю Пустоту в своём теле, замечаю что-то маленькое. Оно сидит будто на краю Пустоты, всё скрюченное, сжатое, такое несчастное и дрожит, как маленький испуганный зверёк.

Рядом бьётся ещё что-то, похоже на летучую мышку. От полётов этого зверька становится тревожно. Точно, эта мышка и есть Тревога. Я замечаю её и, мышка какое-то время дёргается в моём животе, а затем растворяется.

Возвращаюсь к испуганному комочку. Да это же Страх. Батюшки. Вот он какой. Мелкий, лысенький, глазки навывкат. Сгорбился, что-то прячет в жилистых ручонках. Напомнил мне Голлума из Властелина Колец.

— Иди сюда, мой хороший, не бойся.

Страх, озираясь, приближается. Я вижу, как он ужасен. Но терплю, жду и наблюдаю.

Уже и сама испытываю Ужас. Но просто позволяю ему приблизиться ко мне. Вот он уже остановился. Дальше не идёт: боится.

Ладно, я сама к тебе пойду, думаю. И теперь я уже начинаю двигаться вперёд к своему Страху и Ужасу. Страх озирается по сторонам. Мне даже показалось, что Страх боится Ужаса. Такой пугливый. А вроде родственники.

Я немного подождала, Ужас постоял, несколько раз глотнул всё пространство вокруг. Но на то он и Эмоция, что ничего после него не произошло. Попугал, попугал и пропал так же, как и появился в моей Пустоте. Теперь я уже рядом со своим Страхом и замечаю, что он что-то держит в костлявых пальцах.

— Малыш, ты боишься, я вижу.

— Да, боюсь.

— Чего боишься?

— Что со мной произойдёт что-то ужасное, — его ещё сильнее начинает трясти.

— Посмотри, Ужас уже прошёл мимо, его нет, — успокаиваю я, — видимо, он хотел защитить тебя и меня от чего-то. Но сам забыл от чего именно.

Голос моего разума успокаивает и меня, и мой Страх. Страх перестаёт дрожать.

— А что у тебя там, в ладошках? — я замечаю, что Страх бережно удерживает кого-то в лапках.

Он разжимает ладошки и оттуда вылетает прекрасная бабочка. Она светится ярким светом. И освещает всю Пустоту во мне.

— Ого, вот это да! — восхищаюсь. — А что это?

— Это твоя Воля, — еле слышно шепчет Страх, — теперь она свободна, я её спас. Теперь и я свободен.

И Страх исчезает так же, как и Ужас, как и остальные персонажи моего Внутреннего Мира.

— Спасибо, малыш! — успеваю крикнуть ему вслед.

Я чувствую себя ещё спокойнее и увереннее. Мимо проходит Уверенность. Она в красивых, светлых одеждах, одеяние напоминает мне греческую тунику, на ногах её кожаные сандалии. Она загорелая, красивая, идёт ровной поступью. Заглядываюсь и наслаждаюсь ею.

— Я вижу, что Воля на свободе, значит, всё в порядке, — изрекает она на ходу.

И проходит мимо. Шлейф её сути остаётся со мной.

♦ ♦ ♦

Всё это так интересно и так волнует. Я не успеваю пережить одно чувство, ко мне уже стучится другое. Они так нетерпеливы. Но и я их понимаю. Ведь раньше я мало кого пускала в гости своего Внутреннего Мира. А теперь они и рады, чтобы их приняли, заметили.

Ведь для чего-то они существуют?

Может, для того, чтобы быть? Чтобы напоминать нам о том, что мы о себе забыли: кем мы являемся и не потеряли ли мы что-то важное на своём пути.

Что, если они нам не враги? Пусть даже самые страшные эмоции и чувства, такие как Страх, Ужас, Ненависть, Гнев, Отвращение, Презрение, Унижение, Бессилие? Их много.

Что, если они хотят быть для того, чтобы жизнь наша была разнообразнее и честнее?

Как говорится: «Из песни слов не выкинешь». Так и с чувствами. Куда же нам их девать, когда мы их не признаём, а лишь оставляем тяжёлым грузом в своём теле?

А они проникают через щели нашего сознания и уже остаются в разных частях организма, создавая колоссальный дискомфорт. Они живут с нами. Их вроде не видно. Но нам тяжело. И мы не понимаем, отчего нам так тяжело.

Ведь приятные эмоции мы пускаем в себя даже не раздумывая. Нам хорошо с ними, они нас развлекают, дают приятные ощущения.

Отчего такая дискриминация? Размышляю я.

♦ ♦ ♦

Скоро уборка Пустоты заканчивается, и она тихо выскальзывает.

Не успеваю сообразить, как в открытую дверь сердца приходит Чувство.

— Здравствуй!

Сияет как солнце. Тёплое и доброе.

— Привет. Мне с вами приятно. Вы кто?

— Любовь. Можно наполню?

— Кто бы отказывался? — улыбаюсь.

Мне становится так хорошо и спокойно. Спокойствие тоже вошло немного постоять, пока Любовь заполняло всё пространство, подготовленное старательной Пустотой.

Мне хорошо. Любовь сказала, что всё, что ею заполнено, во мне и останется.

— Это в качестве подарка за приём благодарных гостей.

И знаешь, всё, что с тобой сейчас произошло, имело место быть. Ведь ты столько про себя поняла: что не нужно прощать обидчика за оскорбление, а нужно позлиться и вспомнить, как выглядит твоё достоинство, что с тобой так нельзя.

Что можно пообижаться, когда обидно, а не дуться на весь мир потом, что всё не то и всё не так.

Что нужно утешить себя, когда, действительно, себя жаль и отпустить всё куда подальше, когда всё надоело и от всего устала.

Что нужно признать свои страхи и познать ужас происходящего вокруг. Кто знает, от чего нас спасают наши страхи, о чём сообщают тревоги?

И что, в итоге, нужно принять и прожить это всё для того, чтобы позволить себе чувствовать Любовь...

Чувствую себя замечательно. Благодарность во мне расцвела и благоухает, как все весенние цветы разом. Во мне шевелятся эти приятные чувства. Они похожи на растения в море. А само море блаженно разливается и искрится светом от лучей Солнца.

Благодарность улыбается. Ей хорошо, как и мне. Она счастлива. Счастье заиграло какую-то приятную музыку. Всё заполняется движением. Лёгкие волны удовольствия качают мои чувства, как качаются цветные медузы на поверхности вод.

Мой Внутренний Мир напоминает мне жизнь на дне моря. Отчего нет?

У моих чувств свои законы, свои порядки, они живут. Они живут, даже не взирая на то, знаю я о них или нет. Живут, как морские обитатели в своём пространстве.

Я поднялась из своих глубин. На поверхности нет шторма. Море спокойно. Было удивительно и непросто во время этого погружения, думаю я. Но всё не зря, и я готова снова и снова погружаться в новые глубины, чтобы добывать вот такие жемчужины Счастья на морском дне.

Ведь теперь я немного догадываюсь о том, что происходит у меня внутри. Теперь это не так страшно, как в первый раз.

И я догадываюсь о том, чтобы знать, как дальше вести себя во время шторма: мне, всего лишь, нужно найти немного времени, надеть костюм аквалангиста и погрузиться в Моё Море.

А дальше... Море подскажет.

Рыцарь и Радостная Дама

В палате их было двое. Первому было интересно и совсем не скучно. Когда привели второго, первому стало ещё интереснее.

— И чего ты тут?

— По любви, — усмехнулся второй.

— Расскажешь? Только, если ты не «Наполеон». А то я трёх уже выслушал, «наполеонов». Я вообще пишу разное и люблю истории.

— Ну, не знаю...

...Ладно, слушай, писатель.

Мы встретились как-то с ней. Сразу стало понятно, что в этой жизни мы будем вместе надолго. Не знаю, как называются наши отношения. Да как и тысячи, миллионы других у разных людей. Никогда не скажешь точно, что именно тебе выпало именно в этот раз.

Для меня она всегда маленькая и юная, чистая и невинная. Не усомнился ни на йоту в её искренности этой. Такая лёгкая, воздушная в своих порывах. Чем-то мне мальчишку напоминает. Такого хулиганчика, который готов на всё, ни перед чем не остановится и любит приключения.

Я же всегда остаюсь прагматичным, правильным, рассудительным в наших отношениях. Всё время пытаюсь её от чего-то уберечь, спасти, предотвратить. Но по итогу получается так, что я всё равно её вытаскиваю, отвоёвываю, выручаю, спасаю...

Мне наши отношения напоминают отношения Маяковского и Брик: всё непонятно, но очень интересно. Маяковский любил свою Лилечку такой самоотверженной любовью, был готов на всё, и ещё стихи эти. Ну, я эту лирику не люблю, я человек серьёзный, вдумчивый. Но, как и Маяковский, не могу жить без своей дамочки.

Меня вводили в ступор её фокусы и её желания, её порывы и влечения. Сколько же за всю нашу жизнь я перенёс? Надо подумать. Чего, собственно, я перенёс? Вернее будет — принял, а не перенёс. Перенёс — это так, будто я терпел, терпел и вытерпел, не сломался.

А тут немного другое. Может, сначала я и терпел, думал, анализировал, ругался. Но теперь вот осознаю, что она-то и научила меня этому принятию, подводила меня к нему долго.

Возможно, Маяковский и сломался потому, что не принял. Рискну предположить, что не довела его Лилечка до нужной стадии принятия. А принятие это — гибкая штука оказалась. Выручает и помогает в жизни не раз. Не сломаешься с нею. Будь уверен.

— До принятия чего она тебя довела? Не совсем понял.

— Принятия всего. Это стало в какой-то момент красной нитью моей... и её жизни.

Принятие, брат, такая штука. Непростая вовсе. Хотя и проще некуда. Принимай себе всё происходящее и верь, что так надо. Но для того, чтобы всё принять, надо стараться, оказывается. Объяснять себе попутно, что да как, зачем принимать и почему. Не всё и не сразу. Как показывает жизнь. А это принятие тебя потом и выводит из любой беды, из любой головомки. Терпение и принятие, теперь мои важные инструменты. Ведь я без инструмента никуда.

В её жизни принятие есть суть. Так же как и радость. Я и называю её «Радостная Дама». Каждый раз после того, как она возвращается ко мне от них, — она всегда радуется. И это она настоящая. В ней эта лёгкость искрится, свобода простором веет и радость безграничная, детская, наичистейшая. Настолько её радость переполняет, что ничего вокруг не замечаю больше. Она и сама из пепла будто, как птичка золотая, возрождается и горит радостью своей. Будто до этого ничего и не было вовсе: ни печалей, ни горестей, ни войн, ни страхов, ни лишений. Совершенная радость, будто только родилась она и гормоны начали бурлить в теле новеньком. Эге-гей!

Сколько их было? Уже и не припомню. Отвратительные типы. Я этих придурков никогда не любил. Она любила и принимала их всегда. До последней капельки и до последнего звука. Будто пила каждого. Напитывалась, дышала им, жила им.

Это меня и удивляет, и восхищает. Как можно так бесстрашно пускаться во все тяжкие? Совершенно не думает о последствиях. Глупая девчонка. Так я думал.

Но и очаровывался ею. С каждым новым придурком я очаровывался её способности перевоплощаться, принимать всё приходящее и становиться такой же, как этот новый идиот рядом с ней.

И разочаровывался я каждый раз только в том, что всё у них заканчивалось и он не смог остаться с ней навсегда, как ни была хороша их история. Очаровывался я ею, а разочарование мне приносил он.

Мне их совершенно не за что любить. Поэтому я не принимал её порывов отдаваться чувству и разделить его с придурком. Позволь, буду каждого рядом с ней называть именно так. Давай, с большой буквы, чтобы это выглядело уважительно.

Агрессор

Один был злым, агрессивным, ненавистник всего и вся на белом свете. Как такого можно полюбить? Как с таким можно рядом находиться? А она смогла. Прикипела к нему всей душой. Мало того, стала скоро на него походить — та-

кая же злюка, бранится и сквернословит, через передние зубы сплёвывает, ненавидит белый свет и готова драться за любую ерунду. Дружочки-пирожочки.

А мне-то что? Это есть и это пройдёт. Старо как мир. А я останусь. И она к себе вернётся. И ко мне по совместительству. Поэтому я хожу, думаю, анализирую, как же мне её не потерять в этом всём ненавистье.

Но на меня их штучки чувственные не действуют. Это они себе там пусть дерутся и ядом плюют. А моё дело тихое и разумное — ходи себе и думай, чтоб живы и здоровы все остались. Ну не все, но она и я. Это самое главное.

В общем, насладились они друг другом по полной. И дрались, и рутались, и змеюками по земле катались, она переняла от Придурка самые лучшие его качества. Будто цель у неё такая была — познать зло и ненависть в полной красе.

Исполнено.

И она снова со мной. И мы вместе летим куда-нибудь отдыхать. Уже совсем вдвоём, совсем одни. Приятные ощущения.

Но не скажу, что отдых после таких отношений не положен. Он прописан мною нам. Потому как работа проделана колоссальная. Мною уж точно. Но и переживания и проживания моей Радостной Дамы я бы теперь тоже приписывал к числу рабочих моментов. Впрочем, у меня все моменты рабочие. Такой уж я человек.

В чём заключается моя работа, этот райский труд?

(Райский, потому что лучшей работы я для себя не придумал бы в этой жизни)

Труд мой заключается в тщательном анализе, дедуктивном поиске решений из сложившихся ситуаций, которые дама и её новый кавалер придумывают настолько часто, насколько ветер меняет своё направление. При этом в живых остаться желательно всем и при этом не понести поражений физических и умственных. Проси меня среди ночи разрешить некую ситуацию — и найду выход в 9 случаях из 10. Один оставляю, если вдруг время для ответа ещё не пришло. Поэтому я и люблю свою работу. Я в ней успешен.

Ну и к этому меня привела моя девочка. Много раз соглашусь, что благодаря ей мои способности возросли и усилились. Раньше я не был так умён, мудр.

— И как она тебя к ним привела?

— Очень просто. Кроссворды заставляла решать, ум тренировать. Не смотреть же мне всё время, как они сходят с ума? Так и мне недалеко до них.

Фильмы смотреть наставляла. Книги читать пачками, музыку слушать, историю альтернативную подсовывала. Чуйка у неё какая-то магическая на всякие истории, которые мне давали пищу для размышлений. Новых размышлений. Не таких, как я привык. Я же с ней как обращался: сиди дома, никуда не ходи, со мной будь. Так ведь спокойнее, и не вляпаешься никуда. Страхов ей наставлял. Защищал, как мог. Она любопытная. Всё равно искала лазейки в моих наставлениях. Сквозь страх, мною навязанный, шла и выходила туда, куда ум, казалось, не придумает.

Поначалу я всю эту блажь её игнорировал. Но от скуки и закатывания глаз скоро стал впадать в опустошение и терял интерес к жизни. Понемногу стал

интересоваться её советами. Ну это и честно. Она-то моим тоже часто следовала. Хоть и по-своему.

Много размышлял. Много наблюдал за ней. Вёл дневник. Анализировал его периодически. Ведь он помогал мне видеть динамику её состояний.

И вскоре пришёл к важному для себя и неё открытию, что *все состояния имеют за собой свойство быть и уходить*. А то, что было перед ними и после них, возвращалось на круги своя. Как и в истории с Придурком-агрессором. Ну позлилась она, ну подрались, ну было. Ушла она от него. Выпила его всего до дна. Наполнила собою и отпустила. Живёт он себе дальше и радуется, что была в его жизни такая дамочка, всё принимающая.

А она что? А она со мной на песочке у реки загорает и снова радостная и свободная, как в тот момент, когда мы с ней увиделись первый раз. Чистое, юное создание с незапятнанной душой и розовой жопкой в песке.

Меня в ней поражает всегда: как она остаётся такой чистой, такой кристальной собою, когда погружается во всё это дерьмо? Ведь его на земле немало. Вернее было бы не лезть во всё подряд. Но нет же — она сунется в каждое и плещется в нём, ныряет и верещит от удовольствия. Не остаётся на ней никогда ни капли кого-то. Будто и не было в её жизни такого. Будто и не она это была вовсе.

Единственное, что остаётся в ней — её память. Как она делилась со мной. Говорит, что это опыт. Но он настолько не тяжёл для неё и ни на грамм не обременяет, что она через какое-то время готова погрузиться в нового Придурка и новые с ним чувства связанные.

Ну вот как можно?

Душа нараспашку

Ещё один. Цыган типичный. В крови ветер и воля, воровство и свобода. При этом тоскует и печалится так, что жилы заворачиваются и кровь начинает в них ныть. Волшебное его свойство: чувствовать боль земли, её драму и трагедию. Особенно любовную.

Так этот Цыган, назову его так, без тормозов был. При этом не такой дурень из Калуги, чтоб нажраться и море по колено. А статный, красивый, кровь горячая, любить — так до смерти, убивать, так по-настоящему. Какие песни пел, я и сам бы плакал, если умел бы. Так тосковал — земля под ногами выла. Такого желания жить и любить, петь и радоваться ещё поискать.

Я даже увидел сходство в этом в моей Душеньке и Цыгане. Были они какие-то одинокие в своих этих порывах, такие честные, такие свободные и совершенно без рамок и границ. То его и погубило. А Душенька моя вовремя спасена мною была. Чем я горд каждый раз, когда очень ей пригождаюсь в её скитаниях любовных. Не дело это — так жить совсем, как бриллиант неогранённый. Никому.

Напомнило мне историю Есенина Серёжи. Такой он был. Чудесный толковый парень. И землю любил, в природе бога видел. Я его про себя всегда Цыганом называл. Но кончил плохо, не смог бриллиант свой огранить вовремя. Опять же, не было такого умника-разумника у него, как я при Душеньке своей есть. Смею лишь предположить.... Но что-то мне подсказывает...

Абьюзер

Так, вот ещё один. Скот редкостный. Сутенёр, ей богу. И унижал её, и сказки медовые в уши лил, какая она прекрасная, а он её так любит, так любит. А сам продавал её налево и направо, денежки собирал, кутил и пил.

В этом она и жила. Круговерть ужасная. Переносила унижения, предательства и обманы, от обид и переживаний плакала навзрыд. А ему хоть бы что. Животное. А она опять со всей дури в него тоже погрузилась, почувствовала всё, что он ей предлагал. Низости и гадости редкие.

Не каждая на такое пойдёт. Пошла. Прошла. Вышла. Лежит вот на песочке, ножки греет и песни мурлычет рядом мне. Ей хоть бы что.

Только вот, знаешь, у неё после каждого Придурка во взгляде что-то такое появляется. Что-то новое, будто красивое. Я никак этого не пойму.

Но это наподобие красивой вещицы на память от каждого. Она вещицу берёт и себе оставляет. Только не штучку какую, а вроде сути его себе на память отпечатывает. И такая необъёмная становится, такая глубокая и манящая.

Я-то сам не утону в ней никогда. Мне от природы не дано. Но других понимаю, кто ей интересен станет и в кого она снова прыгнуть пожелает. Потому что расположить к себе любого может, особенно которых не знает ещё и не видала никогда.

Страдалец

Однажды в депрессии они с одним жили. Апатия у них изо дня в день, мысли пустые, равнодушные. Лежали на кровати и на полу, гулять редко выходили. Про радость в том доме совсем забыли. Серая печаль, грусть по несбывшимся идеям и мечтам, уничтожение себя полное. Зато спокойно всё.

Тут я, помню, хорошо потрудился. Она мне всё книжки по психологии, телесной ориентированности, детским травмам накидывала. Только успевал червём книжным жить, не поднимал головы денно и ночью.

С соседями не общались. Бывало, выпивали. Тоска зелёная, как ни взглянешь. В квартире пусто, даже цветы не росли. Собачку завели. Так эта собачка от тоски вечерами выла. Пока не издохла.

Даже пауки в квартире у них были к месту. Такие забытые палаты безвременья, затянутые паутиной.

Но случилось чудо. Отвалялись дружочки мои котиками морскими на диванных подушках. И от него она ушла. Вышла будто из него. Не стало у ней ни депрессии, ни апатии вдруг. Ото сна будто очнулась и давай веселиться и радоваться снова.

Я за эту радость её готов на ночи бессонные, на библиотеки нескончаемые и на умствования вечные.

Кастанеда

Ещё один был, сознание менять любил. То наркотики, то грибы, травки всякие. То самое опасное было. Тогда я рисковал свою дамочку радостную и не вернуть вовсе. Ты знаешь, что самое опасное там?

— Есть мыслишки. Но ты просвети.

— Самое опасное — потерять тело, испортить его. Ведь столько дряни и «химии» они употребляли в себя. Обмен веществ нарушался, настроение ужасное, долго из него потом выйти не могла. И жить скучно, говорит, после таких аттракционов. Да и с ума сойти можно.

Татуировки делали, о смысле жизни думали, курили и нюхали, кололи и варили. Божечки. Занавесками цветными всё завесили, по полголовы обривали, одежды разрисовывали, экстравагантные стали. Наркоманы, одним словом.

Мне сложнее всего с ними было. У них-то фантазии безумные, а я в реальности.

Главное — не поддаваться этим состояниям и тем идейкам, которые под состояниями этими приходят. Если творческие идейки, то это ещё ладно. А когда они про жизнь-смерть, вот тогда тревогу бить надо и выводить ребят из состояний.

Ну, я и вывел. Но только её. До него мне дела нет, конечно. Так он и кончил от передоза, в ванне с водой нашли его через недельку.

А Душенька книжки читать стала, прогулки ежедневные, питание по режиму, зубки новые вставили. Глядишь, через годик здоровая вся, как новенькая будет.

Да... этот мир удивителен чувствами. Благодаря ей я многое стал видеть в другом свете. Мы же как делим их: плохие чувства не чувствуем, а хорошие — с радостью. И она мне показала своим примером, откуда у нее такая душенька богатая.

— И откуда?

— Она эти чувства принимает. Все, какие к ней идут. Чувствует их, через себя пропускает и отпускает. Понимаешь? Мы-то боимся почувствовать что-то, будто умрём от этого или гром разразится, спустится бог с бородой и скажет: «Таштите его черти в геенну огненную, ему только что стыдно было и он признался в этом, а вчера мать свою ненавидел за то, что она его матом крыла и пьяная опять приползла домой».

— Да уж. Противоречий и непонятностей в нашем мире хватает. Попробуй разобраться... Таки что, все гады такие были? Или были поприличнее варианты? Чтобы позитивнее, что ли...

Святоша

— Не всегда. Бывало и хуже. После этого я понял, почему девочки любят хулиганов больше, чем умников и моралистов. Один вот такой Придурок и попался ей. Всё о боге говорил, о духовности. На медитации её таскал, ретриты устраивал, сатсанги. Всё в одежды её радужные одевал и ругался, если таракана она удавит.

Я вот её люблю за то, что тараканов она убивать не убивала, но любить сильнее не стала. Я тоже их терпеть не могу. Она хоть их и обходит стороной, типа, живите, если вам так надо, но я вас не жалую. А я просто не переношу и переносить не собираюсь. Готов и придавить, если вижу.

Так вот святоша. Песни пели тонкими голосками, мантры, веды, йоги. Ели только чистую и освящённую пищу, говорили о благодарности и высоких вибрациях. Верили во всякое. В пакеты собирали после себя крошки и кормили птиц в парке. Благость запредельная.

Мне даже перед людьми как-то неудобно бывало. Представляешь? С хулиганами всё как-то проще. А эти хорошенькие такие, аж тошнит.

Меня от этого и тошнило, выворачивало, конечно, часто. Но думать и размышлять перестать я не мог. Наверное, это моя суть. Ну и девочку спасти из его затяжного плена мне долгих трудов стоило. Много умствований у Придурка было, запудрил ей голову сильно.

Дамочка моя ненаглядная сейчас рассказывает мне, что самое главное из того их опыта она вынесла, что без веры человек не способен ни на что. Такой уж он — человек, тварь. А чтобы тварью такой не быть, ему должно во что-то верить. Туда и вести его будет вера его. Во что поверит, к тому и придёт.

И ей это правдивым показалось. А может, и не показалось. Но во что-то она точно верит. Раз уж живёт и любит до сих пор этот мир. И даже меня.

— Да уж. Их сейчас развелось, праведников. Мода такая, что ли. На прошлой неделе аж два Исусика было. Тренд.

Дверь открыли. Вошла медсестра Зинаида.

— Писатель, ты чё слюну пустил? Оставь нашего Рыцаря в покое. Уши-то развесил, рожа довольная.

А ты, друг сердешный, хватит пациентов развлекать. Собирайся, за тобой тут пришли. На выход с вещами.

— Уже? Ну, спасибо.

Вот и она меня спасает теперь. Может, любовь, а, может, услуга за услугу. Я в чувства в эти земные не вхож особо. Я верю ей. А она говорит, что это любовь. Ну пусть так...

Давай, всего хорошего, писатель. Спасибо, что выслушал.

— Удачи. Спасибо за историю.

Рыцарь вышел из палаты.

— Зин, а кто за него мазу потянул-то, не знаешь?

— Дамочка какая-то радостная приехала. У главного нашего сидели, чаи гоняли.

Это ж она с ним путалась прошлой весной, когда он в запой ушёл и сам чуть в дурку по собственному не лег. Бегали всё по Москве в одних пижамах и кричали о счастье неземном. Вся больница знает... на обострение-то...

Ох, кто как не он знает вашего брата лучше, раз сам в этой шкуре побывал не раз. Ну и дамочка хи-хи, ха-ха. А он счастлив: «Да, душенька, ошиблись, как видишь. Твой, значит, рыцарь-то, вернём, значит».

Крутится перед ней, как блин в масле.

— Зин, блин в масле — это к чему? Так не говорят. Если когда кто-то перед кем-то старается. Это по-другому надо.

— А мне всё равно. Я, как хочешь, говорю. А он всё равно, как блин в масле, довольный. Румяный такой, хорошенький, глазки горят. Дамочка к нему, подумает...

М

Глеб ОКЕАНОВ

📍 Москва, Россия



Фото: селфи

Родился в Уфе (1991), окончил Литинститут (мастера Анатолий Королёв и Сергей Есин). Работал в различных информагентствах. Пишет в двух противоположных жанрах: фантастика (мистика, хоррор, магический реализм и проч.) и реализм (новый реализм, натурализм).

Печатался в журналах «Новая литература», «Рассказки», «Новый Енисейский литератор», «Автограф», «Прочтение», «Littera Nova», в альманахах «Художественное слово», «Страшные сказки. Выпуск 2», «Yes, Future», «Зёрна», «Царицын», «Терапия с ног на голову», «Фэнтезийные записки», на портале о современных культуре и искусстве «ГУРУ» (Берлин). Автор в проекте «Прочитано». Номинант премии «Неформат», лауреат международного конкурса «Янтарный самородок» (США).

Автор детективного романа «Воробьиный дом» (издательство RUGRAM, 2023).

Колодец

Вот уже почти десять лет на дне полувысохшего колодца лежат мои кости. Колодец находится у загородной авто-трассы, и я постоянно слышу шум проезжающих машин, иногда музыку из магнитол или радио. Изредка к колодцу подходят автостопщики, но убедившись, что тут нет ничего интересного (только я), уходят обратно к дороге. Иногда по приколу кидают мне монетки (уже хватает на плитку дорогого шоколада), хотя им сюда не стоит возвращаться. И они, слава богу, не возвращаются. Да и мне самой лучше тут никогда бы и не бывать.

Ещё иногда к колодцу приходит *он* и разговаривает со мною. Я отвечаю *ему*, и *он* думает, что это галлюцинация. Но это я. Наверное.

Он спрашивает:

– Как тебе там?

И тут же отвечает за меня:

– «Плохо мне, дяденька».

Прям с языка снимает, ублюдок.

– Будешь ещё дяде язык показывать?

– «Не буду, дяденька».

– То-то же, – говорит *он*, плюёт в меня и уходит.

И я снова слышу лишь проезжие машины, гудки пробок да шелест высокой травы у колодца.

Однажды к колодцу подошла девочка лет одиннадцати и долго всматривалась внутрь, едва доставая подбородком до железной каёмки. Раздались шаги. Девочка вздрогнула, и рядом с ней облокотился, глядя в колодец, *он*. Некоторое время они стояли молча. Девочка обернулась назад – её отец ругался с другим автомобилистом, с которым они чуть не столкнулись.

– Осторожно, – сказал *он* девочке. – Не заглядывайся в колодец – упадёшь туда. У меня дочка так погибла – смотрела-смотрела вниз и – рраз! – и бултых!

Неправда, девочка, нет у него никакой дочери. Это *он* про меня, девочка. И вовсе я не заглядывалась в колодец. Только лишь подошла посмотреть, есть ли в нём вода. А очнулась уже у *него* в гараже.

– Прямо в колодец? – ошарашенно пробормотала девочка.

– Да, в этот вот самый колодец...

Девочка с ужасом посмотрела вниз, отпрянула от зияющей пустоты колодца, сделала шаг назад и спиной упёрлась во что-то твёрдое, чего у неё за спиной не должно быть. Это *его* рука. Девочка резко обернулась, открыла широко рот, ещё только чтобы просто набрать побольше воздуха – не зная, зачем именно. Но он приложил длинный сухой палец к своим губам:

– Тсс.

И девочка, вновь не зная, зачем, закрыла рот. Скосила глаза в сторону, туда же посмотрел и *он* – отца девочки не видно за высокой травой.

– Пошли, – тихо сказал *он* и с такой силой толкнул её рукой в спину, что она невольно пошла, едва удержав равновесие и не врезавшись в колодец.

Он вёл её перед собой, приобняв за плечо, закрывая от дороги телом. Пройдя так несколько метров, она осознала примерно, что происходит, и уже хотела сорваться с места и с криком побежать прочь. Но ровно в эту секунду, словно почувствовав, *он* нагнулся, одной рукой зажал ей рот, другой взял под ножки, поднял на руки и побежал прочь лёгкой рысцой.

В детстве, читая сказки, например, «Красавицу и Чудовище», я всегда удивлялась, что это за сказочные королевства такие спрятаны в лесах? Как люди могут не замечать огромный замок рядом со своими жилищами, мрачный замок, в котором живёт Чудовище? Оказывается, очень даже просто.

Теперь нас в колодце двое.

– Как вам там, доченьки? – спрашивает он каждый раз и плюёт в нас густым комком.

весна 2017

Уфа ■



Маргарита ПОНОМАРЁВА

📍 Поджомарино, Италия



Фото: Евгения Николаева

Донская казачка с дочкой 19 лет назад волею судьбы приехала в Италию и осталась там жить. А в какой-то момент начала писать. Герои её остросюжетных рассказов попадают в ситуации сложные, порой абсурдные, смешные, драматические. Но и из негативных ситуаций выход они находят.

В литературном мире Маргарита недавно, но рассказов написала на несколько сборников. Один в июне направила в издательства. Сейчас редактирует второй. В одном из сборников рассказы о жизни в Италии. Путь от нелегалов до создания своего бизнеса, истории столкновения двух менталитетов. А помимо рассказов для взрослых, Маргарита пишет и для подростков и маленьких детей.

Я тебя никуда не отпущу

Серёжка был хорошим сыном, совсем беспроблемным.

В садике, а потом и в школе не конфликтовал. С ним было так легко! Анна без страха оставляла его дома одного, пятилетнего, если надо сбегать в магазин или аптеку: газ не включит, соседей не затопит, нож в руки не возьмёт.

— Сынок, я на минутку, надеюсь, не подведёшь?

— Иди, я не маленький!

Говорил плохо, пока медсестра в садике не подсказала отвести к хирургу, уздечку под язычком подрезать. Ох, и разболтался потом, все буквы пел. В школе учителя постоянно давали похвальные грамоты: гордись, мама, хорошего сына воспитала. Кивала головой, а сама думала: какой отец, такой и сын. Оба хорошие, спокойные, заботливые, яблочко от яблоньки... Даже внешне копия папкина.

Годы летят.

Вот уже сын привёл в дом невестку. Господи, тростиночка, как детишек рожать будет? Хозяюшка, правда, хорошая, спасибо её маме, всему научила. Хоть и женился Сергей (уже как-то Серёжкой называть не хочется), но от родителей не оторвался. С отцом каждые выходные то на рыбалку, то на дачу. Или колдуют на кухне, это тоже семейное, любят готовить. Красота какая! Анна и рада, других дел много. Особенно любила на даче возиться, грядки, как картинки, много цветов, крохотный рай на земле. Внук Антошка и внучка Ариша переняли поведение деда и отца. Дважды ни о чём просить не надо, первые помощники на земле: и полоть умеют, и поливать. Вот чего в этой жизни не хватало? Жаловаться грех!

Беда разрешения не спрашивает.

Приходит сама, подло и неожиданно. Первым заболел дедушка, Сергей строго-настрого запретил находиться в квартире. Отвёз мать с женой и детьми на дачу, забил холодильник мясом и рыбой, овощей и фруктов своих за глаза.

— Не смейте никуда ходить, я сам за отцом присмотрю!

Больше недели звонил, отчитывался, успокаивал, несколько раз вызывал скорую. Забрали в больницу... обоих! Хотя и старался защититься маской и гелем, не вышло, заразился... Их положили в соседние палаты. Ночью, когда не было врачей, приходил и сидел возле отца, гладил дрожащую руку.

— Держись, батя, не сдавайся, мы нужны нашим родным.

Делал фото. Места в палате выбирал понейтральнее, чтобы не видели разную аппаратуру.

— Не волнуйтесь, всё хорошо. Я с отцом, ничего страшного, выздоравливает. Вот, видите, спит. Главное, ждите на даче, сюда не приезжайте!

Почему так бывает?

Молодой относительно организм (42 – не возраст) не справился первым. Это несправедливо, Господи, день в реанимации – и всё. Отец не мог понять, почему сын не приходит? Вчера рано утром, до прихода врачей, зашёл. Как обычно. А ночью, вопреки обычному, нет. Весь следующий день ждал, то проваливаясь в туман высокой температуры, то выныривая из омута сна-бреда.

— Где мой сын?

— Сожалеем, врачи сделали всё, что могли.

Резанула боль:

— Это я виноват!

Сорвал маску, попытался встать, идти на поиски, медсестра еле успела сделать успокаивающий укол. Инфаркт при измотанном «популярной» болезнью организме – окончательный приговор. Отец пережил сына всего на два дня.

Анна за этот месяц, наверное, в два раза старше стала.

Седые волосы, глубокие морщины, круги под глазами. В квартире не могла находиться. Оставила на невестку с детьми, уехала на дачу. Каждый день перебирала фото мужа и сына. Они на них счастливые, всегда с улыбкой. Целовала любимые лица, опять и опять перечитывала школьные благодарственные письма. Спасибо за сына... Такой хороший. Каким ты был, таким и остался. Отца не бросил... Как без них жить? Прохладно в комнате ночью, надо завтра купить обогреватель, в киоске возле остановки видела. Газом греться не любила, запах душил. Странно, летом – и мерзнет, аж трясёт всю. Не заболела, нет, скорее, нервное, тепла хочется, чай тут не помогает.

Утром замкнула домик и пошла за обогревателем. Сколько её не было? Может, час? Больше? По дороге не спешила, не специально, так получилось. На скамейке посидела. Вроде бы не долго...

Издалека увидела распахнутую дверь – невестка приехала, наверное... Шагнула в дом... Посреди комнаты сидел грязный мальчишка и жёг на полу (хорошо, что пол не деревянный, плитка везде) газеты, листы какие-то, квитанции, которые она складывала на подоконнике на веранде. Рядом лежало самое драгоценное – фотографии семейные. Вздрыгнул от неожиданности и рука со снимком, на котором был Серёжка маленький, мелькнула над огнём!

Кинулась с диким воплем, схватила за шиворот и стала бить. Не глядя, куда попадает, всю свою боль выплёскивала, будто *этот* человек виноват во всех бедах семьи.

Сколько это продолжалось?

Минуту, десять? Плакали оба. Она от горя. Беспризорный мальчишка от боли, страха.

— Ты зачем так? Это же самое дорогое, это всё, что осталось...

— Я их только смотрел, не жёг. Честное слово, только бумагу...

— Кто ты, как тебя зовут?

— Серёжа!

— О, боже!

Схватила, обняла, целовала грязную лохматую головку, заплаканные глаза, вцепилась, как в родного.

— Прости меня, сынок! Ты, наверно, кушать хочешь, я сейчас, быстренько.

Мальчишка с удивлением смотрел на седую женщину, которая только что лупила его, а теперь ставит на стол всё, что было в холодильнике, что только что с грядки сорвала. Будто он самый дорогой гость в доме.

Жизнь, ты что вообще вытворяешь, что с людьми делаешь? ■

Возвеличить, проклясть, понять. Образ народа в русской литературе от Пушкина до Пелевина

Итоги

На наш первый конкурс эссе «Дьявол как средоточие истины и морали. Духовные искания Михаила Булгакова. К 100-летию начала литературного творчества», итоги которого подведены во 2-м номере, прислали работы 59 участников, в том числе пятеро вместо эссе представили рассказы. Но главное – работы участников, ставших лауреатами, отличало очень высокое качество, а тем более работу победителя, который помимо оригинальной идеи нашёл и оригинальную форму.

После этого мы объявили уже два конкурса: эссе и рассказа. И у нас случился «фантастический блок» из материалов конкурса эссе, посвящённого творчеству братьев Стругацких, и конкурса рассказов «Я сделал для грядущего так мало». Причём на сей раз на конкурс эссе пришло считанное число работ, гораздо больше участников привлёк конкурс рассказов, но именно в конкурсе эссе мы смогли определить победителя, а в конкурсе рассказа мы посчитали нужным назвать только лауреатов 2-й 3-й степени.

Как вы видели, в этом номере мы также ограничились определением в конкурсе рассказа лауреатов 2-й и 3-й степени, а в конкурсе эссе работ, достойных попадания даже в лонг-лист не нашлось.

Мы решили **продлить срок конкурса эссе «Возвеличить, проклясть, понять. Образ народа в русской литературе от Пушкина до Пелевина».**

Да здравствуют конкурсы!

Конкурс рассказа

«Мы живём, под собою не чуя страны»

Конкурс эссе

Возвеличить, проклясть, понять. Образ народа в русской литературе от Пушкина до Пелевина

Объём работы желательно ограничить 10 тысячами знаков с пробелами (тут главное слово – «желательно»).

Укажите, пожалуйста, в письме **имя, фамилию, адрес электронной почты, телефон** (желательно с доступом к WhatsApp'y или Viber'y), **место проживания (нахождения).**

Обязательно дайте **название своей работе.**

Обязательно указывайте в теме письма: **Конкурс "[название]" – [ваша фамилия, имя, в кавычках название вашей работы]**

И ещё одно условие – ответить на вопрос:

Сколько и какие конкурсы были объявлены на СТРАНИЦАХ «Тайных троп»?

Нас интересуют конкурсанты, которые отдают себе отчёт, в какое издание обращаются. Рассылающих спам просим не беспокоиться.

Будьте внимательны, помните, что часть конкурсов мы объявляли не на страницах альманаха, а на сторонних ресурсах.

Приём **по 30 ноября 2023 года**

по адресу:

email: secrettropes@gmail.com

В качестве приза – публикация в ближайшем выпуске журнала!

Редакция «Тайных троп» в ожидании ваших работ. ■

Мен

пъеса





Игорь ЛОЩИЛОВ

📍 Новосибирск, Россия



Фото: из личного архива автора

Родился в Новосибирске (1965). Окончил факультет русского языка и литературы Новосибирского государственного педагогического института (1987). С 1988 года работал на кафедре русской литературы этого института. В 1996-м получил грант CIMO (The Centre for International Mobility, Finland) для работы над диссертацией в рамках проекта Финской Академии «Модернизм/постмодернизм в русской литературе и культуре» и на следующий год в Хельсинки при поддержке университета Хельсинки выпустил монографию «Феномен Николая Заболоцкого», которую защитил (PhD) на гуманитарном факультете университета Йёнссу (Финляндия).

Научные интересы связаны с историей и поэтикой русской литературы XX века, в первую очередь – литературного авангарда (футуристы и обэриуты). Главный герой исследований – Николай Заболоцкий. Ему посвящены антология в серии «Pro et contra» (СПб, 2010), подготовленная совместно с Т. Игошевой; экспериментальный том «Метаморфозы», где все художественные произведения поэта представлены в первых редакциях, 1-е издание которого вышло в Москве в 2014-м, а 2-е, дополненное и исправленное, – в 2018-м; совместно с сыном поэта Н. Н. Заболоцким подготовил в академической серии «Литературные памятники» поэтическую книгу Николая Заболоцкого «Столбцы» (2016).

Другая область научных интересов – литература и печать Сибири и Дальнего Востока 1-й трети XX века, а также «восточная ветвь» русской эмиграции. Участвовал в проектах «Сибирский авангард 1920–1930-х годов: газета, журнал, альманах, сборник», «Классическое произведение о Гражданской войне – “Бронепоезд 14-69” Всеволода Иванова: исторический и литературный контексты», «“Паралипоменон” сибирской литературы XX века в архивах и книжных собраниях Новосибирской области» Российского фонда фундаментальных исследований. Ведущий научный сотрудник Института филологии СО РАН (Новосибирск).

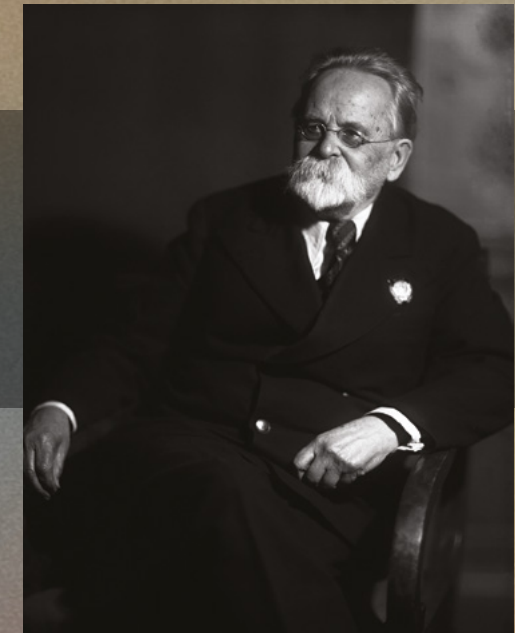


Николай МОРОЗОВ

25.06(07.07).1854 – 30.07.1946

📍 Российская империя
– СССР

Фото: Моисей Наппельбаум
(из коллекции фотографий
академиков работы
М. Наппельбаума¹)



Тэффи писала в мемуарном очерке о Фёдоре Сологубе: «Как-то занялись мы с ним определением метафизического возраста общих знакомых. Установили, что у каждого человека кроме его реального возраста есть ещё другой, вечный, метафизический. Например, старику шлиссельбуржцу Морозову мы сразу согласно определили 18 лет».

Деятель русского революционного движения (народник, народоволец), популяризатор науки, поэт, толкователь Апокалипсиса Николай Морозов был внебрачным сыном помещика и дочери кузнеца из Ярославской губернии, состоял в дальнем родстве с Петром Великим, участвовал в деятельности «Земли и воли», исполкома «Народной воли», активно занимался теоретическим осмыслением политического террора (брошюра «Террористическая борьба», 1880). Влияние его тезисов о перманентном терроре ощущалось в эсеровской среде даже в начале XX века. Отсидел до революции в тюрьмах около 30 лет, в последний раз попал за решётку в возрасте 58 лет за книгу стихов.

Автор научно-популярных трудов в области физики, химии и астрономии. Его теория о тотальной фальсификации человеческой истории повлияла на многочисленные паранаучные теории новейшего времени. В определённом смысле она была ответом на репрессивные действия власти: заключая учёного в тюрьму, общество как бы отрицает его существование; что ж, раз так, – вас тоже нет, и вашей истории тоже. Действительный член Русского физико-химического общества, Русского астрономического общества, Французского астрономического общества, почётный член Московского общества любителей естествознания, бессменный председатель Русского общества любителей мироведения (Р.О.Л.М., 1910–1932), с 1918 года директор Государственного естественно-

¹ Архив РАН, Ф. 543 (Н. А. Морозов). –
<https://www.ras.ru/nappelbaum/c321c4d2-dee0-475a-88eb-28e13aad2cf0.aspx>

научного института им. П. Ф. Лесгафта, научную станцию которого разместил в собственном имении Борок, почётный член АН СССР (1932), заслуженный деятель науки (1934). Кавалер ордена Трудового Красного Знамени (1939) и дважды ордена Ленина (1944 и 1945).

Мемуарные книги и революционная поэзия Морозова пользовались некоторой известностью в начале XX века, вызывали сочувственное отношение Льва Толстого, Валерия Брюсова, обэриутов и резко отрицательное Александра Блока, Николая Гумилёва и Василия Розанова. Лев Толстой, пригласивший Морозова в Ясную Поляну, немало шокировал его тем, что позавидовал вслух его заключению. Илья Репин исполнил четыре его портрета, оставшись недовольным сделанным, ввиду несоответствия жившего в воображении художника образа несчастного истрадававшегося узника и жизнерадостного, подвижного человека, полного душевной молодости и ясности, по лицу которого никак нельзя было догадаться о всех перенесённых им испытаниях.

В записной книжке Хармса 1925 года выписаны домашний и служебный адреса Морозова. В декабре 1929 года его имя появляется в неожиданном, но, значимом контексте: в списке «естественных мыслителей» – мудрецов, которых в это время Хармс хотел объединить в кружок. В 1932 году благодаря хлопотам Морозова лагерный срок был заменен для Хармса ссылкой: именно к нему обратился за помощью отец писателя, Иван Ювачёв.

Ещё в 1906 году Брюсов писал (в рецензии, подписанной псевдонимом): «Стихи такого человека не могут не быть интересны, хотя бы как психологический документ». Ощущение уникальности Морозова усилилось в советские годы; Вениамин Каверин писал: «Двадцатый век с его напряжённостью, неожиданностями, неуверенностью оставался за дверью квартиры Морозовых, и вы попадали в девятнадцатый, спокойный, радушный и поражающий тех, кто никогда не слышал мелодекламаций Ходотова и Вильбушевича и не ел ветчины, присланной из собственного имени».

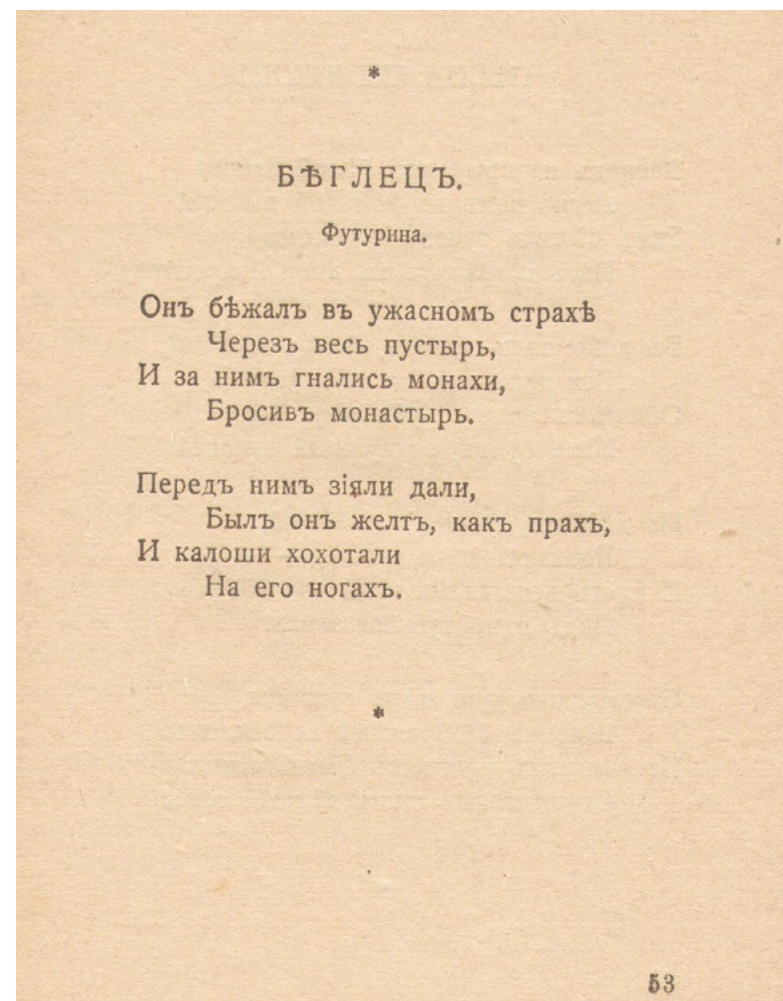
Двухтомный итоговый свод поэтических сочинений Морозова был издан кооперативным товариществом «Задруга» в 1920–1921 годах (возможно, вторая книга вышла в 1922). Кажется, единственное стихотворение Морозова, оказавшееся «жизнеспособным», – сочинённое вместе с Д. А. Клеменцем «Тайное собрание (По городским слухам)» (<1879>). Другой, более пространственный вариант, публиковался без указания соавтора и носил название «Песня о Громе-генерале (Поэма из времён покойной памяти Охранного Отделения)». Стихи легли в основу сатирических куплетов, популярных в студенческой среде 1880–1890-х годов, в различных вариантах и с добавлениями. Новая жизнь куплетов связана с именем Владимира Высоцкого, исполнявшего их в спектакле «Десять дней, которые потрясли мир» («Ох, как в Третьем отделении...»).

Во вступительной статье к библиотекapoэтовскому сборнику поэтов-восьмидесятников А. М. Бихтер указал три жанрово-тематических локуса поэзии Морозова. Во-первых, это окрашенная «в ярко подчёркнутые лирические тона» «революционная тема», во-вторых – «элементы сатиры» и отдельные сатирические стихотворения; наконец, в-третьих – «научная поэзия», «пионером» которой на русской почве назвал Морозова в 1929 году критик Игорь Поступальский.

Николай Гумилёв резко отзывался на первый, однотомный вариант «Звёздных песен», вышедший в 1910 году при содействии Брюсова и обернувшийся для автора годичным заключением в Двинской крепости: «Неужели в почтенные лета автора можно дебютировать книгой стихов, имея

подобный запас образов, приёмов и закристаллизованных переживаний? Или это та научная поэзия, о которой столько говорят во Франции Ренэ Гиль и его сторонники? Нет, там всё построено на искании синтеза между наукой и искусством, а в стихах Николая Морозова мы не видим ни того, ни другого. Одно великолепное презрение к стилю, издевательство над требованиями вкуса и полное непонимание задач стиха, столь характерные для русских поэтов-революционеров конца XIX столетия, да разве ещё шаблонность переживаний, тупость поэтического восприятия и бесцеремонность в обращении с вечными темами – вот стихи Морозова». Реакция Гумилёва объяснима: Морозов оказался оторванным от литературного процесса в начале 1880-х годов, с их безрадостным поэтическим фоном, а вернулся на свободу и начал печатать стихи в «разгар» серебряного века, в годы, когда поэтический язык находился на несравненно более сложной стадии развития.

В составе «Звёздных песен» есть несколько пародий на футуристов («футурин»), которые производят интересное впечатление – в свете последующей истории развития поэтического языка, они, кажется, утратили «пародийность» и обрели самодостаточный эстетический смысл, близкий к поэтике обэриутов:



Стихотворение «Беглец». Скан с. 53 издания: Морозов Н. Звёздные песни. Первое полное издание всех стихотворений до 1919 года: В 2 кн. Кн. 2. М.: Задруга, 1921

Игорь ЛОЦИЛОВ

Забывтая пародия на футуристов

Какие обстоятельства, жизненные или литературные впечатления Николая Александровича Морозова вызвали к жизни драматическую миниатюру «Хаос», посвящённую футуризму, – неизвестно. Присутствие в пьесе «нескольких длинных *кручёных* субъектов» (курсив мой. – И. Л.), проносящих «блюдо со Свиной Головой в Жиге Сквернословий» отсылает к фигуре Алексея Кручёных.

Миниатюра была напечатана в двухтомнике Морозова «Звёздные песни», но, насколько нам известно, до сих пор не попадала в поле зрения исследователей, занимающихся историей рецепции футуризма. В выходных данных указан 1921 год; в нескольких сносках, однако, говорится о поправках, вносившихся автором в ходе затянувшейся переписки с издательством. «Голос из-под Великого Новгорода», слышимый в третьем действии, резонно связать с историей болезни и смерти Велимира Хлебникова, – вероятно, ко времени создания пьесы уже свершившейся: 28 июня 1922 года в деревне Санталово Крестецкого уезда Новгородской губернии завершился земной путь Будетлянина. Можно предположить, что вторая книга стихотворений Морозова во 2-й половине 1922 года ещё была в наборе; к этому же времени предположительно отнесём и написание «Хаоса».

В первой книге есть две пародийные *футурины*: «Беглец» и «Псонт»¹. Во второй – стихотворение «Грусть эгофутуриста», снабжённое подзаголовком: «Мысли после прочтения одной книги». Этой книгой, вероятно, был дебютный сборник Игоря-Северянина «Громокипящий кубок» (1913), вполне благожелательно цитируемый в предисловии автора к «Звёздным песням», статье «Наука в поэзии и поэзия в науке»².

¹ Морозов Н. Звёздные песни. Первое полное издание всех стихотворений до 1919 года: В 2 кн. Кн. 1. М.: Задруга, 1921. С. 53, 61.

² Там же. С. X–XI.

Ещё одно стихотворение Морозова – вариация на тему «Ворона» Эдгара По – носит название, живо напоминающее о кручёныховской зауми и экспрессии: «Кырр-кыр-кыр!»³. Заголовок снабжён сноской: «*К ы р* по древне-еврейски значит: холодно». Возможно, прочитав или услышав «консонантные» стихи Кручёных, Морозов вспомнил о том, как изучал древнееврейский язык, будучи в заключении в Двинской крепости – по книгам, вне традиции произнесения слов с правильной огласовкой.

Несмотря на очевидную пародийность, пьеса Морозова, кажется, не связана с задачей высмеивания и отрицания футуристов. Возможно, замысел как-то связан с его космогонией и теорией катастроф. Война и революция – Великая Бойня Народов и Падение Русской Империи – находят в заумных, абсурдных или антиэстетических образах футуризма наиболее точное соответствие. *Ключи счастья* (отсылка к А. А. Вербицкой, массовой беллетристике и «усреднённому» обывательскому вкусу) катятся в разверстую *бездну*; на развалинах мира в финале миниатюры появляется, однако, фигура с мессиански-софиологическим ореолом (или намёком) – блоковская *Незнакомка*.

Рукопись пьесы, хранящаяся в Архиве Российской Академии Наук (Ф. 543 [Н. А. Морозов]. Оп. 1. Д. 638. Л. 41–43) оцифрована и доступна пользователям Интернета⁴. Принципиальных отличий от опубликованной редакции и дополнений, которые проясняли бы замысел автора и его отношение к объектам пародирования, здесь, кажется, нет.

Выражаю признательность Б. Ф. Шифрину и С. Е. Бирюкову за ценные консультации и важные дополнения.

Текст миниатюры воспроизводится по изданию: Морозов Н. Звёздные песни. Первое полное издание всех стихотворений до 1919 года: В 2 кн. Кн. 2. М.: Задруга, 1921. С. 134–137.

³ Там же. С. 145.

⁴ Режим доступа в Сети: [URL: <http://www.ras.ru/namorozovarchive/about.aspx>].

Николай МОРОЗОВ

Хаос

Миниатюра

Действие первое

Поднимается занавес, весь расписанный пальцем беспорядочными мазками жёлтой грязи, в которых кое-где выходят незаконченные уродливые фигуры. Сцена представляет эстраду декадентского концертного зала времени Падения Русской Империи. За сценой слышен вой приближающегося урагана. Ничего не видно во тьме. Из глубины мрака слышатся *р а з н ы е г о л о с а*:

1-Й ГОЛОС: Взлетела книга!
2-Й ГОЛОС: Взлетела утка!
3-Й ГОЛОС: Что, это – шутка?
4-Й ГОЛОС: Нет! Это фига.

Занавес падает.

Действие второе

Занавес поднимается.

Тот же зал и та же тьма. За сценой бушует буря. Вдали к ней присоединятся пушечная и пулемётная пальба Великой Бойни Народов.

Ф У Т У Р И С Т (выходит из тьмы в единственное слабо освещённое место и декламирует, обращаясь к публике): Чих-чих-чих!

Вот вам стих

Пища – и свинина.

Хрю-хрю-хрю!

Вам сё дарю

Вместо апельсина!

(Поворачивается спиной и уходит.)

В публике гром рукоплесканий.

Пальба орудий за сценой кажется всё ближе и грознее. К ней присоединились сумбурные звуки дикарской музыки. Буря с каждой минутой усиливается.

Занавес падает.

Действие третье

Занавес поднимается.

Тот же зал и та же тьма и буря. Орудийная, пулемётная и ружейная пальба за сценой стали оглушительными. Через единственное слабо освещённое место сцены *н е с к о л ь к о д л и н н ы х к р у ч ё н ы х с у б ь е к т о в* торжественно проносят на своих плечах большое блюдо со *С в и н о й Г о л о в о й* в *Ж и ж е С к в е р н о с л о в и й*.

О Д И Н И З К Р У Ч Ё Н Ы Х (Свиной Голове):

Ты – поэт?

С В И Н А Я Г О Л О В А (после некоторого раздумья):

Нет.

Д Р У Г О Й И З К Р У Ч Ё Н Ы Х (Свиной Голове):

Ты – еда?

С В И Н А Я Г О Л О В А (трагически):

Да.

Все проходят в мрак и бурю и исчезают. Во тьме из-за сцены слышится Голос из-под Великого Новгорода:

Г О Л О С: Кто мы, где ты,
Стены немы,
Мы не вемы,
Мы не вемы.

Русская Империя рушится с оглушительным треском. Всё исчезает под обломками. Из-под развалин катятся со звоном *К л ю ч и* *С ч а с т ь я* в разверзшуюся в земле бездну. Тихо. Из-за облаков выходит луна. Вокруг появившейся на развалинах *Н е з н а к о м к и* падает *г о л у б о й с н е г*.

Конец ■

Мн

провинциально-философские записки





**Сергей
ФОМЕНКО**

📍 Самара, Россия



Фото: из личного архива автора

Один из постоянных авторов самарского независимого журнала о кино «25-й кадр», также печатался в толстых журналах «Крещатик», «Новый мир», «Иностранная литература», «Аврора» (отметившем эссе о поэзии Виктора Сержа в финале конкурса «Зеркало революции») и на сетевых порталах «Топос», «Кольцо А», «Darker». Серии междисциплинарных исследований и эссеистики посвящены философским аспектам современного кинематографа (для изданий «Искусство кино» и «Cineticle»), поэзии и экспериментальной эстетики, истории и теории литературного авангарда.

Стихи входили в шорт-лист X Всероссийского фестиваля молодежного литературно-художественного авангарда «Лапа Азора» (2016), философские эссе отмечены в числе финалистов литературной премии «Эхо-2022» и победителей литературного конкурса к 120-летию со дня рождения Владимира Набокова журнала «Новый мир».

Лауреат 2-й степени нашего конкурса эссе «Дьявол как средоточие истины и морали. Духовные искания Михаила Булгакова. К 100-летию начала литературного творчества», итоги которого подведены во 2-м номере «Тайных троп» (2022). Победитель конкурса эссе «Последние коммунары Вселенной. Братья Стругацкие: эволюция взглядов, смена героев», итоги которого подведены в 3-м номере (2023).

Дорога в страну амазонок

Самарская археология в литературных отблесках

*Ольге Пастуховой,
самой удивительной степной амазонке*

Если открыть каталог находок Утевских курганов, ставших визитной карточкой самарской археологии, стоит обратить внимание на погребение 2 кургана № 6 могильника VI. Здесь покоится юноша, чья стопа повреждена костяной стрелой – источник поверий многих самарских археологов, увидевших в нём предтечу воплощённого мифа об Ахиллесе, перекочевавшего из Поволжья в культурный круг Высоких цивилизаций древности. Подспорье для эскиза коллективной фантазии, её начало.

Но, возможно, перед нами раскрывается вовсе не предтеча, а конец легенды. Согласно альтернативному завершению, сжавшиеся боги воскресили погибшего Ахиллеса и павшую от его руки возлюбленную – защитницу Трои амазонку Пенфесилю, чью красоту ахейский герой оплакивал после боя.

Ахиллес и Пенфесиля обрели покой и счастье вдалеке от ужасов войны. Что это как не очередное преображение мечты о внутренней эмиграции? Мечты, которой пронизана самарская археология, вплоть до своих литературных вкусов.

И только ли самарская?

Любая внутренняя эмиграция ничего не стоит без собственной поэтики. Самарский поэт и археолог Алексей Богачёв открывает один из своих стихотворных сборников цитатой из «Хазарского словаря» сербского постмодерниста Милорада Павича, посвящённого ловцам снов.

Присутствие Павича, даже незримое (а иногда зримое – довелось видеть скучающего на конференции студента, листавшего «Семь смертных грехов»), это тяготение к утраченному прошлому. Оно раскрывается через общечеловеческое умение грезить и мечтать, хоть как-то связывающее навсегда ушедшего предшественника и современника, «коллег по собиранию камней» (археологов) с «коллегами по разбрасыванию» – предками.

Перебирая чётки века,
Пройдя тысячелетний стык,
Мне уж не кажется помехой,
Их тёмный хладный сердолик

Алексей Богачёв. Из сборника «Цена снов».

Поэт хочет приобщиться к кругу ловцов снов,

«умевших читать чужие сны и жить в них, как в собственном доме, и, проносясь сквозь них, отлавливая в них ту добычу, которая им заказана... так что им начала покоряться прекраснейшая из существующих материй – материя сна»

Милорад Павич. «Хазарский словарь».

Французский повеса Фредерик Бегбедер, посетивший Самару в 2013 году, обескуражил горожан обаятельно-циничной репликой о том, что город напомнил ему поверхность Луны. В качестве кратеров и лунных морей он изрыт многочисленными раскопами и шурфами перманентных строительно-ремонтных работ, требующих фокуса археологических изысканий.

И действительно: Самара возвышается над разномастными пластами прошлого. Окрестности городского аэропорта скрывают кочевья мажар, начинавших отсюда долгий путь к обретению европейской родины. Южный пригород 113-й километр – святилище гуннов, отправлявшихся в походы на погибель античного мира. В Кировском районе города обретались одни из первых славян – колчинцы, а медицинский университет – какова ирония! – стоит на забытом сельском кладбище.

Забытое... Археология кружит вокруг редко артикулируемой самими археологами идеи возвышенного опыта, наиболее полно сформулированной голландским историком Фрэнклином Анкерсмитом: с субъективным погружением в прошлое конкурирует возвышенный исторический опыт, строящий идентичность на безвозвратной утрате, на том, что желанно, но что невозможно вспомнить. Разве что – во сне.

У самарских исследователей, как и у археологов Павича, есть своя пока недо-

стижимая Хазария – место сражения на Кондурче, которое из десятилетия в десятилетие ищут местные археологии с коллегами из республик Средней Азии. Возможно, когда-нибудь и город станет таким же притягательно-неуловимым призраком. На своих лекциях один из отцов местной археологической школы Александр Выборнов любит шутить, что, если через тысячелетия Самару откопают инопланетные археологи, то по материальной культуре решат, что её населяли американцы и китайцы.

То, что не укладывается в сухость академических публикаций, воспевается в бардовских песнях экспедиций. Правда, самарская полевая поэзия не часто выходит за рамки романтической патетики. «Археологический блюз» самарского барда Виталия Поваляева – редкое исключение – воспекает умиротворяющий быт экспедиции, почти медитативное царство покоя, но за ним вновь следует либо сопричастность легендарному прошлому высоких цивилизаций, либо прошлому недавнему (советскому), но тоже безвозвратно ушедшему. Археологи всей России (и самарцы, в частности) любят петь об орле VI древнеримского легиона и элегию астраханского рокера Дмитрия Васильева «Это мы» о минувшем поколении неистовых гуманитариев.

Такова победа романтизма, но победа, в сущности, пиррова: когда победный венок заменяет отшельническое самолюбование осколками невозвратно минувшего. Отсюда же изыски профессионального юмора: «Посуда разбивается к счастью, но... только для археологов».

2

Подлинный материализм обнаруживает себя в опровергающих концептуализацию совпадениях. В Санкт-Петербурге живёт философ и киновед Павел Кузнецов, автор некогда известного в диссидентских (а теперь просто в узких) кругах романа «Археолог». В Самаре живёт археолог Павел Кузнецов (любящий философствовать), чьи юношеские мечты о космосе обратились в современные странствия по Поволжским степям в поисках погребённых в их земле сокровищ.

Были ли философ и археолог близко знакомы? Нет, никогда.

У протагониста в романе есть опора – Ольга, «щедрая, всепонимающая, добрая... и оттого ускользающая», в которой прочитываются черты спутницы сперва научных исканий, а потом и бизнес-проектов самарского археолога – Ольги Пастуховой.

Другой представитель современного поколения самарских археологов – успешный начальник археологического отдела самарской «НИПИ Нефти» Константин Андреев обнаружит в романе зеркального («с всколоченной гривой и опьянённого идеями»), точнее, диалектически обращённого и оттого более точного и более зловещего двойника – неуспешного и неистового крамольника-«нетовца».

Мистика? Нет: распространённость ситуации, где имена не так уж важны.

В диалектических хитросплетениях романа академическая археология поворачивается к читателю философской стороной, высвечивая не столько поиск, сколько условия возможности истины.

«Когда решался вопрос, оставаться ли мне в древности или выбрать что-нибудь посовременнее, настоятельно советовали забраться как можно глубже: “Поймите, это будет единственное место в вашей жизни, где вы сможете чувствовать себя свободным... Больше свободы у вас нигде не будет – чем дальше от конца к началу, тем Клио милосерднее, тем легче дышать...”»

Павел Кузнецов «Археолог»

Полевую романтику археологов питает не только очарование природы: оно скрывает бегство от утвердившейся с советских времен догматики целостности. От объективного и бесконечного времени – обратно к конечным вещам. В этом отношении пространство археологического поля повторяет топологию диссидентских кухонь 70-х, где мелочи и осколки (а в руках археолога – артефакты) расцветали аффирмативными цветами.

Но и в постдиссидентскую пору работники археологических групп остались последним пришествием поколения дворников и сторожей, «коммунистов в очках, бизнесменов в кожанках и томно глядящих невест» (Дмитрий Васильев «Это мы»). Плутая от вавилонянина Набонида до сессии, самарские археологи встречают на своём пути ещё одного человека и персонажа – Венедикта Ерофеева, чьи алкогольные экзерсисы и визионерские путешествия в электричках малят привилегией не замечать неотвратимую действительность, заменив её множественностью отдельных вещей. Потрёпанные томики поэмы «Москва-Петушки» до сих пор можно встретить у старшего поколения археологического сообщества в Самаре.

Не трудно догадаться, что оправдание конечности, которое на уровне научного дискурса выступает осуждением эмпирических обобщений, на практике грозит агностицизмом. Алексей Богачёв вспоминал, как ему довелось присутствовать на утомительном докладе об архитектуре Волжской Булгарии. Крайне долгое перечисление параметров (длина, ширина, высота) ископаемых построек завершилось фразой «...ширина – 2,64 метра». После небольшой паузы кто-то удивленно спросил: «А выводы?» «А выводы делайте сами!» – парировал докладчик.

Однако усталость от выводов тоже вторит тяге к чистой приземлённости, желанию жить в чистом «бывании» (поведает литературный Павел Кузнецов), не направленном в конкретную сторону. Смутное, но захватывающее чувство, нередко заставляющее (особенно после возвращения из очередной экспедиции) выискивать собственного Веничку в окрестностях самарского железнодорожного вокзала.

Говорят, его зеркальная архитектура, растворяющая массу и улавливающая отдельные блики города, как ничто другое подчёркивает призрачную ирреальность центра Самары, где Веничка мог бы стать одним из ловцов сновидений.

3

Как же соотносится стремление к сопричастности образам прошлого с бегством от его четких атрибуций?

«Зеркальный» железнодорожный вокзал в Самаре.
Фото: из открытых источников



Философия французского психоанализа подарила постмодерну революционную фигуру номада, вечного кочевника, пересекающего любые границы линиями ускользания. Фигура идеальная, хотя основатель психоанализа Жиль Делез охотно обращался к примерам из истории кочевых народов (а советский читатель наверняка вспомнит о демократизме варварства, описанного Фридрихом Энгельсом в «Происхождении семьи, частной собственности и государства»). Спрос рождает предложение: савроматы и мадьяры, сарматы и гунны – номады, представленные в самарских степях.

При этом пространство степей, которое известный психиатр позапрошлого столетия назвал главным источником национальной болезни – русской меланхолии, задаёт определённые координаты мышления его обитателям и исследователям.

Меланхолия – карамазовское искушение, принимающее и одновременно отрицающее очевидность откровения в его застывших формах: степи дарят утешающее обещание встречи с забытым. «Далёким грекам недоступна степная скифская тоска», – сказал бы Богачёв-поэт. Механизм меланхолии кроется не только в мучительных реминисценциях, но и в попытке прикоснуться к материи за гранью забытого. Степная меланхолия – близкая, но обычно несбыточная страсть о возвращении забытого, которым правит уже не резонёрствующий дьявол Достоевского, а молчаливо-притягательный Пан Гамсуна.

Вместе с тем свободное от концептуального рифления пространство как ничто другое способствует сохранению памяти. В кулуарах самарской археологии этот простор дарит почти фотографическая точность застывших образов. Малиновый пиджак Александра Выборнова, коричневый портфель с полевым инструментарием Павла Кузнецова (археолога), униформа нефтяной компании Константина Андреева, то длинные, то короткие, но всегда огненные локоны Ольги Пастуховой. Образы, за которыми долгие и сложные истории самарских судеб.



Репродукция картины Александра Сулимова «Сон амазонки»

А над этим реет имя лошадки (Мишка), когда-то возившей первую в самарской истории археологическую группу Веры Гольмтсен и без упоминания которой теперь не начинается здесь ни одна ежегодная археологическая конференция (так же, как без имени коня Александра Македонского вряд ли проходит хоть один российский День археолога).

Полевые приключения археологов манят и ещё одной надеждой: если музей подчас оказывается местом вытеснения истории в прокрустовы рамки фондов и описей, то поля влекут её обретением. Пока лабораторный анализ опутывает очередной артефакт предикатами, разрастающимися вокруг него колючками живой изгороди абстрактной мысли, поле предлагает прикосновение к живому прошлому – тому самому утраченному и забытому.

Наследие номадов прорывает границы, оставляя за собой редкие сокровища. В этой точке сила образности и страсть к обретению прошлого соединяются: идеальные номады сливаются с реальными – от гуннов и мажар к Золотой Орде и далее – казачеству, эпохой которого обычно завершается исследовательское пространство самарской археологии.

Однако прародителями степных номадов всё же были амазонки.

В своём экзистенциальном путешествии из Москвы в Петушки Веничка сеет перед читателем логосы, но только ловцам снов ведомо, что логосы – это не просто слова, а глаголы: движения и действия.

Передо мной картина поволжского художника Александра Сулимова «Сон амазонки». Декоративно лубочная манера мастера оборачивается избыточностью образа, но не в его символических прочтениях, а в движениях, вырывающихся из мнимого покоя. В изгибах сомкнутых губ и век спящей девушки, в угловатых контурах её фигуры и длинных пальцах рук и ног, в словно бы разорванном вздохом одеянии – рождается не умиротворяющее обещание покоя, а продолжение броуновского движения. Движения, которое не завершается за границей сна и продолжает флиртующую игру огненно-рыжих локонов и изумрудной зелени зажатых в руках фруктов, которые сопровождает чувственный ритм дыхания в нежных и едва намеченных складках груди и живота.

Нет лучшей иллюстрации имманентного движения, первоисточника археологической страсти в её оправдании уникальности, которое возвращается всякий раз в момент соприкосновения с обнаруженным артефактом. И в дальнейшем сопутствует на том отрезке, который отделяет полевую находку от музейной описи. Рождённые для танца, но обретающие себя в сражениях мифологические красавицы, возлюбленные Тесея и Ахиллеса, улыбаются археологам всякий раз, когда последние сомневаются в присвоении артефакту штамповых качеств очередной классификации, когда боятся превратить живой логос в мёртвый предикат, дело в слово.

Страсть к обновлению, как писал один из последних на сегодняшний день диалектиков Ален Бадью, принадлежит женской части двоицы полов. Потому женственность часто становится материалом для многочисленных атрибуций, которыми никогда до конца не исчерпывается.

Вокруг этой метафоры вращаются многие научные изыскания последних десятилетий самарской археологии.

Это отказ от жёстких периодизаций прошлого в пользу приоритета хронологии отдельных находок (популярная шутка Александра Выборнова: «Не может быть никакого «развитого неолита»! Был же у нас «развитой социализм», и чем кончилось?!»).

Это сомнение в манящей завершённости модных палеогенетических концепций, на поверку оказывающихся лишь гипотезами. Если будете в Самаре, обязательно загляните в Музей археологии Поволжья (по адресу: ул. Ленинская, 123, совсем рядом с призрачным вокзалом), и в кабинете директора Павла Кузнецова на первом этаже вас ждёт множество увлекательных историй о баталиях с зарубежными исследователями на поле генетического анализа археологических находок. И шире: о борьбе с давящей целостностью модных теорий, не всегда учитывающих полевой материал.

Хазарские ловцы снов Павича олицетворяют коллективное альтер эго творческой интеллигенции в её погоне за невыраженными идеями и образами. Так и самарские читатели Павича ищут в археологии силу движения, чтобы сбе-

Музей археологии Поволжья.
Фото: автор

жать от целостности объективного времени и прикоснуться к артефакту через туман забытого. Всё дальше и дальше – в радиоуглеродный анализ, в палеогенетику и, наконец, с лёгкой руки постмодерна, в психологию самого исследователя.

Здесь амазонки, чьё название содержит частицу отрицания, знаменуют отрицание унифицирующего качества («длина, ширина, высота»), позволяя увидеть единичную вещь во всём его многообразии, ускользающем и от подминающей целостности, и от кантианской непознаваемости.

Не удивительно, что они так нужны. Свободолюбивая Меланиппа, быстроногая Аэлла, верная Антиопа и самая прекрасная из всех – Пенфесилея... Где вы?

Наверное, в пространстве сна – вместе с хазарской принцессой Атех и девушкой, к которой безнадежно мчится в электричке Веничка. В улыбке украдкой и каштановом локоне, в томящем сердце, но ещё не нашедшем выражение чувстве или, наоборот, в отточенном экзистенциальном этюде, который в одном из своих визуальных стихотворений представил известный самарский поэт Александр Уланов. Где каждое из предложений и сочетаний слов, каждая деталь внутри поэтической картины обладает своей свободой:

Волосы для заката,
живая глина, калиновая тревога.
Красный дым вокруг плеч,
твёрдые белые лепестки вокруг бёдер,
рыжие лепестки вокруг головы.
Бабочки и тени листьев

переселяются на грудь и спину.
На качелях вокруг полёта –
где не страх, а пространство...
Земля тянет к себе –
но что взрослее улыбки?
что быстрее смеха?
что растрёпаннее волос?

Александр Уланов. Из сборника «Способы видеть»

5

Если похороны – таинство, то раскопки захоронений – надежда на открытие. Всегда ли приятное? Нет, inferнальных проклятий древних захоронений всё-таки не существует (как говорил Эзедин Таха, развенчавший легенду Тутанхамона и погибший в загадочной аварии), но грозное воздаяние иногда приходит в неоправданных ожиданиях.

2017 год подарил российской (и самарской) археологии восхитительный скандал, связанный с защитой докторской диссертации курянки Инны Лобанковой, описавшей на основе трудов Карла Ясперса и Льва Гумилёва пассионарную энергетику Аркаима, наследие «эпохи героев».

Академическое возмездие было быстрым и жёстким – один из рецензентов даже пожелал отправить в эпоху героев саму соискательницу, где ей пришлось бы рожать детей далёкому от мифологического флёра герою. Но заряд попал в цель! Обличительный пафос рецензентов, вполне вероятно, скрыл страх разоблачения: на путях мистицизма Лобанкова уловила искушение, присущее археологическому мышлению – прикасаясь к находке, заключить её в неотвратимую логику чётких причин исторического процесса.

«До него было скопление причин, но оно так и осталось бы скоплением причин. С него, собственно, не началось ничего, всё только разрешилось, но без него... собственно, ничего бы и не началось»

Венедикт Ерофеев «Василий Розанов глазами эксцентрика»

Причина – чаще всего ложный огонёк в тумане забвения, который может вспыхнуть испепеляющей экзальтацией.

Уже следующий 2018 год прославил Самарскую область открытием древнейшего на планете возбудителя чумы, оставившего след ДНК в двух зубах, извлечённых из Михайловского могильника. Трудно передать эйфорию встречи: под взглядами амазонок она подарила археологам отчётливую причину хода истории вместо паутины сомнений («Добро пожаловать на историческую родину чумы! Теперь и в Самарском Поволжье есть что-то хорошее», – торжественно провозгласил местный анекдот). Вот так VI легион достиг своей цели – соединения с грандиозным величием прошлого, открывшегося через маленькую находку (два зуба...).

Опыт слишком уникальный, чтобы повторить его, не попавшись в ловушку.

Немногим позже автору этих строк довелось готовить рецензию на книгу автора биосоциальной теории культурогенеза ростовского археолога Анатолия Файферта, который считал зарёй человеческой истории существование первичных коллективов, возникающих из страха перед инцестом. Скучный фрейдистский довод, что страх инцеста требует предшествующего системного наблюдения над последствиями инцеста (а, следовательно, системы и коллектива), категорически отвергался. Теоретик возносил страх на метафизический пьедестал, посылая гневные стрелы измышлениям Зигмунда Фрейда.

Явление, в общем-то, симптоматичное в условиях триумфа романтизма: плутая на заросших тропах, которые Просвещение без особого успеха пыталось проложить в ускользающих сумерках прошлого, современная научная мысль двинулась по обманчиво-лёгкому пути, породнив артефакты и причины в метафизическом мезальянсе. Из этого семени легко воскресает идеализм, выводящий реальность из чётких, но умозрительных конструкций, откуда уже не так далеко до веры в энергии и проклятия.

А вот неуловимая Хазария становится чуть дальше.

«Что касается захоронений в Челареве, то венграм хотелось бы, чтобы это были венгры или авары, евреям – евреи, мусульманам – монголы, и никто не заинтересован, чтобы они были хазарами»

Милорад Павич. «Хазарский словарь»

Свобода от исчерпывающих, взращённых идеологиями и авторитетами объяснений, и довлеющая причинность – два полюса, между которыми проходит внутренняя эмиграция археологического сообщества, и которая, к сожалению, может завершиться, как и путешествие Венички, гибельным возвращением к исходной точке.

Диалектика пути вообще неизбывна в возвращающейся асимметрии: в акмеизме деталей, превращающихся в неуловимую атмосферу, в пафосе романтики, прорастающей лепестками юмора, в нигилизме, возвращающемся верой.

Потому есть и другая сторона этого маршрута, где творец биосоциальной теории смог бы великодушно простить грехи Фрейда.

6

Компания, собирающаяся у костра полевого лагеря, давно всем знакома по юмористическим зарисовкам. В тени барда-романтика стоит обделённый вниманием интеллект, воплощая уже фоновый, хотя в условиях экспедиции не всегда приметный, конфликт Романтизма и Просвещения, чувственности и разума.

Но у романтика всегда есть более опасный соперник, чей час приходит позднее, когда ритуалы археологического посвящения и прочие традиции позади. Это трикстер, юморист и ироник, выжигающий пафос нарастающим смехом.

Если в жизни твоей нелады,
Откопай себе костяк.
Поцелуй его (в то, что осталось)

И будет тебе ништяк!
Обними его покрепче
И прижми к себе,
А за это он споёт тебе...
Археологический блюз

Виталий Поваляев «Археологический блюз»

Станным образом эта троица остаётся друзьями! До костра научной экспедиции тоже дотягиваются религиозные скрепы и евразийские соблазны (археолог Исайло Сук из романа Павича искал в евразийских степях подтверждение библейским принципам), но хозяйственные раскопки, предшествующие многочисленным в Самаре строительным или изыскательным работам, привлекают людей правом на индивидуальность, за которым следует принятие инаковости.

Вот передо мной предстаёт давний коллега и друг Владимир Сорокин, чья удивительная внешность напоминает не столько о творчестве современного писателя, сколько о временах викингов Рагнара Лодброка (не напрасно варяжские наряды сравнивают с красочными одеяниями хиппи), а в контексте ситуации – о неповторимой индивидуальности, ценной в своих самых причудливых красках. И, может быть, благодаря ним.

«Русский лес делает невозможным русский либерализм, питаемый средой аккуратных парков», – вздыхает философ Павел Кузнецов. Но центральная Россия и её часть Самарская область – не только лес, но и пространство степей, диалектическое единство противоположностей.

«Степная меланхолия обещает разоблачение шаблонов, начинающихся не в лаборатории, а в глубоко личных чувствах и переживаниях археолога», – размышляет археолог Павел Кузнецов. А за его спиной уже выбирается из своей полевой палатки Веничка-эксцентрик, из груди которого торчат тридцать шесть томов философа Василия Розанова.

Веничка-трикстер беззлобно (но громко) смеётся над осознанным выбором «меньшего зла» литературным Павлом Кузнецовым, мечтавшем ограничить разрушительные для индивидуальности следствия прогресса созвездием обскурантов во главе с Розановым.

«Полюса поменялись местами – итак, восславим ограничение, табу, запреты, всё, что противостоит безумию свободы, воспоём гимн злу, но, конечно, не чуме и прочим романтическим редкостям [*Хотя после 2018 года почему, собственно, нет?* – Прим. С. Ф.], а совершенно обыденному, уныло-канцелярскому, которое непосредственной гибелью не грозит – лишь апатией, неврозом, неврастением...»

Павел Кузнецов «Археолог»

Ускользая от Троянской войны или мобилизации, понимаешь, что внутренняя эмиграция тождественна экзистенции. Веничка превращает направленный против Просвещения романтический выпад Кузнецова в пародию, где «ядовитый тарикашка Розанов», конечно же, не даёт «снадобья от нравственных немощей», но спасает ему (Веничке) «честь и дыхание». (Венедикт Ерофеев «Василий

Розанов глазами эксцентрика»). В пике подминающей костедробильной утопии, он не только напоминает, что выбор ещё возможен, но и указывает цель и путь эмиграции – в спасении субъективности, какие бы эксцентричные формы (вроде алкогольного примирения с Розановым), она не принимала.

Поэтому вокруг археологических костров по сей день роятся разбитые и недостижимые, но прекрасные мечты, пока где-то далеко проносятся Веничка Ерофеев или варяг с очень литературным именем Владимир Сорокин. В счастье и в горе, в удаче и неудаче. В поисках своих амазонок.

...[Мы] поплывём уверенно
К мечтам своим потерянным.
Кто открывать Америку
За Лейфом и за Эйриком.
Кто на Луну за астрами
Подобно Нилу Армстронгу

Алексей Богачёв. Из сборника «Лабиринты»

Наверное, также и Ахиллес мечтает о недостижимом счастье с Пенфесилеей.

7

Не так уж странно, что городам, как и людям, снятся сны. Ловцы снов могли бы увидеть в ночных видениях Самары границу, иссечённый фронтир.

Самаре снится граница: основанная для борьбы с казачьей вольницей, она стоит в приграничье степей, где начинается множество субъективных опытов, а объективное время раскалывается на десятки сверкающих звёзд. Их мог видеть Ярослав Гашек, подступавшийся в этих краях к роману о солдате Швейке, который однажды тоже перешагнёт границу – военной патетики. За ними следуют номады, рвущие границы культурных и хронологических атрибуций (хотя бы в наитиях философов...)

Соберём же на сцене сна, на границе леса и степи действующих лиц выше прочитанного. Пусть в окружении последних, ещё не пострадавших от чумы римских легионеров VI легиона встретятся неолитический король Александр Выборнов, литературно-археологический волшебник Павел Кузнецов, сказочник-поэт Алексей Богачёв и варяг Владимир Сорокин. Они достигли той самой забытой Хазарии, куда их привели ловцы снов, принимающие разные облики, вплоть до кочевника Венички.

Но что ждёт их здесь: между дымом костров и мелодиями ночной степи, окраинами волшебных полей и огнями спящего города, совсем близких и потерявшихся?

Может быть, ожидание финала, неотвратимо яркого, который разгонит туман забытого и соединит давнее, не закованное в атрибуции прошлое с настоящим?

«...Россыпь слезящихся огней, тусклый дрожащий свет, туманность – как будто Млечный путь упал на землю, мерцающий призрак свободы, финал, которому не суждено исчезнуть никогда»

Павел Кузнецов «Археолог»

Фрагмент картины Алексея Маркевича «Экспедиция», представленной в Музее археологии Поволжья



Нет, за отблесками конечного кроется другая мечта – сохранить себя в постоянном движении, в номадическом ускользании от удушливых шаблонов и социальных рамок. Костры экспедиций напоминают о мечтах, но, чтобы они вспыхнули, нужны амазонки. Они по-прежнему населяют забытую Хазарию, окружение принцессы Атех.

Очевидно, что таким и должно становиться окружение экспедиционной работы: свободу от исчерпывающих атрибуций археологи открывают не в артефактах, а друг в друге, в неповторимой экзистенции и товариществе.

В новых гипотезах, шутках и бардовских песнях.

В неизбывных воспоминаниях и фантастических картинках сопричастности мифу прошлого (король и волшебник, сказочник и варяг...)

И в нашей самарской огненной Пенфесилее – Ольге Пастуховой, снисходительно встречающей Ахиллеса во главе других полевых эмигрантов.

Удивительный образ красавицы с причёской цвета заката, точно пробудившейся ото сна с картины Сулимова, встречает людей, стремящихся в необыкновенную страну, где миф сливается с реальностью в бесценном обещании возможности быть собой. Рождённая для поэзии и танца, но нашедшая себя в сражениях милая амазонка, посланница женственности, воодушевляет странников этим пленительным союзом, который – так хочется надеяться! – не завершится вместе со сном и неизбежным возвращением из полевого путешествия. ■

Мир

очерки дней минувших





**Борис
МИНАЕВ**

📍 Москва, Россия

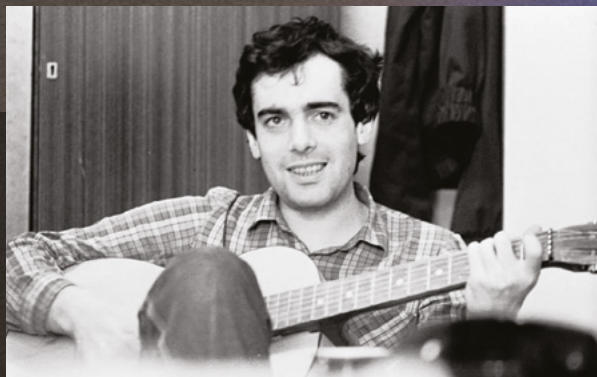


Фото: Юрий Феклистов

Писатель, журналист. Коренной москвич (1959) из семьи инженеров-текстильщиков. Слушатель ШЮЖ при МГУ.

Работал в «Комсомольской правде», «Огоньке» (зам главного редактора), журнале «Медведь» (главный редактор). Автор книг прозы: «Детство Левы», «Гений дзюдо», «Психолог, или Ошибка доктора Левина», «Ковбой Мальборо, или Девушки 80-х», «Мягкая ткань», «Площадь Борьбы» и др. Автор биографии Бориса Ельцина и соавтор биографии Егора Гайдара в серии «ЖЗЛ».

Финалист премии «Русский Букер» и «Ясная Поляна», лауреат премии журнала «Октябрь», лауреат премии «Заветная мечта» за лучшую книгу для детей и подростков, лауреат премии Егора Гайдара «За выдающийся вклад в области истории».

Разговор на «Пушкинской»

Папа и мама в 1970-е годы (то есть до смерти папы) много общались с папиной сестрой Сильвой и всей её семьей.

Мы бывали у них в гостях, они бывали у нас. Общие застолья, дым сигарет, сладкий лимонад, салаты, заливная рыба, от еды можно было уснуть, настолько её было много, и я обожал эти праздники. Из тётки-Сильвиного шкафа я таскал какие-то книжки. И только одно меня немного напрягало — с какого-то момента моя тётя стала активно интересоваться, чем именно я собираюсь заниматься в жизни после окончания школы?

Мне до окончания школы ещё было плыть и плыть, я даже не знал, сумею ли я вообще дождаться этого благословенного момента, или брошу всё и убегу из дома, настолько школа была для меня невыносима, но я угрюмо отвечал, что хотел бы писать. «А писать, это что?», — пытливо спрашивала меня тётя, закуривая очередную сигарету. «Какая это профессия? Писатель?»

— Наверное, писатель, — угрюмо отвечал я, глядя в сторону.

— Но это же не профессия... Ты же это понимаешь? — спрашивала тётя. — Может, журналист?

— Да! Журналист! — подхватывал я. Я вообще-то не представлял себе, что это за профессия. Папа в разговорах со мной исходил из того, что журналист — это скучный дяденька из многотиражной заводской газеты, который пишет «какую-то ерунду» о передовиках производства.

— А почему ерунду-то? — спрашивал я папу.

— Да потому что! — говорил папа. — Уж поверь мне!

Он был директором фабрики, и не верить ему у меня не было оснований.

— А я не буду о передовиках! — упрямо отвечал я. — Я буду ездить за границу, как в фильме «Журналист».

— А... — усмехался мрачно папа. — Ну давай. Попытка не пытка, как говорил товарищ Сталин.

— Пап, знаешь что! — но он не выдерживал этого разговора и уходил от меня.



Слава Лапшин.
Фото: Сергей Милицкий

Однажды случилось нечто важное. Пока я был в школе, тётя Сильва зашла к нам домой (я, честно говоря, не помню, зачем, наверное, просто была в нашем районе по делам) и кое-что оставила для меня.

— Вот, тут тебе тётя Сильва оставила, — сказала мама осторожно и протянула мне вырезку из газеты «Вечерняя Москва».

Заметка оказалась совсем маленькая, буквально в один абзац, она целиком уместилась в ладони, и, как я потом понял, была напечатана на последней, четвёртой, полосе, в разделе объявлений, рядом с некрологами и сообщениями о юбилеях. (Такие заметки в «Вечёрке» тогда можно было напечатать за деньги.)

*«Школа юного журналиста при журфаке
МГУ имени М. В. Ломоносова
объявляет приём абитуриентов....»*

Я вертел в руках эту газетную вырезку и не знал, что с ней делать.

— Ну ты чего насупился-то? — весело сказала мама. — Это ж твоя мечта: писать! Иди в фотоателье (требовалось принести с собой две фотографии 3 на 4), бери свидетельство о рождении и отправляйся писать сочинение. В субботу.

— Когда? — изумился я.

Мне казалось, что все эти мучительные разговоры с тётей Сильвой касаются какого-то очень далёкого будущего.

А тут суббота!

Там ещё было написано, что первый тур вступительных экзаменов — сочинение. Сочинения я писать любил (это, собственно, был практически единственный жанр, в котором я тогда выступал, другие свои опусы, однажды перечитав, я мелко порвал и выбросил в помойку). Ну сочинение, так сочинение.

...На журфаке МГУ я никогда до этого не был.

Нас завели в так называемую 102-ю аудиторию — огромный, просто какой-то невероятный по размерам (как мне показалось) зал с поблёкшим портретом Ломоносова над кафедрой, рассадили так, чтобы мы не сидели рядом и не заглядывали друг другу через плечо, и велели писать на тему: «Эхо войны».

...Вообще бывает так, что какая-то сушая мелочь, буквально какая-то ерунда — определяет всю твою дальнейшую жизнь. Так было с этой вырезанной ножницами заметкой из «Вечерней Москвы».

Она, в общем-то, решила мою судьбу. Определила её на долгие годы вперёд. Хорошо, что тётя Сильва стала читать в тот день отдел объявлений на четвёртой полосе «Вечерней Москвы» (наверное, её заинтересовали какие-то некрологи, а может, и юбилеи) — затем взяла ножницы и вырезала заметку для меня.

Там, в школе юного журналиста, я встретил свою будущую жену Асю, встретил Морозова и Иру Горбачёву (которых, в свою очередь, познакомил с Фурманом, что тоже имело большие последствия), встретил Андрея Максимова и других людей, с которыми потом уже многие годы не расставался.

В частности, встретил я там и Славу Лапшина.

Вообще школа юного журналиста при МГУ, как и другие «подготовительные курсы», была делом на тот момент очень прогрессивным. Твоё туманное будущее вдруг начинало обретать конкретные черты — ты хотя бы понимал, где этот самый журфак находится, как он выглядит, что на нём преподают, кто там учится. Что это не какие-то инопланетяне, а живые люди. Все «преподаватели» в ШЮЖе сами были студентами. Дисциплин у нас было две — «специальность» и «русский язык и литература». По русскому в нашей группе была Татьяна Спартаковна, она установила между собой и нами подчёркнутую дистанцию, разговаривала очень свысока, поскольку считала, что с нашим русским и с нашей литературой делать на журфаке МГУ вообще-то нечего. Надо сильно тянуться за знаниями, а мы вместо этого «строим шашни», курум на галерее, прогуливаем занятия и вообще делаем чёрт знает что. Будучи сама ещё юной студенткой, Татьяна Спартаковна чувствовала себя уже настоящим преподавателем.

По «специальности» у нас был Слава Лапшин.

Он, как правило, вообще ничего не рассказывал. У него была такая особенность — совершенно свободный и раскованный в разговоре один на один, он довольно стеснённо чувствовал себя на публике.

Поэтому Слава или просто писал на доске тему эссе и ждал, пока мы все свои опусы напишем и сдадим листочки, либо приводил кого-то «со стороны», который разбирал эти сочинения вместе с Татьяной Спартаковной (она разбирала ошибки, а «кто-то» — содержание). Или же он приводил какого-то журналиста, который нам рассказывал, как устроена, к примеру говоря, редакция газеты.

И как правило, это были интересные люди.

По «специальности» иногда бывали лекции для всего потока — нас опять собирали в 102-й аудитории под неяркими люстрами и блёклым портретом Ломоносова. Туда приходил такой Иосиф Дзялошинский, например, и рассказывал о социологии. Начал он, правда, с трудов молодого Маркса — он так и сказал: «молодой Маркс», тогда я впервые осознал, что Маркс тоже был молодым и мог, по идее, писать какие-то интересные вещи. Дзялошинский пересказывал нам всякие важные книжки — Юрия Давыдова, например, говорил про «новых левых» на Западе и про социальные страты.

Я пытался запоминать, записывать, но голова моя была устроена таким образом, что вся эта машинерия мысли, которая так и пёрла из маленького уве-



Ярусы журфака на проспекте Маркса (Моховой), 1971 (1972?).
Фото: Игорь Гаврилов (ФБ-страница фак-та журналистики МГУ)

ренного в себе Дзялошинского, меня как-то обтекала, и я вновь проваливался внутрь себя.

Я пытался привыкнуть к самому пространству и к людям вокруг. К этим девочкам и мальчикам, как и я, 1959 года рождения, которые осоловело что-то писали, что-то слушали после длинного школьного дня и пытались распознать эти смыслы сквозь тоску и глухоту позднего вечера в советской Москве, которая очень рано засыпала и рано вставала.

Журфак, вот это знаменитое здание на Моховой, в те годы, мне кажется, был особенно прекрасен — весь в советских лозунгах и портретах, в стенгазетах, какой-то совершенно нищий, с этими сиротскими туалетами и буфетами, обшарпанной мебелью и давно не крашеными стенами, о ремонте было нечего и мечтать — вот именно благодаря этой внешней защитной плёнке он сохранял внутри себя нечто, что было так осязаемо и живо, так плотно и ясно, что это «нечто» — этот дух университетской свободы, не побоюсь высоких слов, — можно было буквально потрогать, пощупать или вдохнуть.

Да и само здание, с этой царской лестницей, огромными колоннами, балюстрадами, невероятными потолками и бесконечными коридорами — рождало ложное ощущение, что ты уже здесь, что ты уже пришёл, и вот это давало какую-то внутреннюю опору.

Вообще же мы, девочки и мальчики 1959 года рождения, не очень верили во все эти красивые слова, были осторожны и всего стеснялись.

Одетые разношёрстно, в пиджаках и свитерах, девчонки в чёрных колготках, коротких юбках или джинсах — мы сидели и внимали нашим юным преподавателям, пытааясь уловить в их словах своё будущее.

...У Славы Лапшина была такая интересная особенность — остановив тебя на знаменитой балюстраде, он мог зависнуть там на полчаса, на час, а то и на два.

Люди начинали как-то забываться и, вдохновлённые вниманием Славы, рассказывали ему всю свою жизнь.

Я помню, как ловил себя на странной мысли: вообще-то мне уже давно пора ехать домой, время к одиннадцати, а я всё говорю и говорю что-то несусветное, а Слава слушает и слушает, наклонив свою слишком большую рыжую голову.

Выглядел он и правда немного странным: небольшого роста, с короткими спортивными ногами борца, огромной непропорциональной головой. Слава в детстве очень тяжело болел, и спорт в прямом смысле спас его от инвалидности. Спорт был его страстью, впрочем, такой же страстью была литература, журналистика, он с удивлением узнал, что я никогда в жизни не читал Анатолия Аграновского, и притащил мне целый том его статей, очерки, действительно, были занятные, этот обозреватель «Известий» был кумиром целого поколения журналистов. Хотя, в общем, антисоветчиком его назвать было трудно, но некая фронда в его экономических очерках, довольно скучных по теме, всё же была, а главное, они были написаны замечательным лёгким языком. Впрочем, Слава мог притащить в своём портфеле и кое-что посерьёзней Аграновского — самиздат, редкие книги, которых было просто так не достать, одним словом, он погружал тебя в атмосферу неспешного, подробного разговора, из которого было уже не выбраться. Секрет был в том, что Слава не говорил сам или говорил мало, но он выуживал из тебя твои мысли, самые важные. И это было очень странно.

...Слава знал на журфаке, казалось, всех. Здравовался с каждой уборщицей, с каждым преподавателем, запросто заходил в деканат, на любую кафедру, в любое время дня и ночи. И его тут все знали тоже. Хотя он был просто студент.

Занятия в школе юного журналиста заканчивались около девяти вечера (официально), здание стремительно пустело, там оставались только самые последние, героические преподаватели и студентки вечернего отделения и мы со Славой. Мы заглядывали в пустые аудитории, сидели на богом забытых лестницах, пытались найти дверь на чердак, спускались в подвал...

Как я узнал потом, уже поступив на первый курс, среди преподавателей журфака были всамделишные знаменитости, гениальные, но чудаковатые профессора, о некоторых из них впоследствии были написаны целые поэмы в прозе: Кучборская, Бабаев, Рожновский, Калинина, Розенталь, все эти имена я впервые услышал от Славы. При этом на журфаке всё было по старорежимному строго — выставить за провинность могли в любую секунду, как при Николае I.

Но всё это я узнал потом.

...В каком-то смысле Слава сам был душой журфака. Не самый талантливый автор и не самый яркий общественный деятель, он обладал вот этим даром любви — к студентам, преподавателям, их привычкам, к тому, что составляло воздух и образ жизни этого заведения, от бледных сосисок в буфете до самых диссидентских лекций и книг.

Порой нам не хватало времени, и мы выходили на улицу. Может быть, это был единственный в моей жизни человек, который умудрялся больше слушать, чем говорить, может быть, именно от Славы я и научился этому. Мы стояли посреди сутробов возле памятника Ломоносову и продолжали что-то об-

суждать. Неподальёку мерцал Кремль, не страшный и не официозный в этот час, совершенно пустая в ту пору вечером Москва, с редкими троллейбусами – грандиозный город, совсем не знающий своей близкой судьбы и мирно дремлющий на морозе.

О чём я ему рассказывал? Не помню...

Мой внутренний мир был не так уж богат в то время — я говорил ему о том, как мне плохо в школе и как хорошо на журфаке, что я хотел бы писать не только статьи, но и рассказы.

— О чём? — спрашивал меня Слава.

— О чём-то... — уклончиво отвечал я.

Что мы обсуждали часами? Да всякую всячину. Как странно стоять и просто болтать рядом с Кремлём, как глупо думать о великой карьере, когда ты ещё не сделал даже первых шагов, о футболе, о наших ребятах в ШЮЖе.

После этих разговоров я себя чувствовал опустошённым и в то же время как будто немного приподнимался на цыпочках. Внимание взрослого человека (а Слава казался мне вполне взрослым) было лестным.

Славе было всё интересно: в ту пору я стал ходить к клуб при редакции «Комсомольской правды», познакомил его со своими друзьями, и он даже пару раз появился на наших домашних посиделках.

Есть такая серия фотографий — в темноте при свечах, там наши лица, освещённые этим странным светом, и среди них Слава со своей удивительной полуулыбкой. Он всегда вот так улыбался, как будто оставался чуть вдалеке.

В ШЮЖе у меня была странная репутация.

— Ты всё время приходил в каком-то одном и том же свитере, совершенно не следил за своей одеждой, странно себя вёл, все думали, что ты наркоман, — сказала мне значительно позже одна девушка.

Но я ей не поверил. Ну какой из меня наркоман?

...Конечно, я немного стеснялся Славы. Его внимание казалось мне даже каким-то неестественным, но успокаивало то, что точно так же — и даже гораздо дольше — он мог проторчать на балюстраде с кем-то другим (и таких людей было довольно много), точно также теребя его за пуговицу.

Дурацкий жест, как будто из кино.

Со Славой связана ещё вот какая история.

Однажды двое моих близких друзей позвали меня «серьёзно поговорить» на станцию метро «Пушкинская». Всё в этой книге относительно документально, но разговор был такой, что не буду называть их по именам — просто «друг» и «подруга».

...Я ещё удивился выбору места. В стоячие кафетерии мы не ходили, там было как-то очень бедно, голо и неприятно, нормальных заведений для нормальных людей ещё не существовало, сидеть обедать в ресторане нам было не по карману. Приглашали обычно домой или погулять. А тут — метро.

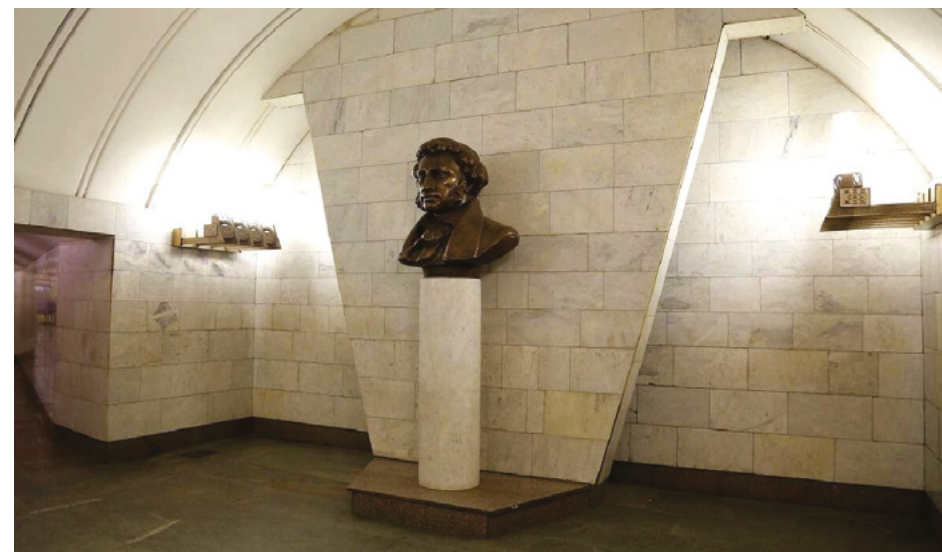
Я пожал плечами и приехал.

— А ты знаешь, кто такой Слава? — спросил меня друг.

Я посмотрел сквозь толстые стёкла его очков.

— Нет. А что я должен знать?

Бюст Пушкина на «Пушкинской» в наши дни.
Фото: сайт «Город для жизни Москва» (yamoscow.ru)



— Слава, вполне вероятно, работает в КГБ, — сказала подруга. — Мы просто хотели тебя предупредить.

Вообще долго разговаривать в метро не очень приятно. Приходится страшно орать, перебивая механический грохот. Голос быстро садится.

Разговор был вязкий, с долгими паузами.

— Ты просто не понимаешь, о чём ты говоришь! — орал друг. — Это не шутки! Пойми, могут пострадать все!

Они повторяли снова и снова свой главный аргумент:

— Он однажды подошёл к Морозову и сказал: «А хочешь, я позвоню в КГБ? Вот по этому телефону?» И показал ему какую-то бумажку с номером.

— Ты должен прекратить с ним все контакты! — кричала подруга. — Все!

Тогда, как вы понимаете, не было никаких мобильных телефонов. Звонили, если не из дома, то из телефонных автоматов, бросая монетку (двушку – две копейки, а позднее, в 90-е, жетоны). Это была такая игра: позвонить из автомата такому-то. Позвонить Окуджаве, Вознесенскому, в приёмную ЦК КПСС.

Их аргумент меня почему-то развеселил.

Зачем показывать телефон КГБ, если ты и вправду на них работаешь? Ясно же, что это такая игра.

— Это игра, вы что, не понимаете? Просто какая-то чушь. Не будет осведомитель никому показывать телефон!

Подруга замолчала и сделала страшные глаза.

Я лихорадочно попытался вспомнить, что в поведении Славы было действительно подозрительным. Но ничего вспомнить не мог.

То, что он ко всем подходит, со всеми разговаривает? Но это его характер!

Он живёт жизнью других людей, я давно это понял...

Слава был рыжий — у него даже ресницы были рыжие, рыжие волосы на большой голове, рыжие волосы на руках, веснушки. Он говорил очень тихо, как будто стеснялся своего голоса.

Да, он знал всех, ну и что? Он был, как я уже говорил, своеобразным духом журфака, его особым привидением, неужели это непонятно?

Меня стали душить слезы. Я ничего не мог сказать толкового.

К моменту этого нелепого разговора я уже, кажется, поступил, был студентом. Учился на первом курсе. Какие-то вещи стали до меня доходить.

К нам на журфак приходил такой чувачок с потёртой папочкой или иногда с авоськой. Оттуда он доставал самопальные тонкие книжечки (на папиросной бумаге, в цветной, тоже бумажной обложке, на скрепке) с запрещёнными стихами Ахматовой («Поэма без героя»), Цветаевой («Белая стая»), Пастернака («Стихи из романа»), Гумилёва, Мандельштама, Клюева, словом, всё, что было тогда ещё запрещено. И продавал эти тонкие книжечки страшно дорого. Рублей по пять. Иногда по семь.

Вот этот чувачок мне казался действительно подозрителен. Приходил он таким образом на журфак уже много лет, открыто стоял в коридоре и впаривал свой самиздат. Что за охранный грамота у него была? Я пару раз у него тоже покупал. Очень уж хотелось прочитать.

Был в нашей 101-й группе – состоявшей целиком из вчерашних школьников – взрослый парень, давно отслуживший в армии, окончивший «рабфак» – очное подготовительное отделение для тех, кто после школы поработать успел, в армию сходить (на «рабфаках» московских вузов учились, как правило, иногородние), член партии. Вот при нём совершенно точно нельзя было вести подозрительных или опасных разговоров — ни про преподавателей, ни про журфак, ни в целом про советскую власть. Об этом меня предупредили. Валю (так его звали) чуть ли не каждый день вызывали в партком и о чём-то там с ним строго беседовали.

Я много раз слышал от своих друзей про КГБ, про стукачей, про вербовку, но все эти понятия были для меня в большей степени мифологическими. Какое они имели отношение ко мне, к Славе? Да никакого.

В поведении Славы ничего не было для меня подозрительным. Просто это был такой человек...

— Он просто такой человек! — заорал я наконец. — Кто распустил этот мерзкий слух?

— Это не слух, — сказала подруга.

— Я не верю, — сказал я устало. — Чего вы от меня-то хотите?

— Перестань с ним общаться.

— Нет, не перестану.

— То есть ты такой добрый? За счёт нас, за счёт других?

— Я не знаю, что говорить.

— Ладно, — сказал друг. И они с подругой повернулись и ушли, не прощаясь.

Я не знал, нужно ли мне сообщать Славе об этом разговоре, о чём-то вообще его спрашивать. Решил ничего не сообщать и ни о чём не спрашивать.

Слава окончил журфак, работал в многотиражной газете большого автокомбината (она называлась «За доблестный труд»), а я ещё учился. Он предложил мне писать стихотворные подписи под фотографии, я написал парочку — чтение тонких книжечек не прошло даром (не чтение Пастернака и Ахматовой, конечно, а тех, что я покупал в «Доме книги» на Новом Арбате — Винокурова, Слуцкого, Самойлова, Левитанского, то есть то, что можно было купить).

...Мы с ним стали встречаться реже.

Но я по-прежнему мог, вдруг встретив его, часами рассказывать о себе. Жизнь моя теперь наполнилась событиями, хотя на журфаке без Славы я чувствовал себя странно — как в каком-то заколдованном лесу, где ничего по большому счёту не понимал.

Главным содержанием этих лет был сам журфаковский воздух. Пронизанный светом, голосами, цоканьем женских каблучков, шуршанием книг — от него кружилась голова. Единственным местом, где я чувствовал себя спокойно (помимо пустых аудиторий, куда иногда можно было зайти в неурочный час и насладиться тревожной тишиной) — был буфет.

Там иногда продавали индийский растворимый кофе из коричневой банки. Буфетчица строго отсыпала две ложки и заливала стакан кипятком. Если был какой-нибудь коржик или сосиски, значит, день удался. Не будешь ходить голодным до вечера.

Я стоял, пил кофе, болтал со случайными девочками или просто смотрел в стену. Я вспоминал Славу. Теперь мне было бы что ему рассказать, но у него как-то вдруг разом пошла своя жизнь.

Меня пытались исключить за курение в коридоре и за то, что я «гасил сигарету о деревянную панель» (декан Засурский страшно боялся пожара), но не исключили до конца, вступилась кураторша нашего курса, и отстояла нас вместе с Дубровским, я ездил на картошку, женился на Асе, и теперь мы жили в коммуналках, я нервно и тяжело сдавал сессии, наконец, сам стал преподавать в Школе юного журналиста — вот где мы могли бы встретиться со Славой, но и там он стал появляться не так часто.

Помню, как Слава приехал ко мне домой, долго сидел и слушал про мою новую жизнь. Было странное чувство, что он вернулся. Но не навсегда.

Сейчас, когда, как в старых советских фильмах, падают бомбы и люди прячутся в подвалах, твоя прошедшая жизнь кажется тебе извилистой небольшой рекой. На берегах стоят люди, но вообще-то они — эти берега — всё больше заволакиваются каким-то туманом. Сквозь этот туман появляются лица, обрывки слов, но всё же туман проникаем — просто нужно прищуриться.

Слава иногда прищуривался, пытаясь разглядеть моё будущее.

— А ты хочешь иметь кошку или собаку? — однажды вдруг спросил он меня.

— Не знаю! — честно признался я.

— Ну ничего, узнаешь потом когда-нибудь... — улыбнулся он.

Он первый заметил, что я постоянно стою где-то рядом, когда он разговаривает с Асей или принимает у неё экзамен, в Школе юного журналиста.

— А чего он тут делает? — спросил он её искренне.

— Не знаю! — засмеялась она.

Слава всё про нас понял, когда ещё ничего не было.

Потом мне позвонила рыдающая Машка Агаянц.

«Как умер?» — тупо спросил я.

«Утонул!» — она долго не могла говорить, глотая слёзы.

Слава очень хорошо плавал и забрался слишком далеко во время мощного отлива. Хотел понравиться девочкам, наверное. Это было, кажется, в Анапе,



Слава Лапшин (слева) в кругу друзей (Ольга Мариничева, Александр Фурман). Конец 1970-х.
Фото: из семейного архива автора

там находился дом отдыха МГУ. Туда можно было достать бесплатную путёвку.

Я шёл по улице Правды, стояла ранняя осень, кругом ещё всё было в зелени, но дул такой холодный неприятный ветер. Я не мог представить Славу мёртвым, его тело, с рыжими волосами, лежащее на галечном пляже, заброшенную голову, откинутую руку.

...За пару лет до этого у меня умер отец. Умер очень рано, в сорок девять лет.

Я много раз об этом пытался писать: в романах, статьях, рассказах — но до сих пор не могу сформулировать (и никогда не смогу), как это на меня, на маму, на брата повлияло. Само мироздание стало уже, теснее, у меня что-то навсегда поменяли внутри.

Сам этого не осознавая, я стал другим человеком.

Но это была другая смерть — в любом случае, папа — это что-то вроде бога, он управляет целой вселенной. А ты в этой вселенной лишь маленький человек. Отец умирал долго, меня постоянно душили слёзы — ехал ли я в метро, сидел ли на занятиях, это была длинная и тяжёлая история.

Но я отрыдался. И стал жить заново.

Со Славой было как-то иначе. Это была первая смерть среди моих друзей. Просто вдруг умер один из нас. Это было очень странное чувство, как будто умер ты сам — верней, не умер, а как бы это сказать, ты понял, что вот также можешь уйти в любой момент. Трещина росла, из тебя что-то как будто вытекало, и я не знал, что с этим делать. Слава открыл мне истину взрослого человека — всё непрочное. До этого я никогда не задумывался о смерти вот так. И мир был прочным — именно до этого момента.

Я помню, как мы с Асей пришли к нему домой на поминки. К его родителям. Он жил от нас недалеко, возле метро «Преображенская».

Квартира была совсем маленькая, крошечная двушка.

Очередь в подъезде была с первого этажа на четвёртый — чтобы попасть в квартиру и просто немного постоять у стола. Пришли десятки людей. Мне показалось, не меньше ста.

Я сразу ясно вспомнил, что Слава был духом журфака, да и вообще его многие очень любили. Мы с Асей встали в хвост очереди и, медленно шаркая, стали подниматься — на второй этаж. На третий. На четвёртый. Люди в полной тишине подходили к столу, где сидели окаменевшие старенькие папа с мамой, и что-то шептали. Мы прошептали тоже.

Родственники тихо нам говорили:

— Ну вы посидите, ребята! Съешьте что-нибудь!

Но сзади подпирала очередь, и все понимали, что люди, стоящие на всех этажах, тоже ждут, чтобы войти.

Мы спустились. Очередь по-прежнему стояла с первого этажа.

Но ещё до этого были похороны.

Славу хоронили на Немецком кладбище, на новом участке. Лил дождь. Друзья несли гроб, мы подошли к могиле, Ася раскрыла зонтик. Я вспомнил папины похороны, стало больно, я отвернулся.

В этот момент я почему-то вспомнил тот старый разговор на «Пушкинской», в метро.

Этот дурацкий разговор, эти слухи все давно забыли. Ничего этого к Славе не прилипло. И не могло прилипнуть. Он был чистый и правильный человек. Но я вдруг задал себе вопрос — а было ли это для меня важно, ну вот даже если Славу действительно пытались завербовать? Имеет ли это для меня значение?

И понял, что никакого.

Но в то время это была важная тема. Сейчас она вновь набирает вес.

Сейчас, когда «органы» снова в большой силе и в большом почёте, вновь наступает время доносов. Люди будут стучать. Но с другой стороны — зреет и ответ. На очередном витке истории (не знаю, увижу я это своими глазами или нет) — наступит время очередного очищения. Начнут публиковать данные не только сталинских палачей или тех следователей, которые «вели» диссидентов в брежневское время. Но и новых, тех, кто проходит в документах КГБ, ФСБ, как завербованные люди. В основном по принуждению. Вновь возникнут все эти истории, основанные порой на одних слухах. Люди начнут снова показывать друг на друга пальцами.

Что я об этом думаю?

Речь идёт, во-первых, о жертвах системы. И во-вторых, очень часто — всё это ложь. Часть большой игры.

...А по тому журфаку я, конечно, очень скучаю.

Сейчас там всё хорошо. Охранники на входе, вкусные бутерброды в буфете, аудитории оборудованы и отремонтированы. Нет советских дурацких лозунгов.

И ещё чего-то нет. Может быть, просто меня там нет. В этом всё дело. А может, кого-то ещё. Например, Славы. С его большой рыжей головой.

И странной блуждающей улыбкой и тихим голосом. И вот этим жестом — когда человек теребит тебя за пуговицу, пытаюсь что-то понять. ■

Mm

memoria



ММ

Надежда АЖГИХИНА

📍 Москва, Россия



Фото: Лидия Григорьева

Журналистка, писательница, автор и составитель книг прозы и публицистики, автор сценариев документальных фильмов.

Член Союза российских писателей. Директор ассоциации литераторов ПЭН-Москва.

ММ

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

05.05.1932–17.02.2023

📍 Киев, Украина (СССР) –
Москва, Россия

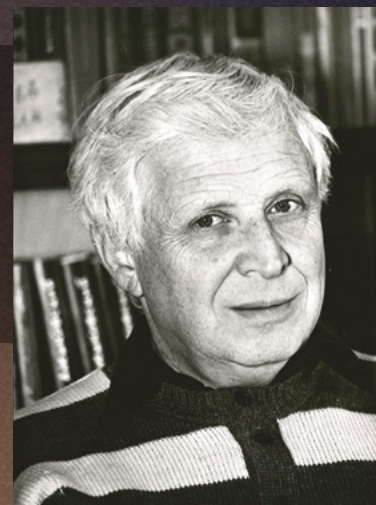


Фото: Тофик Шахвердиев

Писатель, публицист, драматург, педагог.

Начало творчества выпускника Литинститута совпало с хрущёвской оттепелью. В прозе самым известным стал роман «Остановиться, оглянуться...», написанный в 1960-е годы. Сам же Жуховицкий лучшим своим произведением считал пьесу «Последняя женщина сеньора Хуана», а самым успешным – книгу «О любви». Тиражом в 185 тысяч она вышла в Швеции. Всего же произведения Жуховицкого – более 40 книг, 15 пьес – переведены на 40 с лишним языков. Пьесы поставлены в России и за её рубежами.

Лауреат нескольких российских и международных литературных премий. Секретарь Союза писателей Москвы. Профессор Московского международного университета и Шведской писательской школы. На журфаке преподавал курс «Писатель за 10 часов».

Надежда АЖГИХИНА

Последний шестидесятник

Памяти Леонида Жуховицкого

Остановиться, оглянуться
Внезапно, вдруг, на вираже,
На том случайном этаже,
Где вам доводится проснуться.

Ботинком по снегу скребя,
Остановиться, оглянуться,
Увидеть день, дома, себя
И тихо-тихо улыбнуться...

Ведь уходя, чтоб не вернуться,
Не я ль хотел переиграть,
Остановиться, оглянуться
И никогда не умирать!

Согласен в даль, согласен в степь,
Скользнуть, исчезнуть, не проснуться –
Но дай хоть раз ещё успеть
Остановиться, оглянуться.

Эти стихи Александр Аронов посвятил Леониду Жуховицкому в середине 1960-х. Стихи стали знаком эпохи, точно так же, как и роман (сегодня его назвали бы культовым) «Остановиться, оглянуться...». О дружбе, о личном выборе, о долге, о журналистах и журналистике, он привёл в профессию сотни молодых людей, которые верили в силу честного слова и стремились сделать жизнь справедливее и чище. Спектакль по мотивам романа «Верхом на дельфине» шёл в театрах страны долгие годы, в одном театре имени Гоголя – более полутысячи раз. А первая строчка Ароновского стихотворения до сих пор – один из самых частых заголовков газетных и журнальных публикаций...

Начало 1980-х. Руководитель семинара молодых прозаиков.
Фото: из архива Екатерины Сильченковой



...От других руководителей творческих семинаров для молодых прозаиков под эгидой Московской писательской организации, куда я пришла в 1979 году, на втором курсе журфака, Леонид Аронович отличался невероятной щедростью. Приглашал нас всех на премьеры своих спектаклей, обсуждения в Политехническом и на других московских площадках, на концерты друзей-бардов. Буквально гнал в редакции самых разных журналов, с радостью присоединялся к нашим неформальным посиделкам, даже чтениям запрещённой литературы, многих авторов знал лично. Говорили мы не только о сюжетах и композиции, наших текстах и новеллах классиков, но буквально обо всём – о похоронах Высоцкого, о Трифонове и Катаеве, о строителях БАМа, о которых он снял документальный фильм, о конфликте поколений, о дружбе, которую он-то ставил выше любви. Приводил на семинары друзей – поэта Вадима Черняка, Анатолия Приставкина, Бориса Васильева... Именами друзей называл улицы в своих повестях, цитировал их и постоянно говорил о них – Белле, Фазиле, Толе, Роберте, Алле, Жене, Володе, Тане....

Его трудно было назвать в полном смысле слова диссидентом, но он определённо был человеком удивительной внутренней свободы. И в текстах, и в жизни он стремился не только исповедовать, но и проповедовать некий кодекс чести, оформившийся в послевоенной литинститутской среде, в наэлектризованном ожиданиями и надеждами воздухе «оттепели». Кто-то из критиков назвал его «Мистер Парадокс». Действительно, умел мастерски обострить любой сюжет. А также – назвать новое явление, новый нарождающийся смысл... При этом регулярно напоминал нам о законах технологии, и о том, что позже стали называть монетизацией.

«Главный закон драмы: первое действие должно быть понятным, последнее – коротким».

«Публицистический очерк или статья – это восхождение на вершину и радостный спуск, может быть и две, и три вершины, но не лес и не болото».

«Газетные тексты не живут один день. Делай книгу из хороших текстов, она будет нужна долго».

«Требуйте гонорара за каждый опубликованный отрывок, не соглашайтесь с правкой, трудный автор вызывает уважение».

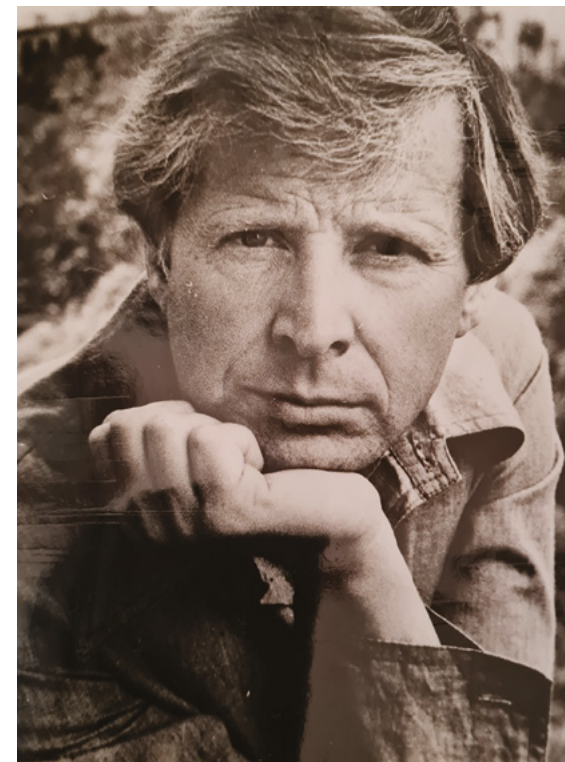
«Если в повести или пьесе у меня не будет постели, страсти, столкновения, она для меня не существует».

Радовался нашим первым публикациям, торопил, писал предисловия и рекомендации... Скандалы тоже любил, считал, что это фактор развития. Гордился тем, что с его подачи я, студентка-пятикурсница, напечатала в «Журналисте» статью под названием «Посвящение в дилетанты» о том, что студентам недостаёт практики и знакомства с жизнью, меня чуть не выгнали с «волчьим билетом» за неуважение к Красной площади и партийно-советской печати. Обошлось. В 1991 году, после революции в Союзе писателей под руководством Евтушенко, Жуховицкий практически весь наш семинар рекомендовал в СП. Наша «команда» – Рада Полищук, Дима Стахов, Антон Молчанов, Света Свистунова, Сева Кодолов, Люда Майнунг – мы все последующие годы с ним советовались о наших новых текстах и о жизни, о новых проектах и сомнениях, он во всё вникал, вчитывался, вслушивался, поддерживал... Для нас его роман был квинтэссенцией «шестидесятничества», того будоражащего, набухающего жаждой перемен мира, который во многом определил и наши жизненные ориентиры.

В заметках к очередному юбилею Жуховицкого Дмитрий Быков написал, что рядом с монументальными сверстниками и собратьями по цеху он удивительным образом не кажется забронзовевшим патриархом, дедушкой или отцом – но скорее старшим братом, с которым можно запросто поговорить обо всём, ничего не стесняясь. Это правда. Нам всем, его ученикам, невероятно повезло.

Леонид Жуховицкий – последний из легендарного поколения шестидесятников, которому он посвятил одноимённую книгу, одну из своих последних. Сын «оттепели», друг и однокашник Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского, Беллы Ахмадуллиной, Фазиля Искандера, Анатолия Приставкина, Владимира Войновича, Феликса Светова, Зои Крахмальниковой, многих других, ставших уже легендами. Сам живая легенда. Прозаик, драматург, публицист, автор четырёх десятков книг, многие переиздавались неоднократно. Пьесы были переведены на десятки языков и шли на сценах самых разных стран (лучшей он считал позднюю пьесу «Последняя женщина синьора Хуана»). Кира Муратова сняла по его сценарию фильм «Короткие встречи», в котором дебютировала в кино Нина Русланова, играли Владимир Высоцкий и сама Кира. В 1960-х подписал письмо в защиту Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Через двадцать с лишним лет, в годы перестройки, участвовал в создании демократической пи-

1980-е.
Фото: из архива Екатерины Сильченко



сательской ассоциации «Апрель». Его статьи в «Литературной газете», «Новом мире», «Юности», в десятках других изданий становились событиями, на встречах с ним в аудиториях страны разгорались жаркие дискуссии о жизни и литературе, без них совершенно невозможно представить атмосферу предшествующих перестройке лет. Именно в этой атмосфере и рождались и оттачивались главные тезисы будущего «нового мышления», готовилась почва для перемен. Поколению «оттепели» принадлежала в этом движении решающая роль.

«Нашему поколению в Литинституте фантастически повезло, примерно 30–40 процентов из нас были вчерашние школьники, остальные – вчерашние солдаты. И от них мы узнавали правду о войне... Мы чувствовали себя, конечно, пацанами рядом с этими ребятами... То, что мы видели вокруг, не соответствовало идеалам революции, как мы её понимали. Для нас это была борьба за справедливость, борьба за народ... В революции, в декабристах было много жестокого. Но был и безусловный идеализм. То есть готовность отдать очень много, а если придётся, то и жизнь, во имя идеалов, свободы, человеческого братства. Мы себя называли “ранние христиане”... Не было какой-то творческой ревности к другим талантливым людям. И постепенно сложился такой круг – тех, кого потом стали называть шестидесятниками. Практически все между собой дружили, старались поделиться всем, что узнали... Бюрократия душила, она была очень жёсткой. Но что-то всё же удавалось...».

Несколько лет назад мы с Леонидом Ароновичем записали беседу о его свер-



1996. Лауреат премии «Огонька», с замглавного редактора Александром Щербаковым и сотрудницей журнала Людмилой Станкевич. Фото: из архива Екатерины Сильченковой

стниках. Он мучительно переживал их уход, особенно последних – Фазиля Искандера, Кирилла Ковальджи, Евгения Евтушенко. Мы, ученики, не могли восполнить этой утраты.

«Сейчас, когда Женя умер, я подумал, что во всём, что он делал, была высочайшая порядочность. Такое старомодное слово... Когда сейчас говорят о каком-то братстве, я вспоминаю слова Саши Городницкого: “Родство по слову порождает слово, родство по крови порождает кровь”. Сейчас слишком много говорят о родстве по крови. А гораздо важнее родство по слову...»

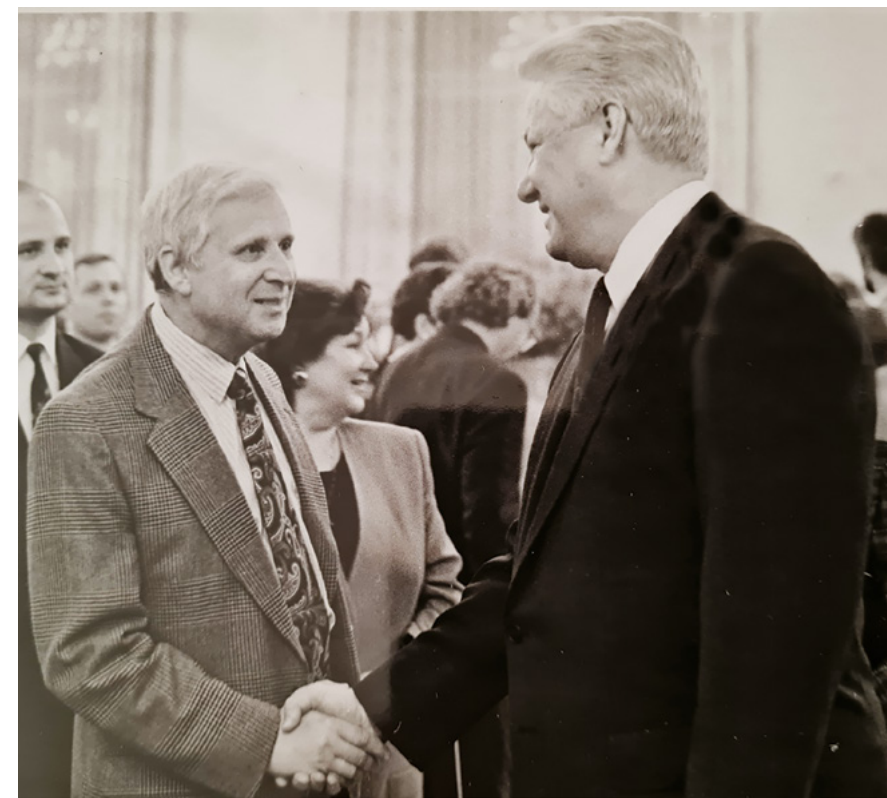
Переживал, что многие надежды не оправдались. Но сохранял безоговорочный оптимизм, веру в победу здравого смысла, правды, добра...

«Я думаю, что шестидесятники сделали всё, что могли. Мы умнели вместе со страной... Помогали умнеть друг другу и нашим читателям. Сейчас иногда говорят, что шестидесятники потерпели неудачу. На самом деле даже те, кто это говорит, все эти милые люди, могут говорить всё, что думают. И могут это делать только потому, что были шестидесятники».

В середине 2000-х я привезла на дачу к Жуховицкому в писательский посёлок Красновидово издателя и главного редактора замечательной независимой газеты «Деловой вторник» Фёдора Сизого. Они сразу друг другу понравились, и Фёдор предложил ему, а также зашедшему на чай Аркадию Ваксбергу, вести соб-

ственные колонки в газете. Общий тираж выпусков «Вторника» (колоннистами были лучшие журналисты «старой» «Комсомолки»: Павел Гутинтов, Леонид Репин, Акрам Муртазаев и другие) приближался к показателям советского времени, прежде всего потому, что московское издание выпускало как еженедельные специальные вкладки огромное число региональных газет, по вторникам у киосков и редакций выстраивались очереди, как в годы перестройки... Леонид Аронович стал писать чаще всего о своих друзьях, публикации имели оглушительный успех и вскоре сложились в книгу «Шестидесятники», где помимо заметок были опубликованы известные стихи знаменитых поэтов в первой авторской редакции, до издательской правки, такими, как их запомнил автор. Книга стремительно разлетелась. Последние несколько экземпляров мы со Светой Свистуновой привезли на творческий вечер Жуховицкого в Хайфу в 2015 году. История самого вечера, кстати, вполне в духе Жуховицкого. Он гостил у детей в Хайфе, несколько месяцев. Как-то позвонил и сказал, что хорошо бы организовать тут что-то вроде встречи с читателями, поговорить. Рада Полищук (в то время издатель российско-израильского альманаха «Диалог») подсказала контакты местного Союза писателей, который немедленно откликнулся, а мы со Светой привезли из Москвы экземпляры «Шестидесятников» и последнего сборника публицистики «Жизнь в сумерках». Был полный аншлаг! В зале негде было яблоку упасть, Жуховицкий блистал, вопросы не иссякали... Книг, конечно, не хватило.

Герой вечера остался доволен.



1999. С президентом России Борисом Ельциным на юбилее «Огонька». Фото: из архива Екатерины Сильченковой



2009. На фестивале СМИ в Дагомысе с Федором Сизым (слева) и «Золотым пером России» публицистом Павлом Гутионтовым (в центре). Фото: из архива Екатерины Сильченко

Публицистическое наследие Жуховицкого, бесспорно, ещё ждёт своего исследователя. Не только как образец жанра, но и как важнейший камертон – он подмечал и высвечивал новые настроения, противоречия, перемены в общественном восприятии жизни. В отсутствие актуальной политической дискуссии многие писатели и публицисты обращались к проблемам образования, культуры, психологии, взаимоотношения поколений. Немало писателей концентрировались на жанрах очерка и статьи. Публикации Жуховицкого вызывали неизменно шквал писем. Статьи «Стоит ли прожигать жизнь?», «О чёрном хлебе, о белом хлебе», «Помоги своей судьбе», «Докажите ценность любви» обсуждали недели и месяцы, редакции получали мешки откликов (письма в конвертах, об Интернете тогда и речи не было). Его тексты не только высвечивали проблемы, они противостояли бюрократии и лицемерию, начётничеству и идеологическим штампам, отстаивали ценность человеческих чувств и стремления к совершенству, солидарных усилий, которые могут сделать жизнь лучше... Вера в то, что слово может сделать жизнь лучше, у него была абсолютной.

В 1990-е придумал уникальный проект «Золотое перо», в котором принимали участие ведущие писатели страны, они писали короткие тексты, не более тысячи слов, их совершенно бесплатно печатали десятки газет. До сих пор журналисты, преподаватели, бывшие читатели из самых разных городов помнят, как ждали публикации любимых писателей и их мнения о происходящем в стране и в мире. В 2000 году мы вместе с Жуховицким составили сборник, основанный на этих публикациях, «В России что-то происходит».

Последние годы Леонид Аронович провёл в Красновидово. Внимательно сле-

дил за новостями, смотрел «Дождь» и радовался, когда видел внука своих друзей Феликса Светова и Зои Крахмальниковой Тихона Дзядко, других молодых журналистов. Верил в них. Был рад выходу нового сборника в «Худлите», в который вошли роман «Остановиться, оглянуться...» и последние интервью. Перечитывал книги друзей и учеников и просил прислать новые тексты...

Мы готовились отметить его 91-летие. Не успели.

Через двадцать лет после выхода романа, воспевшего ту газету «Московский комсомолец», и ту жизнь, которая тогда происходила вокруг, «писатель в газете» Александр Аронов адресовал Жуховицкому ещё один текст.

Назвал его «Вторая попытка».

Хоть в бурной молодости нам,
Носящимся по всем волнам
Не без угрозы захлебнуться,
Закрыв глаза, летящим вниз,
и стоит выслушать девиз
«Остановиться, оглянуться...»

А всё-таки, мой друг, теперь,
Когда, казалось бы, потерь
Подходят тягостные сроки,
И даже на крыле волны
Мы тайно обременены,
Таща с собой судьбы уроки,

Так всё-таки теперь, когда
Смирна коварная вода
И столь её покровы гладки,
Мы станем жить наоборот,
Как, в сущности, и жизнь идёт:
Без остановки,
без оглядки. ■



Юрий ЩЕКОЧИХИН

09.06.1950–03.07.2003

Кировабад (Гянджа),
СССР (Азербайджан) –
Москва, СССР/Россия



Юрий Щекочихин в 2001 году.
Фото: Павел Гутионтов

Журналист, стоявший у истоков расследовательского жанра ещё во времена СССР, писатель, драматург, сценарист, телеведущий. Депутат Съезда народных депутатов СССР (1989–1991), депутат Государственной думы России (1995–2003).

Без его материалов невозможно представить не только «Комсомолку», «Литературку», но и журналистику последней трети XX века в целом. Они вызывали некое новое движение и приближали изменения, которых ждало общество. Почти каждая его публикация становилась событием, взрывала общественное мнение, нередко завершалась активным практическим действием...

Первым в отечественной прессе он написал о мафии, о Новочеркасском расстреле, о Катыни, об антисемитизме, о коррупции мэрии Москвы, о ползучем неосталинизме и необольшевизме, о многом другом...

«Мы опоздали к «оттепели», – говорил он о своих сверстниках журналистам французского ТВ, которые снимали о нём в 1999 году передачу. Младший коллега, друг и ученик шестидесятников, он нашёл новый язык для разговора с совершенно другим обществом и другими поколениями уже на рубеже веков, как будто сцепляя эпохи

До школы Юра жил в тамбовской деревне, где сохранялась память об «антоновщине», память, совершенно не похожая на официальные строчки в учебниках. В юности писал повесть о декабристе Луние. Его первая заметка, «Я леплю», была опубликована в «Московском комсомольце», когда ему было 14 лет, – о том, как создал пластилиновую реконструкцию восстания декабристов, тщательно воспроизводил все детали амуниции полков, запечатлённые в исторических альбомах

Многие его материалы были посвящены истории, давней и недавней. Вообще, она его всегда интересовала – история, прорастание прошлого в настоящее. В очерке «После шторма» он пишет о том, что прошлое (имеются в виду сталинские годы) проступает в современной практике, как старые узоры на обоях. Мы сегодня всё отчетливее видим эти узоры...

В «Комсомолке» в качестве ведущего рубрики «Алый парус» (1972–1980) занимался подростковыми проблемами. открыл первую горячую линию – для трудных подростков. Многие тогда позвонившие стали позднее уважаемыми людьми и даже большими начальниками. Подросток, молодой человек, задающий неудобные вопросы, был его любимым героем. Молодые неизбежно сделают жизнь лучше – в этом он был уверен безоговорочно. Один из последних, не состоявшихся замыслов – собрать вместе детей воюющих отцов, из разных стран...

А в 1990-м, в «Литературной газете», открыл ещё одну прямую линию – для бывших стукачей. Материалы легли в основу книги «Рабы ГБ» (1999) и неоконченной повести «Тютчев».

Но задолго до этого он стал специалистом по организованной преступности, о которой писал, когда её ещё, по мнению властей, «быть не могло». Народ по всему Союзу зачитывался его расследованиями в «Литературной газете», редактором отдела расследований которой он был в 1980–1996-м. Как тогда искали номер «со Щекочихиным», а подписаться на ту «Литературку» или купить в «Союзпечати» было делом очень непростым.

В 1988-м опубликовал в «Литературке» очерки о мафии в СССР «Лев готовится к прыжку» и «Лев прыгнул», положившие начало современной расследовательской журналистике. В результате М. Горбачёв распорядился создать в МВД управление по борьбе с организованной преступностью.

Именно из-за этой публикации молодые инженеры Ворошиловградского оборонного завода в 1989 году выдвинули Щекочихина альтернативным партийному начальнику кандидатом в депутаты Съезда народных депутатов СССР. Он выиграл, стал одним из активных участников внешнерегиональной депутатской группы. Добился возвращения Ворошиловграду исторического имени – Луганск. Активно участвовал в создании механизма реабилитации жертв сталинских репрессий.

В 1995 году был избран депутатом Государственной Думы от «Яблока», работал заместителем председателя Комитета по безопасности и членом Комиссии по борьбе с коррупцией в органах государственной власти, сотрудничал с Интерполом. «Почему я пошёл в «Яблоко», в политику? – объяснял в интервью. – Потому что мы пишем, пишем, и ничего не происходит».

В том же 1995 году вёл авторскую расследовательскую программу «Специальная бригада», которую сняли с эфира с формулировкой «дестабилизирующая обстановка в стране». А вот ООН сделала его своим экспертом по вопросам организованной преступности.

В «Новой газете», куда он пришёл в 1996-м, писал о Чечне и коррупции, о международных схемах отмывания денег – задолго до «панамского до-сье». Занимался расследованием попытки взрыва многоэтажки в Рязани в 1999-м.

В начале 1980-х он пришёл в семинар драмы под руководством Михаила Шатрова, публиковал пьесы. Основанная на материалах очерков о подростках драма «Ловушка № 46, рост второй» много лет шла в ЦДТ (ныне РАМТ) в постановке Алексея Бородина, в Русском театре в Таллинне в постановке Александра Цукермана. РАМТ же поставил пьесу «Между небом и землёю жаворонок вьётся», тоже о подростках. Документальный фильм по его сценарию «Лимита, или Четвёртый сон...» (режиссёр Евгений Головня) стал во 2-й половине 80-х (наряду с фильмом Юриса Подниекса «Легко ли быть молодым?») прорывом в восприятии молодёжной проблематики. А художественный фильм по его сценарию «Меня зовут Арлекино» (режиссёр Валерий Приёмыхов) критики рифмовали с «Маленькой Верой», считая обе ленты новым словом в кинематографе.

Но журналистика всегда оставалась самым главным.

Он придумывал новые, как сказали бы сегодня, форматы, которые долго пережили его самого.

Расследование «Мебельного дела» (дела «Трёх китов») о контрабанде, имевшей место в 1999–2000 годах, стало его последним. Возможно,

именно оно привело к гибели. 25 марта 2002 года Щекочихин опубликовал открытое письмо президенту Путину, в котором сообщил об имевшихся у него документах, которые санкционировали заход в бухты ВМФ кораблей с контрабандной мебелью без пограничного и таможенного досмотра и на которых стояла подпись Путина. В «Новой» 2 июня 2003 года Щекочихин опубликовал статью «Дело о "Трёх китах": судье угрожают, прокурора изолировали, свидетеля убили».

Его загадочная внезапная смерть 3 июля 2003 года от редчайшей болезни, в результате которой он за две недели из 53-летнего мужчины превратился в древнего старика, один за другим стали отказывать внутренние органы, сошла кожа... Уголовное дело в России возбуждалось несколько раз с последующим прекращением «за отсутствием события преступления»...

Получая в 2021 году Нобелевскую премию мира, главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов сказал, что это в первую очередь премия погибших журналистов газеты, таких, как Щекочихин.

Надежда АЖГИХИНА

«Американский брат» Джон

«Семейная» история Юрия Щекочихина, иллюстрированная впервые публикуемыми фотографиями Владимира Богданова

Джон Кохан, шеф московского бюро журнала «Тайм», появился в нашей квартире на Лесной в конце лета 1988 года. Они приехали вместе с Юрой из «Литературной газеты», решили продолжить разговор. Он был первым американцем, который пришёл к нам домой.

После публикации очерков «Лев готовится к прыжку» и особенно «Лев прыгнул» Юра стал одним из самых востребованных журналистов, у него хотели взять интервью зарубежные корреспонденты и отечественные телеканалы. Именно после этих публикаций его выдвинули кандидатом в депутаты на первых частично свободных, предполагающих альтернативу, выборах, и, естественно, что Юру поддержало большинство и неожиданно для самого себя и для всех он стал политиком, начался новый виток его жизни, феерически успешный и одновременно сломавший многое в его и в нашей совместной жизни. Но это было потом.

А тёплым летним вечером 1988 года мы с Джоном, пока Юра отвечал на срочные звонки, запросто разговаривали о чае, о пельменях, о моей диссертации, которую я заканчивала, о Солженицыне в Вермонте, о молодых славистах и бог знает о чём ещё, как будто мы не только что встретились, но были знакомы по крайней мере несколько лет. Этот бородатый, немного неуклюжий и исключительно деликатный визитёр разрушил все существовавшие в моём сознании стереотипные представления о характере и поведении американцев. Во-первых, он был в восторге от нашего несколько неприбранного жилища и чувствовал себя в этой обстановке исключительно естественно, это было видно. Во-вторых, с удовольствием выпивал и закусывал, а когда закончилась наливающаяся в доме водка, с энтузиазмом поддержал Юрину инициативу пойти покупать у таксистов (в разгаре была антиалкогольная кампания, в результате



которой вырубили гектары редких виноградников и полностью разрушили надолго культуру виноделия, хотя пьянства так и не преодолели). Поход удался, и Юра с Джоном продолжили обсуждать тернистые пути развития демократии в мире и отдельно взятой стране, не глядя на часы. Наконец под утро решили лечь спать, конечно же, Джон остался у нас на диване.

Так началась дружба, продлившаяся многие годы. Все семь лет, что Джон работал в Москве, мы встречались регулярно, у нас дома или на даче в Купавне, у наших с Юрой друзей, которые очень скоро стали и друзьями Джона – архи-



тектора Жени Асса, редактора детских программ ТВ Мидхата Шилова, и, конечно же, на Кутузовском проспекте у Джона. Я училась в школе неподалеку. Дом иностранных специалистов, охраняемый милиционером, требующим всякий раз документы у посетителей, для нас в детстве был форпостом непонятного и манящего заграничного мира. Теперь он стал местом постоянных встреч московской интеллигенции, точнее, довольно широкого круга Юриных друзей, который сформировался ещё в конце 1970-х, объединяя людей очень разного опыта и возраста: тут были артисты, журналисты, молодые поэты, студенты





и безработные, педагоги, пашисты и шахматисты, моряки... Все они хотели другой жизни, не сводимой к душным рамкам того, что предлагала тусклая советская действительность, хотели прорыва, даже подвига... Романтики, безусловно. Эти люди создавали в тусклые годы брежневского застоя яркую альтернативу замшелому официозу – в собственном творчестве, в шумных застольях, в самой идее дружбы и братства единомышленников... «Макромир ужасен, но микромир прекрасен» – эти слова старшего товарища Юры, великого историка Натана Эйдельмана могли бы стать эпиграфом к рассказу об этом удивительном мире, который тщательно оберегался от постороннего влияния,



В Купавне. Джон, Юрий, Дмитрий Радышевский, Алина Анатольевна Ажгихина, Дмитрий Щекочихин, Надежда Ажгихина, Антонина Николаевна Лещёва. Фото: из архива Фонда им. Щекочихина



взращивался и питался делами и фантазиями его участников... Писатель Георгий Елен, недавно от нас ушедший, написал об этом книгу «Мальчишник». Название точное – это был в основном исключительно мужской мир, женщинам в нём отводилась довольно вспомогательная, декоративная роль. Может быть, в этом было основное его несовершенство. Перестройка распахнула перед жаждущими перемен современниками возможности, о которых мечтали поколения российских интеллигентов. Не только назвала и декларировала основные свободы и права – она указала дорогу в огромный мир, не разделённый барьерами. Обломки «железного занавеса» нетерпеливо разрушали с обеих сторон, в основном, конечно, романтики. Джон Кохан, выпускник отделения славистики, прекрасно говоривший по-русски, был одним из них.

В большой квартире на Кутузовском проспекте Джон жил один, гостей любил. Готовил неизменную лазанью из полуфабрикатов, купленных в валютном магазине «Берёзка». Она стала фирменным знаком наших долгих посиделок. Бар неустанно и щедро пополнялся из того же источника, наибольшим успехом пользовались джин с тоником (у женщин) и виски (у мужчин). Надо сказать, что в Москве конца 1980-х – начала 1990-х это было немыслимой роскошью. Собирались обычно раз или два в неделю, вечерами, в выходные иногда выезжали за город. Эта была совершенно удивительная жизнь, которой не было ни до, ни после. Иногда к нашей компании присоединялись друзья и коллеги Джона из Америки или Германии (он работал до Москвы в ФРГ). О друзьях он мог говорить без устали, они были для него, как и для людей нашего круга, важнейшей составляющей жизни, едва ли не важнее семьи (позднее я узнала, что как раз для американцев это нетипично).

Джон с радостью стал одним из основных участников встреч Юриного «братства», во время которых много выпивали, много спорили обо всём, основой

их была не просто откровенность, но готовность пожертвовать многим, если понадобится, для другого. Они называли себя братьями, в этом действительно был некий вызов той системе отношений, которая в советское время предполагала жёсткую иерархию (да и потом, кстати, тоже). «Братство» отменяло эту иерархию, возводило дружбу в самый высокий ранг. Разумеется, женщины для «братьев» были чем-то сопутствующим, благодарными слушательницами или обслуживающим персоналом, чего Джон до конца так и не смог понять.

При всей любви к застолью и бесконечным «русским разговорам» главным собеседником Джона все эти годы оставался Юра. Их роднил профессиональный интерес, стремление понять не только политические векторы, но и саму логику жизни, настроения и устремления людей двух стран, то «возлюбленных врагов», то партнёров и союзников. Роднила вера в то, что перестройка и падение Берлинской стены положат начало новому этапу в развитии человечества, без ненависти, бессмысленной гонки вооружений, стереотипов и вражды. Роднил интерес к истории, к науке, к конкретному знанию и умение слышать голоса конкретных людей, а не только функций.

Они довольно много материалов подготовили фактически вместе, постоянно обсуждая, уточняя, стремясь дойти «до самой сути».

«Юрий стал моим главным гидом и спутником сквозь все загадки, абсурды, двусмысленности и прочие обстоятельства эпохи перестройки, – вспоминал Джон, – Он бесконечно наслаждался новыми свободами для журналистов, он знакомил меня с людьми, местами, долгое время бывшими абсолютно недоступными западным гражданам, работавшим в СССР».

Одним из самых ярких совместных журналистских воспоминаний для обоих стала совместная поездка в Тамбовскую область, в город Уварово, где Юра провёл детство у родных, зимой 1989 года. Писали параллельно два репортажа об изменениях в провинции. Об этой поездке до сих пор помнят тамбовские журналисты, в областной библиотеке сохранились публикации. А Джон вспоминал, как тамбовские власти совершенно не обращали внимания на американского журналиста, взволнованные тем, что о них напишет Щекочихин...

Первое интервью Юры в журнале «Тайм», тщательно проверенное и согласованное, вышло с ошибками – американский выпускающий редактор перепутал цитаты, слова Юры были приписаны Горбачёву, при сокращении вёрстки перепутались детали... «Я немедленно позвонил Юрию, – вспоминал потом Джон, – объяснить, сказать, что это, наверное, самая грубая моя ошибка. В своей обычной манере Юрий начал хихикать, и мы вскоре подружились». Вот после этого эпизода они и завалились к нам домой.

Джон с самых первых дней нашего знакомства рассказывал о своей подруге по Колумбийскому университету Кате Непомнящей и её русском муже Славе. От том, какие они разные, Катя вся в русской литературе, а Слава технарь, вся квартира в электронике, но они очень любят друг друга. Поскольку я в то время заканчивала диссертацию по русской литературе, Джон считал, что мы с Катей непременно должны познакомиться. Мы встретились на очередной вечеринке у Джона. Он устроил прием в честь Питера Устинова, приехавшего в Москву. Собралась огромная толпа – журналисты, почти в полном составе «Современник» во главе с Галиной Волчек, актёры ЦДТ, где у Юры шла пьеса.

1989. Щекочихин, Кохан, голландская журналистка Лаура Старинк



Первым делом Катя спросила, не знаю ли я телефон профессора Галины Андреевны Белой, оказалось, она знала мою «вторую маму», любимую университетскую преподавательницу...

Катя и Слава стали нашими ближайшими американскими друзьями, и я, и Юра часто останавливались у них в Нью-Йорке, с ними связано много прекраснейших воспоминаний. Даже когда Юра как депутат по приглашению Конгресса США участвовал в официальных мероприятиях, он непременно заезжал к ним. Но это уже другая история.

«Американский брат» Джон Кохан, уехал из России в 1996 году. В журналистику после России не вернулся, долго жил на Кипре, увлёкся пластическими искусствами, потом иконописью, коллекционированием. Вернулся в США, ухаживает за отцом, которому недавно стукнуло 100 лет.

Мы разговаривали перед самой пандемией. Он сказал, что самые счастливые годы он провёл в Москве.

♦ ♦ ♦

Груз несвершённого – этот образ родился у режиссёра Евгении Головни, когда мы задумали фильм о Юре. Мы говорили о том, что немало сегодняшних проблем берёт начало в том, что мы не успели все вместе многое обсудить, договориться, сделать... Важно понять, что никто за нас этого никогда не сделает. А значит, надо продолжать, как бы трудно и больно это ни было. По крайней мере, Юра верил в то, что именно так и надо поступать.

Фильмы «Юрий Щекочихин. «Однажды я был» и «Груз несвершённого», его книги можно найти на сайте Фонда Юрия Щекочихина (<https://sh-fond.ru/>). ■

Мир

изобразительное искусство



Андрей Бильжо: «Азбука-2022»

На материковой части Венеции в день своего 70-летия, 26 июня 2023 года, Андрей Бильжо устроил акцию-выставку под названием «Бильжо повесился на соснах». На каждой из ста сосен был рисунок из его серии «Азбука-2022». Открытие выставки он предварил следующим словом:

– Я всё время рисовал карикатуры. А когда началась война, не смог нарисовать ни одной картины. Но потом стал рисовать. Так появилась «Азбука-2022».

Это не совсем карикатуры, не совсем сатира. Это мой взгляд на тот абсурд, на ту бессмыслицу, кровавую бессмыслицу, которая происходит сейчас. Вот про это эти рисунки. Про то, как к войне относятся люди, как они её чувствуют или не чувствуют совсем.

Картинки можно показывать везде. Можно в выставочном зале, можно, как мы устроили – на соснах и деревьях. Когда деревья с рисунками на них увидел маленький мальчик – «устаи младенца глаголит истина», – он сказал: «Так много людей умерло?»

...Хотите, назовите это мемориалом.

Тут нет людей. Картинки и деревья. Так бывает после войны. Остаются деревья. Только обожжённые.

Разные ассоциации.



Предлагаем вашему вниманию рисунки из этой серии с комментариями автора.



Андрей - 2022 (Ж) - жизнь

А. Бильжо 22

Ж – жизнь

Z – [«новая» буква]

В русском алфавите 33 буквы, однако с 2022 года в российских СМИ часто встречается латинская буква Z как символ военной операции на территории Украины.

Изначально использовалась для тактической маркировки техники: скорее всего, Z означает Западный, а V — Восточный военный округ.

Война вошла в жизнь людей. В их язык. В алфавит.



Андрей Бильжо

04.2022



АЗБУКА 2022

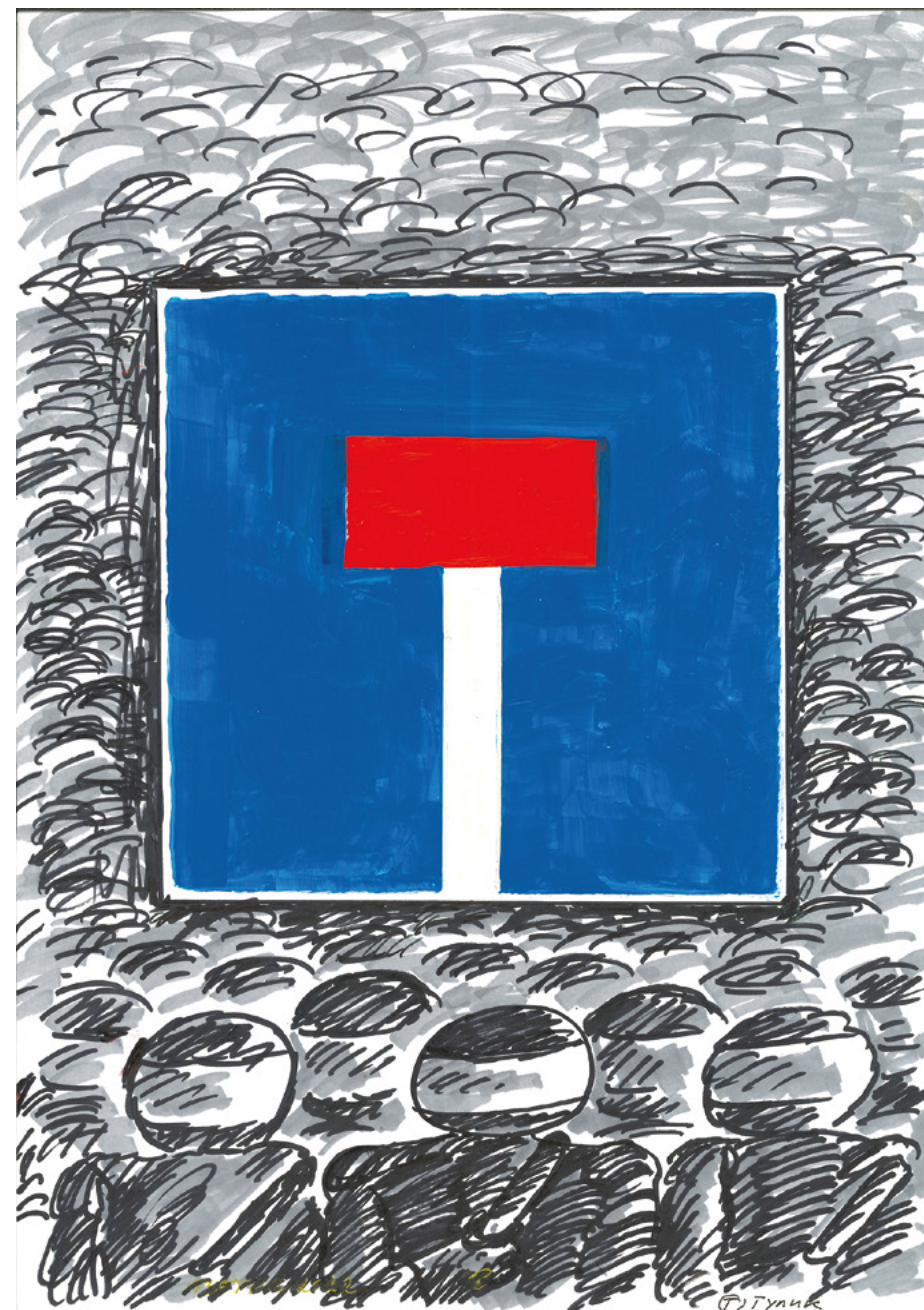
© - ОДНОЗНАЧНО

А.Бильжо

О — однозначно

В разгар Крымского кризиса, 9 марта 2014 года, обсуждая ролик на YouTube, «Дмитрий Какеготам» прокомментировал: «Поверьте!!! Я сама Крымчанка, живу тут 50 лет. Дочь офицера. Просто поверьте, — у нас не всё так однозначно... Никто не хочет отделения!!!» Фразу в связи со «спецоперацией», вспомнили сторонники войны и пытающиеся быть «вне политики». Мем был освоен широкими народными массами и стал применяться в совершенно противоположном смысле, высмеивая усилия уже прокремлёвской пропаганды.

В иллюстрации использована картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» (нач. XVI в.). Улыбка Моны Лизы — одна из самых знаменитых загадок картины. Зигмунд Фрейд пишет: «В своеобразно прекрасном облике флорентийки Моны Лизы дель Джоконды улыбка сильнее всего захватывает и повергает в замешательство зрителя. Эта улыбка требовала одного толкования, а нашла самые разнообразные, из которых ни одно не удовлетворяет».



Т — тупик, тупица, космонавт

Советская Россия на некоторое время приобретала человеческое лицо — благодаря улыбке Гагарина, первого космонавта на земле. Выражение лица нынешней России давно вернулось к своему естественному состоянию.

У нынешних российских «космонавтов» (прозванных так за сходство достижений с космическими) — не лица, а забрала; там не до улыбок. Тупая и слепая масса натаскана на выполнение одной задачи — мочить дубинками сограждан, несогласных с тупиковым направлением, по которому ведёт страну руководство РФ.



АЗБУКА 2022

Г - ГОНДОНЫ, ГРАЖДАНЕ, ГОСУДАРСТВО, ГЛУПОСТЬ А. БИЛЬЖО -

Г - гондон

Термин, возникший в русском языке в уголовном и молодёжном сленге, употребляется для выражения презрительного отношения. Толкование из Большого словаря русских поговорок:

- Гондон штопанный [колючей проволокой].
- Ничтожный, ни на что не годный человек.
- Дырявый (лопнувший) гондон.
- О человеке, вызывающем резко отрицательные эмоции.

Среди противников российско-украинской войны часто используется для именовании провластных деятелей – чиновников, общественных активистов, авторов жалоб (доносов) и др.



«В агнер», частная военная компания

Российское негосударственное военное формирование с неясным правовым статусом, созданное предпринимателем Евгением Пригожиным. Название дал, вероятно, командир ЧВК Дмитрий Уткин, увлекавшийся Третьим Рейхом.

Вечером 12 ноября 2022 года в тг-канале Grey Zone появилось видео «Молот возмездия». Боец ЧВК Евгений Нужин говорит, что «отправился на фронт, чтобы перейти на сторону Украины и воевать против русских». После этого один из присутствующих несколько раз бьёт его кувалдой по голове. Нужин, отбывавший наказание за убийство, в колонии был завербован в ЧВК и в ходе боевых действий попал в плен, где дал интервью, в которых, рассказывал и об устройстве «Вагнера». 11 ноября был обменян на украинских военнопленных.



Е/Ё – [восклицание]

В иллюстрации использована картина Ильи Репина «Запорожцы», отсылающая к событиям русско-турецкой войны 1672–1681 годов. Запорожские козаки пишут турецкому султану ответ на его предложение сдаться. По легенде, письмо было насыщено ненормативной лексикой. Репин: «Чертовский народ! Никто на всём свете не чувствовал так глубоко свободы, равенства и братства. Во всю жизнь Запорожье осталось свободно, ничему не подчинилось!»

В карикатуре запорожцы пишут письмо в Кремль, президенту России. Над ними рассыпаны буквы Е и Ё. Один из наиболее употребляемых в русском языке ненормативных корней начинается с этих чередующихся букв.



Ц – царь

Последним царём России был Петр I. После нескольких войн и присоединения новых территорий он провозгласил Россию империей и стал её первым императором. Карикатура строится на основе картины Николая Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» (1871). Алексей Петрович, сын Петра I был приговорён к смертной казни за попытку захвата власти.

На карикатуре в роли царевича В. В. Путин.

П – план, падение, память

Карикатура отсылает к картине Питера Брейгеля Старшего «Притча о слепых». Её сюжет основан на библейской притче о слепых вождях слепых: если слепой ведёт слепого, то они оба упадут в яму.

«Всё идет по плану» – известная строка из песни панк-рок-группы «Гражданская оборона», образовавшейся в позднесоветские годы, бывшей в андеграунде музыкальной индустрии, преследовавшейся из-за политических взглядов. Егора Летова, её лидера, спросили: «Всё ли сейчас идёт по плану?» – «Да, – ответил он, – оно всё и всегда идёт по плану, разумеется. По какому только?» Владимир Путин не раз заявлял, что «специальная операция на Украине» идёт по плану, хотя детали плана ни разу не были представлены общественности.



АЗБУКА 2022 П – ПЛАН, ПАДЕНИЕ, ПАМЯТЬ А.Б.Бильжо



АЗБУКА 2022 П – голубь русского мира А.Б.Бильжо

Г – голубь «русского мира»

«Русский мир» – концепция объединения русскоязычного населения по всему миру. Впервые встречается в XI в. в описании догосударственного периода в истории восточного славянства. В XIX в. – духовная общность православных христиан, а с начала 1990-х годов – идея межгосударственного сообщества для объединения разобщённых после падения СССР русскоязычных соотечественников. В 2006 году Путин заявил, что «русский мир может и должен объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они ни жили, в России или за её пределами».



Алфавит - 2022

(М) - молчание

А. Бильжо 2022

М - молчание

Карикатура отсылает к рассказу Ивана Тургенева «Муму». Глухо-немой крепостной Герасим спас собачку, которая стала ему верным другом и у всего двора вызывала симпатию, однако барыня, которую собачка раздражала, приказала избавиться от неё. Герасим пробовал разные способы, но собачка возвращалась, и Герасим утопил Муму.

4 марта 2022 года, через 9 дней после начала войны, Путин подписал закон, установивший военную цензуру. Введена уголовная ответственность за распространение «заведомо ложной информации» о военных силах РФ и за их «дискредитацию». Достоверной информацией считается только представленная официальными госисточниками и подконтрольными властям СМИ.

**МИР,
ТРУД,
РАЙ!**

А. Бильжо 2022 АЗБУКА - 2022 П, Т, Р - пир, труд, рай

П - пир

Р - рай, работа

Карикатура основана на известном лозунге «Мир, труд, май», посвящённом Первому мая, Дню Труда.

В современной России созидательный смысл слова «работа» сменился на разрушительный. Часто представители власти, пропагандисты употребляют выражения вроде «работаем по Киеву», то есть «бомбим», «обстреливаем».

Теперь война, и погибнуть на ней, по утверждению власти и церкви, – это сразу попасть в рай. Жизнь многих жителей России, особенно тех, кто старается делать вид, что ничего не происходит, напоминает пир во время чумы и войны. Согласно данным экономического географа Натальи Зубаревич, оборот сферы общественного питания (кафе, бары, рестораны) в России уже в I квартале 2023 года показал прирост более 10% год к году (в Москве – почти 20%). Скорее всего с помощью таких развлечений россияне стараются адаптироваться к новой реальности и не замечать войны.



У – Украина
Пушкин и Гоголь обмениваются приветствием, подчеркивающим украинскую идентичность и солидарность с украинским национальным самоопределением. В порождённых войной дискуссиях в культурной сфере имеют место попытки провести разделение между украинской и русской культурой. В Украине сносят памятники и переименовывают улицы, посвящённые «великому русскому писателю» Пушкину. Российских солдат, пришедших якобы защищать русское население и русскую культуру, местные с иронией называют «пушкинистами». В то же время Гоголь, творивший на русском, но родившийся в Украине и часто обращавшийся к украинскому фольклору, признаётся и не «отменяется».

Я/Мы

6 июня 2019 года в центре Москвы по подозрению в якобы хранении и попытке сбыта наркотиков был задержан журналист «Медузы» Иван Голунов. Благодаря коллегам-журналистам, была начата масштабная общественная кампания. 10 июня три газеты — «Коммерсант», «Ведомости» и РБК — вышли с одинаковыми первыми полосами с надписью «Я/мы Голунов», которая стала слоганом протеста против несправедливого преследования журналиста — каждый может оказаться на месте Ивана, если власть захочет от него избавиться, достаточно сфабриковать уголовное дело. 12 июня прошёл протестный марш, на котором обложки газет использовались в качестве плакатов. Иван был освобождён из под стражи буквально за несколько часов до марша, уголовное дело закрыто в тот же день.



Журнал ТТ (Тайные тропы)
№ 2 (4), 2023

ISSN 2958-499X

Учредитель и издатель
Барух-Александр Плохотенко

Главный редактор
Барух-Александр Плохотенко

Редакция
Владимир Горбачёв
Борис Борухов

Контакты
secrettropes@gmail.com

Никакая часть данного издания
не может быть воспроизведена
без разрешения редакции

Мнение редакции может
не совпадать с мнением авторов

Вниманию уважаемых авторов!
ТТ принимают к публикации
только прежде не издававшиеся
произведения, присланные,
переданные самими авторами
непосредственно в редакцию

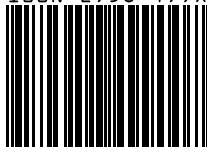
Редакция не рецензирует
присланные материалы
и в переписку по их поводу
не вступает

© ТТ. Все права защищены

В оформлении обложки использованы
работы Андрея Бильжо из цикла «Азбука-2022»

А а Б б В в Г г
Д д Е е Ё ё Ж ж
З з И и Й й К к
Л л М м Н н О о
П п Р р С с Т т
У у Ф ф Х х Ц ц
Ч ч Ш ш Щ щ Ъ ъ

ISSN 2958-499X



9 772958 499007

Андрей Бильжо

04.2022